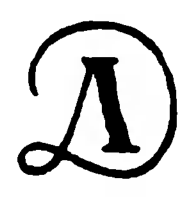
# АРКАДИЙ ГАЙДАР







# АРКАДИЙ ГАЙДАР

## СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„Детская литература"
МОСКВА 1971

# АРКАДИЙ ГАЙДАР



## ТОМ ПЕРВЫЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
„Детская литература"
МОСКВА 1971

Р2
Г14

В подготовке издания принимали участие

*Т. А. ГАЙДАР, Л. А. КАССИЛЬ, В. Г. КОМПАНИЕЦ, Ф. Е. ЭБИН*

7—6—3



# ГАЙДАР

> Это ли еще... не счастье?! И на что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно!
>
> *А. Гайдар, «Горячий камень»*

ВРЕМЯ наше, пора могучего движения народов и великих исторических сдвигов, требующих неслыханного напряжения человеческих сил, породило и писателей совершенно особого склада. Жизнь таких писателей неотделима от их книг. Литературные творения, созданные этими авторами, неразрывно связаны с трудной, но героической судьбой их создателей.

Николай Островский!.. Боль и мужественная трагедия Павла Корчагина, своим непреклонным жизнеупорством являющего высокий пример для передовой молодежи всего мира, были болью и победой самого писателя, его собственной судьбой.

Юлиус Фучик!.. Полный высокого обаяния образ бесстрашного и человеколюбивого борца-антифашиста, в свой смертный час призывавшего людей к неусыпной бдительности во имя счастья человечества,

запечатлен в его книгах. Образ этот повторяет и продолжает благородную героическую жизнь самого автора, казненного гитлеровцами.

Поэтическим памятником не менее жестокой, но гордой судьбы остались страстные стихи, написанные в фашистской тюрьме Моабит верным сыном нашей Родины татарским поэтом Мусой Джалилем... Фашистские палачи, обезглавившие Джалиля, не смогли убить его гневные, зовущие к жизни стихи. Стихи пробились сквозь толщу стен Моабита, дошли до народа, и в сердце его навсегда сохранится пламенный облик героя-поэта. К числу писателей, жизнь которых неотделима от жизни их героев, слилась с нею не только в представлении читателей, но и в действительности, принадлежит Аркадий Гайдар.

Когда идет в далекий и трудный поход корабль, на носу его, зорко вглядываясь в даль, не сводя глаз с моря и горизонта, несут свою вахту впередсмотрящие. Самым бдительным, верным и опытным доверяют моряки этот пост.

Когда в давние времена шли в поход воины-конники, они высылали вперед всадника. Этот всадник, скачущий впереди всех, всматривающийся в неизведанную даль, куда держал путь отряд, назывался гайдаром.

Таким впередсмотрящим, движущимся далеко впереди отряда своих сотоварищей по литературе, ясноглазым дозорным ее был и сам Гайдар — Аркадий Петрович Голиков. Не случайно, должно быть, взял он себе для писательской работы этот звучный и много говорящий псевдоним.

Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) и как писатель и как человек был подлинным сыном революцион-

ной страны, твердо, раз и навсегда решившим ни за что, никогда и никому не отдавать кровью оплаченного, слезами и по́том просоленного, в труде и боях добытого народного счастья.

Он родился 22 января 1904 года в городе Льгове, откуда вскоре семья Голиковых перебралась в Арзамас. Ему было десять лет, когда под рявканье военного оркестра и треск барабанов с маршевой ротой ушел на германский фронт его отец, учитель П. И. Голиков, ставший солдатом.

Когда Аркадию Голикову исполнилось тринадцать лет и он учился в третьем классе реального училища, произошла Февральская революция 1917 года. «Время подходит веселое»,— писал впоследствии об этой поре Гайдар. Тринадцатилетний школьник, уже завоевавший немалый авторитет среди товарищей, он был избран председателем ученического комитета. А в исторические, потрясшие весь мир октябрьские дни 1917 года Аркадий Голиков был уже с большевиками, помогал арестовывать контрреволюционную группу кадетов.. Недаром в своем ученическом дневнике он уже записал тогда заветный номер: 302939. То был номер выданной ему винтовки — первого личного оружия, доверенного будущему писателю Пролетарской Революцией.

Вскоре в ученическом дневнике Аркадия Голикова появилась и другая памятка — запись о первом ранении: выполняя поручение революционного Арзамасского штаба, он был ранен ночью на улице ножом в грудь. Так в уличной стычке с врагами революции принял Аркадий Голиков первое боевое крещение своей кровью.

В 1918 году, когда все выше и выше взвивалось над нашей землей пробитое пулями боевое красное ок-

тябрьское знамя, четырнадцатилетний Аркадий Голиков решил сам сражаться «за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за советскую власть».

Был он широкоплечий, не по годам рослый. Когда спросили, сколько ему лет, сказался шестнадцатилетним и ушел в Красную Армию, на фронт.

Через год примерно он окончил Киевские командные курсы, и его назначили командиром 6-й роты 2-го полка бригады курсантов. А шестнадцатилетним подростком он уже был командиром полка.

Большой, славный боевой путь по фронтам гражданской войны прошел Аркадий Голиков, будущий писатель Гайдар.

«Что я видел,— писал он через несколько лет,—где мы наступали, где отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил,— это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира».

Он пережил гибель многих друзей, узнал обиду и горечь поражений и окрыляющую радость побед. Сквозь горе и разлуку, сквозь боль от ран и огонь боев прошла ранняя юность Гайдара.

Шесть лет пробыл Аркадий Петрович в Красной Армии. Он полюбил армию Страны Советов всем своим чистым и беспокойным существом, сроднился с военной семьей и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 1923 году Гайдар серьезно заболел—сказалась старая контузия головы. Ему пришлось взяться за лечение, и в апреле 1924 года, когда Гайдару исполнилось двадцать лет, он был зачислен по должности командира полка в запас...

С великой горечью и отчаянием принял молодой

комполка это постановление медицинской комиссии. Не считая для себя возможным жить вне рядов армии, он написал страстное прощальное письмо и отправил его Михаилу Васильевичу Фрунзе. В письме этом не было ни просьб, ни жалоб — просто Гайдар прощался с Красной Армией, ни на что уже не надеясь, ни на что не рассчитывая.

Но прославленный пролетарский полководец, знаменитый командарм революции и народный комиссар вызвал автора письма к себе. Михаил Васильевич Фрунзе увидел в отчаянных строках «прощального письма» следы искреннего и незаурядного дарования, пусть еще неровные, но глубокие. Народный комиссар почувствовал в Аркадии Голикове-Гайдаре зреющую тягу к писательству. И он не ошибся: еще за год до встречи с Фрунзе Аркадий Петрович начал свою первую, автобиографическую повесть. Товарищ Фрунзе подбодрил Аркадия Гайдара, посоветовал ему заняться литературной работой. И недаром впоследствии Гайдар любил говорить, что его первым редактором был Фрунзе.

Через год, когда хоронили Михаила Васильевича Фрунзе, Гайдар встретил у гроба наркома его маленького сына Тимура. А еще через год, когда у Гайдара родился сын, ему дали имя Тимур.

Но не сразу добился Аркадий Гайдар удачи на новом для него литературном пути. Сам он считал слабоватой первую свою повесть — «В дни поражений и побед», которая была напечатана в 1925 году в ленинградском альманахе «Ковш». Не принесли еще Гайдару большой славы и такие вещи, как «Жизнь ни во что» (1926) и «Всадники неприступных гор» (1927).

Но еще в 1926 году Гайдар написал рассказ, во мно-

том уже определивший истинно верный путь писателя, следуя которым он стал одним из любимейших писателей советского народа и самым любимым писателем нашей детворы. Это был рассказ «Р.В.С.», в котором Гайдар, впервые адресуя свое произведение детям, поведал им о суровом солдатском долге, о фронтовом товариществе и высокой романтике революционной борьбы.

«Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой,— говорит о себе Гайдар,— мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была, жизнь, как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало».

Так была написана в 1930 году для «новых мальчишек и девчонок» одна из лучших книг нашей советской детской литературы—«Школа», большая, в значительной степени автобиографическая повесть о суровой школе, через которую прошло молодое поколение революции, «о горячем грозном ветре времени», об отцах и детях, призвавших себя на справедливую войну во имя загаданного всем сердцем радостного будущего.

В первом издании книга называлась «Обыкновенная биография». Под таким заголовком вышла она в издании «Роман-газеты для ребят». На титульном листе была помещена фотография красного командира в лихо заломленной на затылок папахе, с шашкой на бедре, с красной звездой, нашитой на рукаве. Подпись под снимком гласила: «Арк. Гайдар 16 лет, командир 4-й роты 303-го полка 34-й Кубанской дивизии. 1920 год. Кавказский фронт». И в главном герое «Школы», от имени которого ведется повествование в книге, в Бориске Горикове — солдатском сыне, мы узнаем самого Аркадия Гайдара.

Книга сразу стала одной из любимейших в детских

библиотеках. Сердечно, просто и честно написанная, правдивая и умная, не скрывающая от юного читателя горьких сторон жизни, она выдержала испытание временем, переиздавалась у нас в стране и за ее рубежами множество раз. И не так давно полюбившиеся миллионам читателей герои гайдаровской повести Бориска, Чубук, Цыганенок и другие вышли на киноэкраны, воссозданные ярко и убедительно в кинофильме «Школа мужества». Также и по рассказу «Р.В.С.» был поставлен популярный фильм «Дума про казака Голоту», долго не сходивший с экранов страны.

Гайдар успел написать не очень много. Но такие книги, как «Р.В.С.», «Школа», «Четвертый блиндаж», «Дальние страны», «Военная тайна», «Голубая чашка», «Судьба барабанщика», «Дым в лесу», «Чук и Гек», оставшиеся неоконченными повести «Бумбараш» и «Синие звезды», сценарий «Комендант снежной крепости», фронтовые очерки, сказки и др., как завоевавшая громкую, далеко за пределы нашей страны раскатившуюся славу книга «Тимур и его команда», всегда будут любимым чтением всех, кто жадными глазами смотрит на мир, хочет поскорее разглядеть и понять его, чтобы найти своим молодым силам верное применение.

Зорко вглядываясь в жизнь, неизменно оставаясь «впередсмотрящим» отряда советских детских писателей, Гайдар в повести «Дальние страны» сумел уловить жадный романтический интерес детей к великим делам, которые творил народ, перестраивавший страну. Новая бурная созидательная страсть, мечты о «дальних странах», где идет большое строительство, вдохновляли самого писателя и его маленьких героев, живущих на захолустной и тихой станции и тянущихся к широкой, деятельной жизни так же, как в свое время

вдохновляли и привлекали ровесников Гайдара фронтовые грохочущие дали. Рядом с темой подвига, воспетой Гайдаром, в творчестве писателя с такой же поэтической силой теперь зазвучала тема труда. Именно право на осмысленный, свободный, проникнутый новой романтикой созидательный труд отстаивают в жестокой классовой борьбе с врагами революции взрослые и маленькие герои «дальних стран». И новая жизнь из дальних, теперь ставших такими близкими, стран приходит благодаря усилиям и героизму советских людей на тихий полустанок, приходит вместе с шумом и горячкой строительства, с рабочими, техниками, сезонниками. И маленький разъезд № 216 превращается в станцию «Крылья самолета», составляющую частицу «одного огромного и сильного целого, того, что зовется Советская страна».

Воспитать «крепкую краснозвездную гвардию» из наших ребят, привить им высокое понимание таких слов, как «честь», «знамя», «смелость», «правда»,— в этом видел назначение своей писательской работы Аркадий Гайдар, который и в литературе продолжал неуклонно путь, начатый им в тот день, когда он вписал в свой ученический дневник номер выданной ему революцией боевой винтовки.

В книге «Военная тайна» (1935) — в книге о братстве свободолюбивых народов, о высоких идеях революции и неизменной жестокости врага — есть вставная сказка о Мальчише-Кибальчише. Несколько стилизованная под старые сказки, но рожденная искренним мальчишеским ощущением побеждающего мира, воспевающая суровую и нежную доблесть чистых сердец, которую так хорошо понимал и чувствовал Гайдар, сказка эта вышла за пределы книги и получила само-

стоятельную известность. И когда началась Великая Отечественная война, когда весь мир был потрясен неслыханным в истории героизмом взрослых и юных граждан нашей Родины, еще и еще раз вспоминались слова «главного буржуина» из гайдаровской сказки:

«Что это за страна? Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают Военную Тайну и так крепко держат свое твердое слово?»

А «военная тайна», которой владели и владеют наши люди, заключается, как объясняет гайдаровская сказка, в том, что советский народ от мала до велика слит воедино великими идеями братства, разумного труда и неодолимой любви к своей свободной земле.

Гайдар всегда говорил с молодым читателем честно, прямодушно. Он обращался к ребятам с уважительной серьезностью, никогда не кривил душой и смело указывал на «самое главное в жизни». Он не уклонялся от трудных тем, плохо укладывающихся в старые рамки детской литературы. Много испытавший в жизни, он смело говорил в своих книгах о трудных сторонах ее.

Так была написана в 1938 году повесть «Судьба барабанщика», «книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше, чем сама война», как говорил сам Гайдар. «Судьба барабанщика» — это повесть о мальчике-пионере, барабанщике пионерского отряда, отец которого совершил преступление по службе и получил заслуженную кару. Мальчик остается сперва один; ему живется трудно, он попадает к дурным людям, сбивается с верного пути. Но маленький пионерский барабанщик живет в стране, где человек человеку друг, где начала добра, справедливости, труда и разума заложены в основу всего бытия. И сама жизнь

приходит на помощь барабанщику, возвращая ему детство, счастье и отца, искупившего вину.

Талант Гайдара, вдумчивый и целомудренный, умел бережно касаться самых заветных чувств человека.

В поэтическом рассказе «Голубая чашка», написанном в 1936 году и адресованном младшему возрасту, есть, однако, как бы несколько разных слоев глубины. Чем взрослее читатель, тем дальше и глубже может заглянуть он в замысел гайдаровского рассказа. Маленькие ребята увидят, может быть, лишь его зеркальную поверхность, залюбуются отраженной в ней картиной пленительных странствий отца и дочки Светланы и историей пионера Пашки Букамашкина, порадуются лучистой дружбе, связывающей больших и маленьких. Кто постарше, тот сквозь хрустальное строение рассказа разглядит его до дна, уловит его подводное течение, сердцем почувствует скрытые тихие струи, увидит, что рассказ не так-то прост — он проникновенно и негромко повествует о больших «взрослых» темах, намекая на нелады в семье, на горькую любовь и предостерегая людей от злых серых мышей, которые могут пробраться в дом и подточить большое, светлое счастье...

Для младших читателей создал Гайдар другой подлинный шедевр, превосходную, неповторимую по своему поэтическому своеобразию книжку «Чук и Гек» (1939). Это одно из самых лучших творений писателя. Занимательнейшая история о двух братишках Чуке и Геке, о потерянной ими телеграмме, об отце их, живущем у далеких Синих гор, о путешествии и приключениях рассказана с классической простотой и ясностью. Прозрачный, весь пронизанный светлым юмором язык, четкость интонации и напряженность сюжета обеспечи-

ли успех книги у самого маленького читателя и слушателя. За ласковой и лукавой усмешкой автора чувствуется проникновенная любовь его к большой нашей стране, к ее смелым и сильным людям, уважение к их мужеству и вера в добрую силу человеческого сердца.

А заключительные строки этой повести, знакомые ныне миллионам детей и взрослых, стали как бы основным заветом писателя, девизом для каждого советского человека:

«Что такое счастье — это каждый понимал по-своему. Но все вместе люди знали и понимали, что надо честно жить, много трудиться и крепко любить и беречь эту огромную счастливую землю, которая зовется Советской страной».

Люди в повести «Чук и Гек» и в других книгах Гайдара — это хорошие русские люди, умеющие крепко любить, мужественно сносить невзгоды и знающие тихие, умные слова для душевного разговора с детьми.

Секрет этих чистых и мудрых слов лучше всего знал сам Аркадий Гайдар, писатель с сердцем воина, смотревший на жизнь как на боевой поход за справедливость.

Недаром в одной из его книг даже лермонтовское стихотворение «Горные вершины спят во тьме ночной» (из Гёте) поется как солдатская песня. В повести «Судьба барабанщика» есть такое место:

«— Папа! — попросил как-то я.— Спой еще какую-нибудь солдатскую песню.

— Хорошо,— сказал он.— Положи весла.

Он зачерпнул пригоршней воды, выпил, вытер руки о колени и запел:

Горные вершины
Спят во тьме ночной;

Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.

— Папа! — сказал я, когда последний отзвук его голоса тихо замер над прекрасной рекой Истрой.— Это хорошая песня, но ведь это же не солдатская.

Он нахмурился:

— Как не солдатская? Ну вот: это горы. Сумерки. Идет отряд. Он устал, идти трудно. За плечами выкладка шестьдесят фунтов... винтовка, патроны. А на перевале белые. «Погодите,— говорит командир,— еще немного, дойдем, собьем... тогда и отдохнем. Кто до утра, а кто и навеки...» Как не солдатская? Очень даже солдатская!»

Высокой романтикой беспрестанной борьбы за народное счастье, поэзией доблестного солдатского долга, который взяли на себя добровольно люди, строящие новый мир, оберегающие счастье и мирный труд народа, овеяны строгие, «походные» интонации, часто неожиданно проступающие в стиле Гайдара.

Помочь подрастающим мальчишкам и девчонкам увидеть место, которое они должны занять в нерасторжимом строю строителей коммунистического будущего, среди борцов за радостную человеческую жизнь, за великое светлое спокойствие и мир во всем мире,— вот то «самое важное», про что с такой изумляющей убедительной простотой умел говорить детям Гайдар.

К пониманию этого «самого важного» ведет Гайдар маленького читателя каждой своей строкой. Всё у не-



Арк. Гайдар

го — и речь героев, и авторские отступления, и пейзаж — подчинено мыслям о величии Советской страны, о ее могучей силе, все зовет оберегать ее счастье, отвоеванное в жестокой борьбе.

Именно об этом самом важном говорит Гайдар и в своей приобретшей еще невиданную в истории литературы судьбу книге «Тимур и его команда», написанной в 1940 году (тогда же был написан и сценарий для одноименного фильма). Книга эта не стоит особняком в творчестве Гайдара. Наоборот, в ней с наибольшей отчетливостью и силой отлилось в образе мальчика-рыцаря Тимура все, что наполняло издавна творчество Гайдара: восхищенное внимание к тем, кто защищает нашу страну с оружием в руках, прекрасное мальчишеское великодушие, проявляемое не на словах, а на деле.

Герой книги пионер Тимур придумал чудесную форму помощи нашей армии. Он со своими сверстниками окружил тайной заботой тех, кого должны были оставить отцы и братья, ушедшие в армию. Смелый, отзывчивый, решительный, благородный в своих побуждениях, неугомонный и хитроумный в достижении задуманного, обаятельный мальчуган Тимур стал образом, по которому захотели равняться, которому решили подражать миллионы советских ребят, как только они познакомились с новым произведением Гайдара.

Гайдар сумел окружить деятельность своего маленького героя таким ореолом увлекательной таинственности, нашел для своего Тимура такие чудесные, живые черты, что разом отпала всякая опасность скучной, навязчивой нравоучительности.

Гайдар написал своего Тимура до войны. Некоторые говорили, что писатель «придумал» мальчика, подобного которому еще нет в наших школах и пионер-

ских лагерях. Близорукие твердили: «Нет еще у нас пока что мальчиков, которые бы затеяли игру лишь ради полезного дела, как не бывает на свете чудес».— «Чудес на свете всё больше и больше,— отвечал им Гайдар.— Надо лишь выйти навстречу им. Гей, Тимур! Где ты? Отзовись, если я тебя угадал!» И со всех концов страны послышались в ответ голоса мальчиков и девочек: «Это мы! Мы все на своих местах!»

Тысячи и тысячи советских школьников увидели в Тимуре самих себя. Да, каждый из них мог стать именно таким, как Тимур. Таким же честным, храбрым, полезным!.. Надо было только захотеть. И книга Гайдара сделалась не только любимейшей книгой детворы: она добилась судьбы, которую еще не знала ни одна детская книга. Слава Тимура вышла за пределы литературы. Стихийно, по ребячьему почину, создалось широкое, повсеместное благородное движение, названное именем гайдаровского героя: движение тимуровцев. Детский писатель Аркадий Гайдар указал ребятам простой и добрый путь, следуя которым маленькие патриоты смогли применить на деле свое искреннее восхищенное тяготение к Советской Армии, нетерпеливый напор сердец, переполненных горячей любовью к военным людям, защитникам Родины.

Удача Гайдара, его огромная заслуга и полная победа гайдаровского стиля в том и заключались, что писатель почувствовал, предугадал и рассмотрел образ своего Тимура, зарождавшийся в тысячах малых, но славных дел, творимых нашими школьниками и пионерами. Писатель сумел собрать лучшие черточки подрастающего поколения в одном законченном, освещенном огнем большой патриотической идеи, жизненно убедительном образе...

Вопреки устарелым поговоркам, заразительными, увлекающими стали не дурной пример хулигана и садового вора Мишки Квакина, а добрые дела Тимура. Традиционные проказы померкли перед сиянием хороших дел, совершаемых ради защитников Родины.

«Почему во все века ребята неизменно играли в разбойников? — спрашивал Гайдар и сам давал на это такой ответ: — Ежели подумать хорошо, то ведь разбой всегда считался делом плохим и всегда наказывался. А между тем ребята—чуткий народ, они зря играть не будут. Тут дело в другом. Дело в том, что, играя в разбойников, ребята играли в свободу, выражая вечное стремление к ней человечества. Разбойники же в те прошедшие века были чаще всего выражением протеста несвободного общества. Советские же дети живут в иных условиях, в иное время, не похожее ни на какие другие времена, и поэтому игры у них другие. Они не будут играть в разбойников, которые сражаются с королевскими стрелками. Они будут играть в такую игру, которая поможет советским солдатам сражаться с разбойниками».

И предсказания писателя полностью оправдались. По слову Гайдара произошло одно из замечательнейших чудес, которые когда-либо знала мировая литература. Вместо одного Тимура, казавшегося кое-кому присочиненным, надуманным, на призыв писателя, облеченный в форму увлекательной детской повести, откликнулись делом миллионы тимуровцев, немедленно начавших действовать по образу и подобию гайдаровского Тимура. Такова сила большой правды, которую Гайдар умел раньше других подмечать в любом уголке нашей жизни! И если припасть чутким ухом к певучей строке Гайдара, услышишь, что гудит она изнутри, как

рельс, по которому далеко-далеко катит, приближаясь, «броневая громада» этой светлой, всепобеждающей социалистической правды.

Гайдар был сам человеком необычайной цельности, и писатель в нем неотделим от человека. Что бы ни писал Гайдар — книгу, статью, сценарий,— он никогда ни одним словом не изменил себе. Он сам глубоко верил в каждое слово, написанное им. Он органически не смог бы сфальшивить, поставить в строку слово, хотя бы на одну йоту не соответствующее его воззрениям и чувствам. Это сказалось на стиле Гайдара, на строе его фразы, скупой на слова и в то же время исчерпывающе ясной, как будто житейски простой, но романтически звучной, иногда приближающейся к ритму сказа, по-военному четкой, несмотря на почти песенный лиризм.

Литературная критика не раз задумывалась над секретом необычайной воспитательной доходчивости произведений Аркадия Гайдара — нет, не над секретом, а над подлинным чудом, которое возникало в творчестве Гайдара!.. Это чудо одинаково радостно удивляет по сей день и поэтов и педагогов. Действительно, сделать для ребенка или подростка правильное, нужное, обязательное таким желанным, увлекательным, чтобы оно своей повелительной правдой и романтической привлекательностью перешибло все то отрицательное, порочное, что встречается у ребят и мешает им расти,— вот высшая воспитательная задача, желанная педагогическая цель, достичь которой стремится пишущий для детей. А у Гайдара почти всегда находились слова и образы для решения этой сложнейшей задачи.

О том, как бережно работал Гайдар над каждым словом, можно судить хотя бы уже по тому, что он помнил наизусть все только что им написанное и, воспро-

изводя вслух на память страницу за страницей, сам взыскательно прислушивался еще и еще раз к звучанию отобранных им слов и интонаций.

Но как же получалось, что очень простая, иногда чисто служебного назначения, подчас и не скрывающая своего назидательного смысла тирада, обращенная к маленькому читателю и состоящая из очень обыденных как будто слов, вдруг начинала светиться изнутри огнем поэзии, хитро укрытой, как костер разведчика в лесу?.. А ведь на этот огонек, невидимо согревающий сердце и зовущий к строгим, славным делам, и тянется доверчиво маленький читатель. Фразам, которые у другого автора оказались бы выспренними либо банально-назидательными, Гайдар возвращал их первородную и суровую простоту. И секрет тут заключался не в том только, что стилистической манере Гайдара свойственно было придавать неожиданный песенный строй простым, как будто житейским, обыкновенным фразам, отчего они приобретали как бы военную выправку и даже синтаксический шаг, приближавший их к ритму сказов,— это было лишь одним из любимых приемов Гайдара. А обыкновенные слова становились у него крылатыми прежде всего потому, что в них всегда была мысль высокого идейного и романтического полета.

В повести «Тимур и его команда» есть такая страница:

«—...Папа, возьми нас с собой на вокзал, мы тебя проводим до поезда!

— Нет, Женя, нельзя. Мне там будет некогда.

— Почему? Папа, ведь у тебя билет уже есть?

— Есть.

— В мягком?

— В мягком.

— Ох, как и я бы хотела с тобой поехать далеко-далеко в мягком!..»

И в следующем абзаце:

«И вот не вокзал, а какая-то станция, похожая на подмосковную товарную, пожалуй на Сортировочную. Пути, стрелки, составы, вагоны. Людей не видно. На линии стоит бронепоезд... На платформе в кожаном пальто стоит отец Жени — полковник Александров. Подходит лейтенант, козыряет и спрашивает:

— Товарищ командир, разрешите отправляться?

— Да! — Полковник смотрит на часы: три часа пятьдесят три минуты.— Приказано отправляться в три часа пятьдесят три минуты.

Полковник Александров подходит к вагону и смотрит. Светает, но в тучах небо. Он берется за влажные поручни. Пред ним открывается тяжелая дверь. И, поставив ногу на ступеньку, улыбнувшись, он сам себя спрашивает:

— В мягком?

— Да! В мягком...

Тяжелая стальная дверь с грохотом захлопывается за ним...»

Подобно тому как в добродушной, скрывающей военную тайну шутке отец Жени, полковник Александров, утаил, что едет по боевому приказу не в мягком вагоне, а в бронепоезде, Гайдар умел с ласковым лукавством подвести мягкую лирическую фразу к строгому, мерному и внушительному «броневому» звучанию. И тогда неожиданно озарялся самый сокровенный смысл гайдаровского повествования. Ведь недаром Гайдар мечтательно говорил на совещании в ЦК ВЛКСМ, состоявшемся незадолго до начала Отечественной войны:

«— Пусть потом когда-нибудь люди подумают, что вот жили такие люди, которые из хитрости назывались детскими писателями. На самом же деле они готовили краснозвездную крепкую гвардию».

И не раз говорил ребятам Гайдар о том, что́ он считает самым важным на свете:

«Совсем рядом с ней проносились через площадь глазастые автомобили, тяжелые грузовики, гремящие трамваи, пыльные автобусы, но они не задевали и как будто бы берегли Натку, потому что она шла и думала о самом важном. (Разрядка моя.— *Л. К.*)

А она думала о том, что вот и прошло детство и много дорог открыто.

Летчики летят высокими путями. Капитаны плывут синими морями. Плотники заколачивают крепкие гвозди, а у Сергея на ремне сбоку повис наган...

И она знала, что все на своих местах и она на своем месте тоже. От этого сразу же ей стало спокойно и радостно».

Это — один из заключительных абзацев «Военной тайны». И почти такими же словами заканчивает Гайдар повесть о «Тимуре и его команде»:

«— Будь спокоен! — отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга.— Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же.

Тимур поднял голову. Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка!

Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал:

— Я стою... я смотрю. Всем хорошо! Все спокойны. Значит, и я спокоен тоже!»

Говорит ли Гайдар о производстве, о большом советском заводе — и тут чудесная мальчишеская и революционная романтика крепит его интонацию:

«Что на этом заводе делают, мы не знаем. А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного — товарища Ворошилова».

Описывает ли он мальчишечью ссору, которая вот-вот кончится потасовкой,— и тут, посмотрите, с каким уважением относится он к этому немаловажному в ребячьей жизни событию:

«— ...А на мельнице сидит пионер Пашка Букамашкин, и он меня драть хочет».

И тотчас мы узнаем, что Пашка Букамашкин хочет драть Саньку за дело, потому что тот проявил по отношению к девочке-политэмигрантке Берте позорные, недостойные советского парнишки черты, которые в правильном представлении наших ребят возможны только у фашистов. И вот как об этом говорит у Гайдара колхозный сторож, который, по его словам, видывал и жуликов и конокрадов ловил, но еще ни разу не встречал на своем участке фашиста:

«— ...Подойди ко мне, Санька — грозный человек. Дай я на тебя хоть посмотрю. Да постой, постой, ты только слюни подбери и нос вытри. А то мне и так на тебя взглянуть страшно».

Тут чувствуется и настоящее внимание взрослого человека к происшествию, в котором так некрасиво показал себя провинившийся Санька, и дается жестокая оценка его поступку. И в то же время провинившийся высмеивается: не очень, мол, грозен-то для нас этот слюнявый и мокроносый обидчик...

Гайдар умел говорить с ребятами весело: лукавый, ласковый юмор согревает все книги, все рассказы его. И это также помогало писателю открыто, с большой задушевной прямотой говорить с детьми о плохом и хорошем, давать вещам и явлениям ясные оценки. В то

же время там, где нужно, Гайдар ограничивался простыми, точными фразами, сказанными в упор, просто, со страстным, почти торжественным убеждением в своей правоте и неопровержимости.

Вспомните одну из первых фраз в «Чуке и Геке»:

«А жили они с матерью в далеком огромном городе, лучше которого и нет на свете...

И, конечно, этот город назывался Москва».

Просто, убежденно, гордо и непреложно. Так же, как у Маяковского:

Начинается земля,
Как известно, от Кремля.

Помнится, что этот поэтический образ пугал некоторых блюстителей географических точностей: как, мол, так — земля же шар!.. Но для поэта, как и для его маленьких читателей, не требовалось доказательств для того, чтобы утверждать высокую неколебимую истину: для нас центр земли — это Кремль!

Так же не было сомнения у Гайдара и его читателей: конечно, огромный город, лучше которого нет на свете,— это Москва.

Я не случайно привел здесь для сличения строки Маяковского. Пытаясь постичь секрет чудодейственной поэтики Гайдара, решившего важнейшую воспитательную задачу, которая казалась многим до него нерешимой, всегда видишь перед собой грандиозный по своей силе, правоте и удаче пример Маяковского. Величайший поэт нашей советской эпохи и лучший детский писатель ее — Маяковский и Гайдар — дали очень много для утверждения новых основ детской литературы. Люди эти были разновелики по своему значению для мировой литературы. Но оба были страстными рево-

люционными романтиками в самом высоком смысле этого определения. Оба умели говорить с детьми о самом главном: о том, что составляет основы коммунистического воспитания. И при этом говорили они с детьми поэтично, серьезно, без умилительных скидок и трусливых умолчаний: они видели в маленьком читателе прежде всего человека завтрашнего дня, который будет уже днем коммунистической эры.

Внешне поэтика Гайдара как будто совсем не похожа на поэтический строй Маяковского: различны стиль, словарь, приемы работы. Но, если внимательно вчитаться, замечаешь несомненную принципиальную общность, некое внутреннее родство в тех прямодушных и сурово-ласковых интонациях, которые звучат в обращении к маленькому читателю у этих двух таких не похожих друг на друга писателей.

Маяковский умел прямо и смело ставить перед детьми вопрос: «Что такое хорошо и что такое плохо?» И от этого стихи его не становились сухими, назидательными прописями, не обескровливались до состояния худосочных «моралите». Стихи, написанные по прямому педагогическому заданию, как будто и не скрывающие своей воспитательной цели, полны настоящего романтического пафоса. Каким образом достигается это?

Добро и зло, плохое и хорошее в своей сущности раскрыты Маяковским перед ребятами не как скучные правила благопристойности, а как человеческие качества, за которые станет отвечать будущий гражданин:

От вороны
карапуз
Убежал, заохав,

Мальчик этот
просто трус.
Это
очень плохо.
Этот,
хоть и сам с вершок,
спорит
с грозной птицей.
Храбрый мальчик,
хорошо,
в жизни
пригодится.

Поэт иногда сводит в одном образе ясное для детей понятие физической мощи человека с силой его высокого духа, политического сознания: «Вот и вырастете истыми силачами-коммунистами».

Когда он говорит с ребятами на тему «кем быть» в жизни, он наполняет описание каждой профессии живым ощущением такой творческой радости, что все виды труда становятся необычайно заманчивыми, привлекательными. И вы верите вместе с детьми доктору, описанному Маяковским: «Поставьте этот градусник под мышку, детишки! И ставят дети радостно градусник под мышки».

Это позволяет поэту с резкой прямотой говорить малышам и о дурных сторонах жизни. И когда Маяковский описывает буржуйскую семью, он говорит так, как вряд ли до него могли сказать в детской книжке: «Дрянь и Петя и родители: общий вид их отвратителен».

Каким же образом правила поведения, подчас прямое назидание стали предметом подлинной поэзии и зазвучали в романтически приподнятых тонах?

Дело тут в том, что все это стало возможным лишь в наше время, когда жизнью стала править высокая социалистическая мораль, сама по себе глубоко романтическая.

Будничная буржуазная уставная мораль всегда входила в противоречие с высокими свободолюбивыми помыслами молодежи. Маяковский же и затем Гайдар заговорили с ребятами о новых правилах большой жизни. Это были не назойливые прописи житейской морали, не обывательский кодекс благоразумия, а пламенная революционная и поэтическая правда нового века. От имени ее и обращались к детям сначала Маяковский, а за ним и Гайдар. Впервые в истории человечества простые, элементарные правила личного поведения, прививаемые детям, полностью совпали с законами революционной дисциплины, с требованием общественной жизни — жизни советского человека, проникнутой революционной идеей и реальной мечтой о коммунизме, черты которого уже проступают в наши дни. Таким образом, насущное, повседневное стало по существу своему романтическим.

Раньше многих понял это Гайдар, «впередсмотрящий» советской литературы для детей. Взволнованно, от всего сердца рассказывал он молодым читателям о самом важном, о самом главном в жизни всего советского народа.

Аркадию Гайдару был в большой степени свойствен тот «практический идеализм», о наличии которого у материалистов говорил Энгельс, когда поборников материалистического учения упрекали в «узости и чрезмерной трезвости». Гайдар умел, рассказывая о простых делах, увлекательно расширять масштабы их результатов. За мелочами раскрывался пафос великой

цели. Это и сделало Гайдара одним из основоположников метода социалистического реализма в детской литературе. Драгоценное умение видеть в сегодняшних делах черты завтрашнего дня и позволило Гайдару создать образ Тимура, который, как мы уже видели, служит блестящим подтверждением жизнетворного могущества социалистического реализма.

Само слово «тимуровцы», вошедшее в летописи Великой Отечественной войны, останется в языке и сознании нашего народа, сохранится в истории как пример чудесного выражения любви детей к Родине, пример деятельной заботы о ней юных патриотов, которые в трудные дни войны всеми силами стремились помочь народу в его титанической борьбе с врагом.

Имя Гайдара заняло свое почетное место в списке славных имен героев великой войны против фашизма рядом с именами воинов, одержавших победы над гитлеровцами, в одном строю с передовыми учеными, изобретателями, инженерами, мастерами производства, которые своим трудом, своей мыслью вооружали народ в дни справедливой войны за наше правое дело.

Сама жизнь Аркадия Гайдара была похожа на добрую солдатскую песню, в которой суровую печаль последних слов утешает подхваченный дружными голосами, долго не смолкающий бодрый, широкий и душевный припев.

И прижизненное народное признание, заслуженное писателем, перешло посмертно в прочную его славу. Творчество Гайдара, героическая биография его и пленительная необыкновенность поступков, личная судьба, понятая им как постоянное добровольное выполнение боевого задания Родины и революции, верность призванию художника и воспитателя — останутся на долгие

годы высоким примером деятельности писателя советской социалистической эпохи.

О нем уже написано немало рассказов, стихов и очерков, а будут еще написаны, несомненно, увлекательные повести и поэмы... Героем этих книг станет чудесный человек, навсегда запомнившийся всем, кто имел счастье встречаться и дружить с ним: высокий, статный, плотно сложенный, круглолицый, в неизменном костюме военного образца, с мягкими редеющими волосами, зачесанными назад от просторного лба, с озорным мальчишеским лукавством и застенчивой серьезностью во взгляде светлых глаз, казавшихся сперва наивными... Большой и ласковый человек, всей своей крупной фигурой, ладной выправкой, военной гимнастеркой, ременным поясом, на котором вечно висело что-то похожее на патронташ, всем своеобразным и сильным обликом своим напоминавший коммуниста времен гражданской войны,— Аркадий Петрович Гайдар, военный человек и один из самых удивительных писателей, которых когда-либо знала история литературы.

Перемежавшиеся приступы тяжелой болезни часто выводили его из строя, творческая деятельность прерывалась, но, оправившись, он снова возвращался к работе, каждый раз окрыленный новыми замыслами, которые целиком завладевали им. И болезнь уступала перед напором жизненной вдохновенной силы, непреоборимо увлекавшей Гайдара к творчеству, в строй!

Не раз еще склонятся читатели и исследователи над короткими строками дневника писателя. Аркадий Гайдар, сын русской революции, верный солдат ее, вдохновенный патриот и неутомимый поборник социализма, хорошо виден в этих записях.

Вот две из них:

*«31 декабря (1940 г.)*

Москва. Все идет хорошо. Меня опять берут на военный учет...

---

На земле тревожно, но в новый год я вступаю твердым, не растерявшимся».

*«Клин, 6 марта (1941 г.)*

В 1941 году должно быть нами заложено 2995 новых предприятий, шахт, заводов, ГЭС и т. д.».

---

«15-летний план развития промышленности СССР» — мне будет 52 года. Что же, увидеть еще можно!»

Но Гайдару не суждено было увидеть осуществление наших мирных, созидательных планов и торжество нашей справедливой военной победы.

Едва лишь началась Великая Отечественная война, он немедленно бросился туда, где решалась судьба Родины и где не быть самому казалось для него немыслимым. Став специальным корреспондентом газеты «Комсомольская правда», он поспешил на фронт. За плечами писателя был уже немалый журналистский опыт, который он накопил, работая очеркистом и разъездным корреспондентом в ряде газет.

Теперь, во всеоружии писательского мастерства и зрелого публицистического опыта, он стал военным корреспондентом центральной газеты Ленинского комсомола. И на страницах «Комсомольской правды» стали печататься превосходные фронтовые очерки Гайдара, точные, глубокие и по-гайдаровски своеобразные.

В этих очерках чувствуется бывалый военный человек, хорошо понимающий ход боя, суть событий, общее движение войны и хорошо знающий душу солдата.

Один из лучших очерков Гайдара, «Мост», перепечатывался много раз. Он вошел в военные сборники и хрестоматии. Это короткое, полное собранной силы произведение Гайдара воспевает «суровую славу часового», стоящего «между водой и небом», на пролете огромного железного моста, который, как «лезвие штыка», протянулся над прифронтовой рекой. Пафос и лирика, военное знание деталей и широкое поэтическое обозрение военного горизонта слиты здесь воедино. Гайдар — военный корреспондент был прямым продолжателем дела Гайдара-писателя, и очерк «Мост» стал поистине литературным мостом, соединившим два эти берега гайдаровского творчества.

Ласковое и твердое гайдаровское слово нашло себе верное применение во фронтовых корреспонденциях. Кто, кроме автора «Тимура», мог бы написать строки, подобные вот этим в его очерке «У переправы»:

«На берегу, на полотнищах палаток, лежат ожидающие переправы раненые. Вот один из них открывает глаза. Он смотрит, прислушивается к нарастающему гулу и спрашивает:

— Товарищи, а вы меня перенесете?

— Милый друг, это, спасая тебя, бьют до последней минуты, прижимая врага к земле, полуоглохшие минометчики.

— Слышишь? Это, обеспечивая тебе переправу, за девять километров открыли свой могучий заградительный огонь батареи из полка резервов главного командования. Мы перейдем реку спокойно. Хочешь закурить? Нет! Тогда закрой глаза и пока молчи. Ты бу-

дешь здоров, и ты еще увидишь гибель врага, славу своего народа и свою славу».

Самому Гайдару не пришлось увидеть, как сбылось это пророчество...

Осенью 1941 года он был корреспондентом на Юго-Западном фронте. Он добровольно остался в тылу врага и стал партизаном в приднепровских лесах. Несколько раз писателю настойчиво предлагали самолет, чтоб перебросить через линию фронта к своим. Гайдар отказывался покинуть отряд, оставаясь, как всегда, верным себе, всепоглощающему чувству солдатского долга... Он отказывался покинуть отряд, как отказался герой его ве́щей сказки «Горячий камень», израненный, но познавший счастье справедливой борьбы старик, воспользоваться тайной волшебного камня, способного возвратить молодость человеку и заставить его жить сначала:

«...И на что мне иная жизнь? Другая молодость? Когда и моя прошла трудно, но ясно и честно!»

Большая и сильная группа, пробивавшаяся на выход из окружения, звала с собой Гайдара. Гайдар отверг и это предложение: он не хотел оставить товарищей партизан.

Его любили и уважали в отряде: сильный, добрый, сердечный человек, и смелость у него веселая. Он слыл отличным пулеметчиком. В бою у лесопильного завода Гайдар с двумя пулеметчиками храбро отразил натиск немалой группы фашистов.

В промежутках между боями, деля с партизанами тяготы и постоянные опасности походной жизни в тылу у гитлеровцев, Гайдар вел дневник отряда. Набросал несколько лирических произведений. Они были написаны в форме писем жене и сыну Тимуру. Гайдар всегда

носил их при себе и читал эти письма вслух партизанам.

26 октября 1941 года Гайдар в сопровождении четырех партизан отправился на разведку в окрестностях села Лепляво, близ железной дороги Канев — Золотоноша.

Гайдар шел впереди — он и тут был гайдаром, впередсмотрящим.

Большой отряд фашистов-эсэсовцев залег в засаде у переезда. И маленький партизанский отряд вышел на рассвете прямо на эту засаду. Первым увидел фашистов Гайдар. Он мгновенно понял, что только своей смертью сможет предупредить шедших за ним товарищей. Выпрямившись во весь рост, подняв высоко руку и словно подавая сигнал к атаке, Гайдар громко крикнул:

— Вперед!.. За мной!..

И бросился прямо навстречу эсэсовцам.

Яростный залп вражеских пулеметов ударил по партизанам. Но, поняв, в чем дело, они успели мгновенно залечь для обороны. Упал на насыпь и Гайдар. Упал... и больше уже не смог подняться. Пулеметная очередь прошла через его сердце.

Фашисты сняли с погибшего писателя его орден, верхнее обмундирование, взяли тетради, блокноты, записи и письма, которые так любили слушать в короткие минуты роздыха партизаны,— всё забрали эсэсовцы.

Путевой обходчик нашел тело Гайдара, предал его земле, вырыв могилу у железнодорожного полотна. А через несколько дней уже все село знало, что за полотном железной дороги похоронен известный всей стране писатель Аркадий Гайдар.

Так погиб он с оружием в руках, следуя по пути своих героев, до последней минуты жизни своей делом подтверждая правду каждого написанного им слова.

* * *

Книгами Аркадия Гайдара зачитываются сегодня ребята во всех городах, во всех школах нашей страны. Книги Гайдара приходили в числе первых книг, поступавших во вновь открываемые и восстановленные библиотеки, когда Советская Армия освобождала наши земли, гоня прочь врага. Книги Гайдара давно уже знают и крепко любят дети за рубежами нашей Родины.

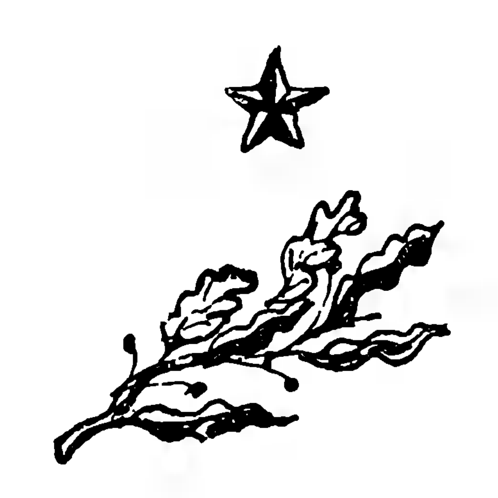
Прах Гайдара после войны перенесли на высокий приднепровский холм в городе Каневе. Там ныне установлен памятник Гайдару — бронзовый бюст на высоком постаменте. Днепр образует здесь излучины, и, когда пароход подплывает к Каневу, уже издалека и задолго до того, как покажется пристань, с борта хорошо видна на круче могила Гайдара...

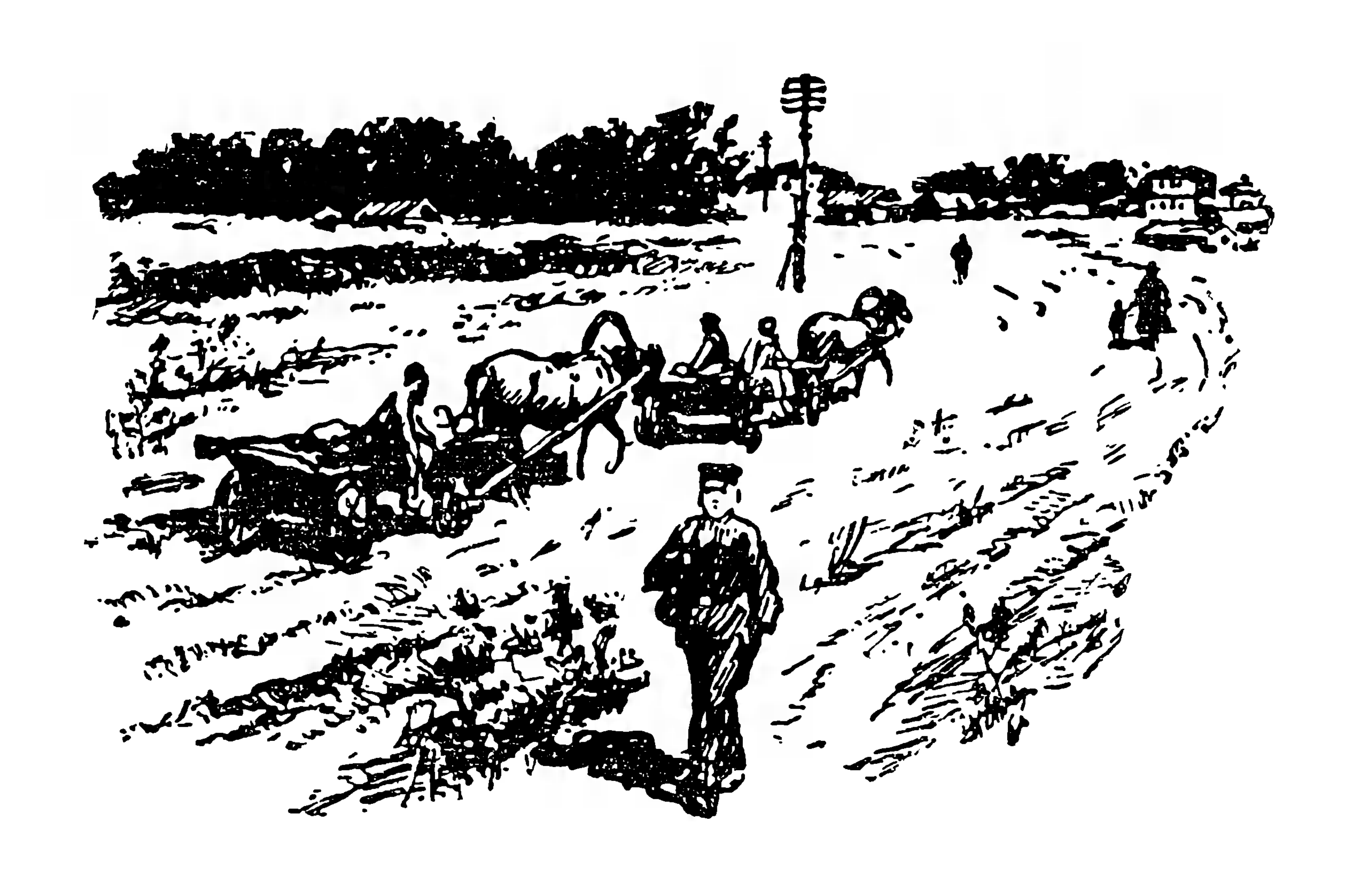
Вот и вышло совсем так, как в пророческой сказке из «Военной тайны»:

«...Мальчиша-Кибальчиша схоронили на зеленом бугре у Синей Реки...

Плывут пароходы — привет Мальчишу!
Пролетают летчики — привет Мальчишу!
Пробегут паровозы — привет Мальчишу!
А пройдут пионеры — салют Мальчишу!»

*Лев Кассиль*





# АВТОБИОГРАФИЯ

В АВГУСТЕ 1914 года, когда мне стукнуло десять лет, отца взяли в солдаты и послали на германский фронт.

Забежал он из казармы прощаться. Бритая голова, серая папаха, тяжелые, кованные железом сапоги.

Не узнала его наша рыжая собачонка Каштанка, зарычала, залаяла. Самая младшая сестренка, Катюшка, так до конца и не поняла, в чем дело. Все таращила глаза, за шинель трогала, за погоны тянула и смеялась:

— Солдат папа! Папа солдат!

Когда пришла минута прощанья — все заплакали. Поняла Катюшка, что дело не до смеха, и подняла такой рев, как будто бы ее кипятком ошпарили. Я крепился.

За окном трещали барабаны, гремела военная музыка, и с маршевой ротой ушел на вокзал мой отец.

Помню — вечерело. Крепко пахло на вокзале нефтью, карболкой и антоновскими яблоками, которых уродилась в тот год неисчислимая сила.

И как раз помню, когда уже отошел поезд, остановился я на мостике через овраг.

Удивительным цветом горело в тот вечер небо.

Меж стремительных, но тяжело-угрюмых туч над горизонтом блистали величаво-багровые зарева. И казалось, что где-то там, куда скрылся эшелон, за деревней Морозовкой, загоралась иная жизнь. Уже отцеловались, отплакались, звякнули, загудели, тронулись и поехали. «Прощайте, солдаты, прощайте!» Уезжали под плач, с громом, свистом и с песнями. С чем-то назад вернетесь?

И они вернулись назад через четыре года.

Те, кто не были искалечены, отравлены, засыпаны землей и убиты на полях Галиции, на Карпатах, под Трапезундом и под Ригой,— те вернулись назад на помощь рабочим Москвы и Петрограда, которые уже бились на баррикадах за лучшую долю, за счастье, за братство народов, за советскую власть.

Мне было всего четырнадцать лет, когда я ушел в Красную Армию. Но я был высокий, широкоплечий и, конечно, соврал, что мне уже шестнадцать.

Я был на фронтах: петлюровском, польском, кавказском, внутреннем, на антоновщине и, наконец, близ границы Монголии. Что я видел, где мы наступали, где

отступали, скоро всего не перескажешь. Но самое главное, что я запомнил,— это то, с каким бешеным упорством, с какой ненавистью к врагу, безграничной и беспредельной, сражалась Красная Армия одна против всего белогвардейского мира.

Под Киевом, возле Боярки, умирал и бредил мой друг, курсант Яша Оксюз. Уже розоватая пена дымилась на его запекшихся губах, и он говорил уже что-то не совсем складное и для других непонятное. «Если бы,— бормотал он,— на заре переменить позицию. Да краем по Днепру, да прямо за Волгу. А там письмо бросьте. Бомбы бросайте осторожнее! И никогда, никогда... Вот и все! Нет... не все. Нет — все, товарищи!» И что бы он там ни бормотал, лежа меж истоптанных огуречных и морковных грядок, мотал головой, шептал, хмурил брови, я знал и понимал, что он хочет и торопится сказать, чтобы били мы белых и сегодня, и завтра, и до самой смерти, проверяли на заре полевые караулы, что Петлюра убежит с Днепра, что Колчака прогнали уже за Волгу, что наш часовой не вовремя бросил бомбу, и от этого нехорошо так сегодня получилось, что письмо к жене-девчонке у него лежит, да я и сам его вижу — торчит из кармана потертого защитного френча. И в том письме, конечно, все те же ей слова: прощай, мол, помни! Но нет силы, которая сломала бы советскую власть ни сегодня, ни завтра. И это все.

Кто знает под Киевом, где-то возле Боярки, деревеньку Кожуховку? Какие-то, интересно, там сейчас и как называются колхозы? «Заря революции», «Октябрь», «Пламя», «Вперед», «Победа» или просто какой-нибудь тихий и скромный «Рассвет»,— вот там и схоронили мы Яшу. А потом хоронили еще и де-

сять, и двадцать, и сто, и тысячу. Но советская власть жила, живет, и никто с ней, товарищи, ничего не сделает.

В Красной Армии я пробыл шесть лет. Пятнадцати лет я окончил Киевские командные курсы и тут же, в августе 1919 года, был назначен командиром шестой роты второго полка бригады курсантов.

Потом я был командиром батальона, командиром сводного отряда, командиром 23-го полка в Воронеже и, наконец, командиром 58-го отдельного полка по борьбе с бандитизмом.

Я был тогда очень молод, командовал, конечно, не как Чапаев. И то у меня не так, и это не эдак. Иной раз, бывало, закрутишься, посмотришь в окошко и подумаешь: а хорошо бы отстегнуть саблю, сдать маузер и пойти с ребятишками играть в лапту!

Частенько я оступался, срывался, бывало даже своевольничал, и тогда меня жестоко за это свои же обрывали и одергивали, но все это пошло мне только на пользу.

Я любил Красную Армию и думал остаться в ней на всю жизнь. Но в 23-м году из-за старой контузии в правую половину головы я вдруг крепко заболел. Все что-то шумело в висках, гудело, и губы неприятно дергались. Долго меня лечили, и наконец в апреле 1924 года, как раз когда мне исполнилось двадцать лет, я был зачислен по должности командира полка — в запас.

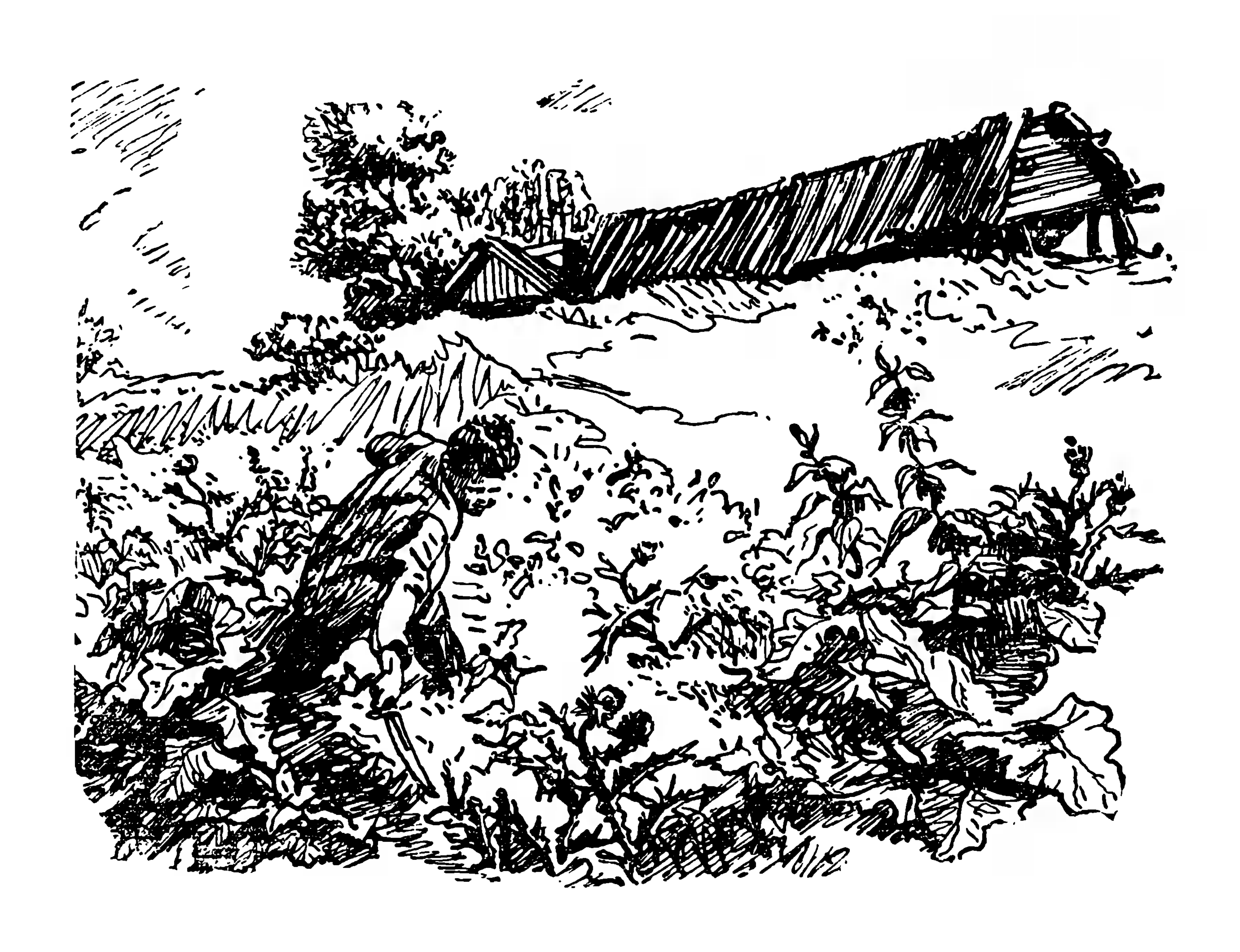
С тех пор я стал писать. Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была, жизнь, как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало.

Какие книги я написал — вы знаете. Если выкинуть первые, совсем еще слабые, то останутся: «Р.В.С.», «Школа», «Дальние страны», «Четвертый блиндаж», «Военная тайна» и «Голубая чашка».

Сейчас я заканчиваю повесть «Судьба барабанщика». Эта книга не о войне, но о делах суровых и опасных — не меньше, чем сама война.

*1937 г.*

Арк. Гайдар



# Р.В.С.

## 1

РАНЬШЕ сюда иногда забегали ребятишки затем, чтобы побегать и полазить между осевшими и полуразрушенными сараями. Здесь было хорошо.

Когда-то немцы, захватившие Украину, свозили сюда сено и солому. Но немцев прогнали красные, после красных пришли гайдамаки, гайдамаков прогнали петлюровцы, петлюровцев — еще кто-то. И осталось лежать сено почерневшими, полусгнившими грудами.

А с тех пор, как атаман Криволоб, тот самый, у ко-

торого желто-голубая лента пересекала папаху, расстрелял здесь четырех москалей и одного украинца, пропала у ребятишек всякая охота лазить и прятаться по заманчивым лабиринтам. И остались стоять черные сараи, молчаливые, заброшенные.

Только Димка забегал сюда часто, потому что здесь как-то особенно тепло грело солнце, приятно пахла горько-сладкая полынь и спокойно жужжали шмели над широко раскинувшимися лопухами.

А убитые?.. Так ведь их давно уже нет! Их свалили в общую яму и забросали землей. А старый нищий Авдей, тот, которого боится Топ и прочие маленькие ребятишки, смастерил из двух палок крепкий крест и тайком поставил его над могилой. Никто не видел, а Димка видел. Видел, но не сказал никому.

В укромном углу Димка остановился и внимательно осмотрелся вокруг. Не заметив ничего подозрительного, он порылся в соломе и извлек оттуда две обоймы патронов, шомпол от винтовки и заржавленный австрийский штык без ножен.

Сначала Димка изображал разведчика, то есть ползал на коленях, а в критические минуты, когда имел основание предполагать, что неприятель близок, ложился на землю и, продвигаясь дальше с величайшей осторожностью, высматривал подробно его расположение. По счастливой случайности или еще почему-то, только сегодня ему везло. Он ухитрялся безнаказанно подбираться почти вплотную к воображаемым вражьим постам и, преследуемый градом выстрелов из ружей, из пулеметов, а иногда даже из батарей, возвращался невредимым в свой стан.

Потом, сообразуясь с результатами разведки, высылал в дело конницу и с визгом врубался в самую гущу

репейников и чертополохов, которые геройски умирали, не желая, даже под столь бурным натиском, обращаться в бегство.

Димка ценит мужество и потому забирает остатки в плен. Затем, скомандовав «стройся» и «смирно», он обращается к захваченным с гневной речью:

— Против кого идете? Против своего брата рабочего и крестьянина? Генералы вам нужны да адмиралы...

Или:

— Коммунию захотели? Свободы захотели? Против законной власти...

Это в зависимости от того, командира какой армии в данном случае изображал он, так как командовал то одной, то другой по очереди. Он так заигрался сегодня, что спохватился только тогда, когда зазвякали колокольчики возвращающегося стада.

«Елки-палки! — подумал он.— Вот теперь мать задаст трепку, а то и поесть, пожалуй, не оставит». И, спрятав свое оружие, он стремительно пустился домой, раздумывая на бегу, что бы соврать такое получше.

Но, к величайшему удивлению, нагоняя он не получил и врать ему не пришлось.

Мать почти не обратила на него внимания, несмотря на то что Димка чуть не столкнулся с ней у крыльца. Бабка звенела ключами, вынимая зачем-то старый пиджак и штаны из чулана.

Топ старательно копал щепкой ямку в куче глины.

Кто-то тихонько дернул сзади Димку за штанину. Обернулся — и увидел печально посматривающего мохнатого Шмеля.

— Ты что, дурак? — ласково спросил он и вдруг заметил, что у собачонки рассечена чем-то губа.

— Мам! Кто это? — гневно спросил Димка.

— Ах, отстань! — досадливо ответила та отворачиваясь.— Что я, присматривалась, что ли?

Но Димка почувствовал, что она говорит неправду.

— Это дядя сапогом двинул,— пояснил Топ.

— Какой еще дядя?

— Дядя... серый... он у нас в хате сидит.

Выругавши «серого дядю», Димка отворил дверь. На кровати он увидел здорового детину в солдатской гимнастерке. Рядом на лавке лежала казенная серая шинель.

— Головень! — удивился Димка.— Ты откуда?

— Оттуда,— последовал короткий ответ.

— Ты зачем Шмеля ударил?

— Какого еще Шмеля?

— Собаку мою...

— Пусть не гавкает. А то я ей и вовсе башку сверну.

— Чтоб тебе самому кто-нибудь свернул!—с сердцем ответил Димка и шмыгнул за печку, потому что рука Головня потянулась к валявшемуся тяжелому сапогу.

Димка никак не мог понять, откуда взялся Головень. Совсем еще недавно забрали его красные в солдаты, а теперь он уже опять дома. Не может быть, чтоб служба у них была такая короткая.

За ужином он не вытерпел и спросил:

— Ты в отпуск приехал?

— В отпуск.

— Вот что! Надолго?

— Надолго.

— Ты врешь, Головень! — убежденно сказал Димка.— Ни у красных, ни у белых, ни у зеленых надолго сейчас не отпускают, потому что сейчас война. Ты дезертир, наверно.

В следующую же секунду Димка получил здоровый удар по шее.

— Зачем ребенка бьешь? — вступилась Димкина мать.— Нашел с кем связываться.

Головень покраснел еще больше, взмахнул своей круглой головой с оттопыренными ушами (за нее-то он и получил кличку) и ответил грубо:

— Помалкивайте-ка лучше... Питерские пролетарии... Дождетесь, что я вас из дома повыгоню.

После этого мать как-то съежилась, осела и выругала глотавшего слезы Димку:

— А ты не суйся, идол, куда не надо, а то еще и не так попадет.

После ужина Димка забился в сени, улегся на груду соломы за ящиками, укрылся материной поддевкой и долго лежал не засыпая. Потом к нему тихонько пробрался Шмель и положил голову на плечо.

— Уедем, мам, в Питер, к батьке.

— Эх, Димка! Да я бы хоть сейчас... Да разве проедешь теперь? Пропуски разные нужны, а потом и так — кругом вон что делается.

— В Питере, мам, какие?

— Кто их знает! Говорят, что красные. А может, врут. Разве теперь разберешь?

Димка согласился, что разобрать трудно. Уж на что близко волостное село, а и то не поймешь, чье оно. Говорили, что занял его на днях Козолуп... А что за Козолуп, какой он партии?

И он спросил у задумавшейся матери:

— Мам, а Козолуп зеленый?

— А пропади они все, вместе взятые! — с сердцем ответила та.— Все были люди как люди, а теперь поди-ка...

...В сенцах темно. Сквозь распахнутую дверь виднеются густо пересыпанное звездами небо и краешек светлого месяца. Димка зарывается глубже в солому, приготавливаясь видеть продолжение интересного, но не досмотренного вчера сна. Засыпая, он чувствует, как приятно греет шею прикорнувший к нему верный Шмель...

В синем небе края облаков серебрятся от солнца. Широко по полям желтыми хлебами играет ветер, и лазурно-покоен летний день. Неспокойны только люди. Где-то за темным лесом протрещали раскатисто пулеметы. Где-то за краем перекликнулись глухо орудия. И куда-то промчался легкий кавалерийский отряд.

— Мам, с кем это?

— Отстань!

Отстал Димка, побежал к забору, взобрался на одну из жердей и долго смотрел вслед исчезающим всадникам.

Между тем Головень ходил злой. Каждый раз, когда через деревеньку проходил красный отряд, он скрывался где-то. И Димка понял, что Головень дезертир.

Как-то бабка послала Димку отнести Головню на сеновал кусок сала и ломоть хлеба. Подбираясь к укромному логову, он заметил, что Головень, сидя к нему спиной, мастерит что-то. «Винтовка! — удивился Димка.— Вот так штука! На что она ему?»

Головень тщательно протер затвор, заткнул ствол тряпкой и запрятал винтовку в сено.

Весь вечер и несколько следующих дней Димку разбирало любопытство посмотреть, что за винтовка: «Русская или немецкая? А может, там и наган есть?»

Как раз в это время утихло все кругом. Прогнали красные Козолупа и ушли дальше на какой-то фронт. Тихо и безлюдно стало в маленькой деревушке, и Голо-

вень начал покидать сеновал и исчезать где-то подолгу. И вот как-то под вечер, когда лягушиными песнями зазвенел порозовевший пруд, когда гибкие ласточки заскользили по воздуху и бестолково зажужжала мошкара, решил Димка пробраться на сеновал.

Дверца была заперта на замок, но у Димки был свой ход — через курятник. Заскрипела отодвигаемая доска, громко заклохтали потревоженные куры. Испугавшись произведенного шума, Димка быстро юркнул наверх. На сеновале было душно и тихо. Пробрался в угол, где валялась красная подушка в перьях, и, принявшись шарить под крышей, наткнулся на что-то твердое. «Приклад!» Прислушался: на дворе — никого. Потянул и вытащил всю винтовку. Нагана не было. Винтовка оказалась русской. Димка долго вертел ее, осторожно ощупывая и осматривая. «А что, если открыть затвор?»

Сам он никогда не открывал, но часто видел, как это делают солдаты. Потянул тихонько — рукоятка вверх подается. Отодвинул на себя до отказа. «Умею!» — горделиво подумал он, но тут же заметил под затвором вынырнувший откуда-то желтоватый патрон. Это его немного озадачило, и он решил закрыть снова. Теперь пошло туже, и Димка заметил, что желтый патрон движется прямо в ствол. Он остановился в нерешительности, отодвинув от себя винтовку.

«И куда лезет, черт!»

Однако надо было торопиться. Он закрыл затвор и начал потихоньку толкать ружье на место. Запрятал почти все, как вдруг распахнулась дверь и прямо перед Димкой очутилось удивленное и рассерженное лицо Головня.

— Ты что, собака, здесь делаешь?

— Ничего!—испуганно ответил Димка.—Я спал...— И незаметно двинул ногой в сено приклад винтовки. В тот же момент грохнул глухой, но сильный выстрел. Димка чуть не сшиб Головня с лестницы, бросился сверху прямо на землю и пустился через огороды. Перескочив через плетень возле дороги, он оступился в канаву и, когда вскочил, почувствовал, как рассвиревевший Головень вцепился ему в рубаху.

«Убьет! — подумал Димка.— Ни мамки, никого — конец теперь». И, получив сильный тычок в спину, от которого черная полоса поползла по глазам, он упал на землю, приготовившись получить еще и еще.

Но... что-то застучало по дороге. Почему-то ослабла рука Головня. И кто-то крикнул гневно и повелительно:

— Не сметь!

Открыв глаза, Димка увидел сначала лошадиные ноги — целый забор лошадиных ног.

Кто-то сильными руками поднял его за плечи и поставил на землю. Только теперь рассмотрел он окружавших его кавалеристов и всадника в черном костюме, с красной звездой на груди, перед которым растерянно стоял Головень.

— Не сметь! — повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: — Не плачь, мальчуган, и не бойся. Больше он не тронет ни сейчас, ни после.— Кивнул одному головой и с отрядом умчался вперед.

Отстал один и спросил строго:

— Ты кто такой?

— Здешний,— хмуро ответил Головень.

— Почему не в армии?

— Год не вышел.

— Фамилия?.. На обратном пути проверим.—



— Не сметь! — повторил незнакомец и, взглянув на заплаканное лицо Димки, добавил: — Не плачь, мальчуган, и не бойся.

Ударил шпорами кавалерист, и прыгнула лошадь с места галопом.

И остался на дороге недоумевающий и не опомнившийся еще Димка. Посмотрел назад — нет никого. Посмотрел по сторонам — нет Головня. Посмотрел вперед и увидел, как чернеет точками и мчится, исчезая за горизонтом, красный отряд.

## 2

Высохли на глазах слезы. Утихла понемногу боль. Но идти домой Димка боялся и решил обождать до ночи, когда улягутся все спать. Направился к речке. У берегов под кустами вода была темная и спокойная, посередке отсвечивала розоватым блеском и тихонько играла, перекатываясь через мелкое каменистое дно.

На том берегу, возле опушки никольского леса, заблестел тускло огонек костра. Почему-то он показался Димке очень далеким и заманчиво загадочным. «Кто бы это? — подумал он.— Пастухи разве?.. А может, и бандиты! Ужин варят — картошку с салом или еще что-нибудь такое...» Ему очень хотелось есть. В сумерках огонек разгорался все ярче и ярче, приветливо мигая издалека мальчугану. Но еще глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный никольский лес.

Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился, услышав что-то интересное. За поворотом, у берега, кто-то пел высоким переливающимся альтом, как-то странно, хотя и красиво разбивая слова:

Та-ваа-рищи, та-ва-рищи,—
Сказал он им в ответ,—
Да здра-вству-ит
  Ра-сия!
Да здра-вству-ит
  Совет!



На берегу он увидал небольшого худенького мальчишку, валявшегося возле затасканной сумки.

«А, чтоб тебе! Вот наяривает!» — с восхищением подумал Димка и бегом пустился вниз.

На берегу он увидал небольшого худенького мальчишку, валявшегося возле затасканной сумки. Заслышав шаги, тот оборвал песню и с опаской посмотрел на Димку:

— Ты чего?

— Ничего... Так!

— А-а! — протянул тот, по-видимому удовлетворенный ответом.— Драться, значит, не будешь?

— Чего-о?

— Драться, говорю... А то смотри! Я даром что маленький, а так отошью...

Димка вовсе и не собирался драться и спросил в свою очередь:

— Это ты пел?

— Я.

— А ты кто?

— Я Жиган,— горделиво ответил тот.— Жиган из города... Прозвище у меня такое.

С размаху бросившись на землю, Димка заметил, как мальчишка испуганно отодвинулся.

— Барахло ты, а не жиган... Разве такие жиганы бывают?.. А вот песни поешь здорово.

— Я, брат, всякие знаю. На станциях по эшелонам завсегда пел. Все равно хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому... Ежели товарищам, скажем,— тогда «Алеша-ша» либо про буржуев. Белым — так тут надо другое: «Раньше были денежки, были и бумажки», «Погибла Расея», ну, а потом «Яблочко»—его, конечно, на обе стороны петь можно, слова только переставлять надо.

Помолчали.

— А ты зачем сюда пришел?

— Крестная у меня тут, бабка Онуфриха. Я думал хоть с месяц отожраться. Куды там! Чтоб, говорит, тебя через неделю, через две здесь не было!

— А потом куда?

— Куда-нибудь. Где лучше.

— А где?

— Где? Кабы знать, тогда что! Найти надо.

— Приходи утром на речку, Жиган. Раков по норьям ловить будем!

— Не соврешь? Обязательно приду! — весьма довольный, ответил тот.

Перескочив плетень, Димка пробрался на темный двор и заметил сидевшую на крыльце мать. Он подошел к ней и, потянувши за платок, сказал серьезно:

— Ты, мам, не ругайся... Я нарочно долго не шел, потому Головень меня здорово избил.

— Мало тебе! — ответила она оборачиваясь.— Не так бы надо...

Но Димка слышит в ее словах и обиду, и горечь, и сожаление, но только не гнев.

Пришел как-то на речку скучный-скучный Димка.

— Убежим, Жиган! — предложил он.— Закатимся куда-нибудь подальше отсюда, право!

— А тебя мать пустит?

— Ты дурак, Жиган! Когда убегают, то ни у кого не спрашивают. Головень злой, дерется. Из-за меня мамку и Топа гонит.

— Какого Топа?

— Братишку маленького. Топает он чудно́, когда

ходит, ну вот и прозвали. Да и так надоело все. Ну, что дома?

— Убежим! — оживленно заговорил Жиган.— Мне что не бежать? Я хоть сейчас. По эшелонам собирать будем.

— Как собирать?

— А так: спою я что-нибудь, а потом скажу: «Всем товарищам нижайшее почтенье, чтобы был вам не фронт, а одно развлеченье. Получать хлеба по два фунта, табаку по осьмушке, не попадаться на дороге ни пулемету, ни пушке». Тут, как начнут смеяться, снять шапку в сей же момент и сказать: «Граждане! Будьте добры, оплатите детский труд».

Димка подивился легкости и уверенности, с какой Жиган выбрасывал эти фразы, но такой способ существования ему не особенно понравился, и он сказал, что гораздо лучше бы вступить добровольцами в какой-нибудь отряд, организовать собственный или уйти в партизаны. Жиган не возражал, и даже наоборот, когда Димка благосклонно отозвался о красных, «потому что они за революцию», выяснилось, что Жиган служил уже у красных.

Димка посмотрел на него с удивлением и добавил, что ничего и у зеленых, «потому что гусей они едят много». Дополнительно тут же выяснилось, что Жиган бывал также у зеленых и регулярно получал свою порцию, по полгуся в день.

План побега разрабатывали долго и тщательно. Предложение Жигана бежать сейчас же, не заходя даже домой, было решительно отвергнуто.

— Перво-наперво хлеба надо хоть для начала захватить,— заявил Димка,— а то как из дома, так и по соседям. А потом спичек...

— Котелок бы хорошо. Картошки в поле нарыл — вот тебе и обед!

Димка вспомнил, что Головень принес с собой крепкий медный котелок. Бабка начистила его золой и, когда он заблестел, как праздничный самовар, спрятала в чулан.

— Заперто только, а ключ с собой носит.

— Ничего! — заявил Жиган.— Из-под всякого запора при случае можно, повадка только нужна.

Решили теперь же начать запасать провизию. Прятать Димка предложил в солому у сараев.

— Зачем у сараев? — возразил Жиган.— Можно еще куда-либо... А то рядом с мертвыми!

— А тебе что мертвые? — насмешливо спросил Димка.

В этот же день Димка притащил небольшой ломоть сала, а Жиган — тщательно завернутые в бумажку три спички.

— Нельзя помногу,— пояснил он.— У Онуфрихи всего две коробки, так надо, чтоб незаметно.

И с этой минуты побег был решен окончательно.

А везде беспокойно бурлила жизнь. Где-то недалеко проходил большой фронт. Еще ближе—несколько второстепенных, поменьше. А кругом красноармейцы гонялись за бандами, или банды за красноармейцами, или атаманы дрались меж собой. Крепок был атаман Козолуп. У него морщина поперек упрямого лба залегла изломом, а глаза из-под седоватых бровей посматривали тяжело. Угрюмый атаман! Хитер, как черт, атаман Левка. У него и конь смеется, оскаливая белые зубы, так же как и он сам. Но с тех пор, как отбился он из-под начала Козолупа, сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла между ними.

Написал Козолуп приказ поселянам: «Не давать Левке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлега».

Засмеялся Левка, написал другой.

Прочитали красные оба приказа. Написали третий: «Объявить Левку и Козолупа вне закона»—и все. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт.

И пошло тут что-то такое, чего и не разберешь. Уж на что дед Захарий! На трех войнах был. А и то, когда садился на завалинке возле рыжей собачонки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил:

— Ну и времечко!

Приехали сегодня зеленые, человек двадцать. Заходили двое к Головню. Гоготали и пили чашками мутный крепкий самогон.

Димка смотрел на них с любопытством.

Когда Головень ушел, Димка, давно хотевший узнать вкус самогонки, слил остатки из чашек в одну.

— Ди-мка, мне! — плаксиво захныкал Топ.

— Оставлю, оставлю!

Но едва он опрокинул чашку в рот, как, отчаянно отплевываясь, вылетел на двор.

Возле сараев он застал Жигана.

— А я, брат, штуку знаю.

— Какую?

— У нас за хатой зеленые яму через дорогу роют, а черт ее знает — зачем. Должно, чтоб никто не ездил.

— Как же можно не ездить? — с сомнением возразил Димка.— Тут не так что-то. Не иначе, как что-нибудь затевается.

Пошли осматривать свои запасы. Их было еще не-

много: два куска сала, кусок вареного мяса и с десяток спичек.

В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли.

Далеко, в Ольховке, приткнувшейся к опушке никольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, а так просто, мягко-мягко. И когда густые дрожащие звуки мимо соломенных крыш дошли до ушей старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону и, перекрестившись неторопливо, крепко сел на свое место, возле покривившегося крылечка. А когда сел, то подумал: «Какой же это праздник завтра будет?» И так прикидывал и этак — ничего не выходит. Потому престольный в Ольховке уже прошел, а спасу еще рано. И спросил Захарий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старухи:

— Горпина, а Горпина, или у нас завтра воскресенье будет?

— Что ты, старый! — недовольно ответила перепачканная в муке Горпина.— Разве же после среды воскресенье бывает?

— Ото ж и я так думаю...

И усомнился дед Захарий, не напрасно ли он крест на себя наложил и не худой ли какой это звон.

Набежал ветерок, чуть колыхнул седую бороду. И увидел дед Захарий, как высунулись любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за ворот, а с поля донесся какой-то протяжный странный звук, как будто заревел бык либо корова в стаде, только еще резче и дольше:

У-о-уу-ууу...

А потом вдруг как хрястнуло по воздуху, как забухали подле поскотины выстрелы... Захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки. И не мог только встать и сдвинуться напуганный старик, пока не закричала на него Горпина:

— Ты тюпайся швидче, старый дурак! Или ты не видишь, что такое начинается?

А в это время у Димки колотилось сердце такими же неровными, как выстрелы, ударами, и хотелось ему выбежать на улицу, узнать, что там такое... Было ему страшно, потому что побледнела мать и сказала не своим, тихим голосом:

— Ляг... ляг на пол, Димушка. Господи, только бы из орудиев не начали!

У Топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, приткнувши голову к ножке стола. Но лежать ему было неудобно, и он сказал плаксиво:

— Мам, я не хочу на полу, я на печку лучше...

— Лежи, лежи! Вот придет гайдамак... он тебе!

В эту минуту что-то особенно здорово грохнуло, так что зазвенели стекла окошек, и показалось Димке, что дрогнула земля. «Бомбы бросают!» — подумал он и услышал, как мимо потемневших окон с топотом и криками пронеслось несколько человек.

Все стихло. Прошло еще с полчаса. Кто-то застучал в сенцах, изругался, наткнувшись на пустое ведро. Распахнулась дверь, и в хату вошел вооруженный Головень.

Он был чем-то сильно разозлен, потому что, выпивши залпом ковш воды, оттолкнул сердито винтовку в угол и сказал с нескрываемой досадой:

— Ах, чтоб ему!..

...Утром встретились ребята рано.

— Жиган,— спросил Димка,— ты не знаешь, отчего вчера... С кем это?

У Жигана юркие глаза блеснули самодовольно. И он ответил важно:

— О, брат! Было у нас вчера дело...

— Ты не ври только! Я ведь видел, как ты сразу тоже за огороды припустился.

— А почем ты знаешь? Может, я кругом! — обиделся Жиган.

Димка сильно усомнился в этом, но перебивать не стал.

— Машина вчера езжала, а ей в Ольховке починка была. Она только оттуда, а Гаврила-дьякон в колокол: бум!..— сигнал, значит.

— Ну?

— Ну, вот и ну... Подъехала к деревне, а по ней из ружей. Она было назад, глядь — ограда уже заперта.

— И поймали кого?

— Нет... Оттуда такую стрельбу подняли, что и не подступиться. А потом видят—дело плохо, и врассыпную... Тут их и постреляли. А один убег. Бомбу бросил ря-адышком, у Онуфрихиной хаты все стекла полопались. По нем из ружей кроют, за ним гонятся, а он через плетень, через огороды, да и утек.

— А машина?

— Машина и сейчас тут... только негодная, потому что, как убегать, один гранатой запустил. Всю искорежил... Я уж бегал... Федька Марьин допрежь меня еще поспел. Гудок стащил. Нажмешь резину, а он как завоет!

Весь день только и было разговоров, что о вчераш-

нем происшествии. Зеленые ускакали еще ночью. И осталась снова без власти маленькая деревушка.

Между тем приготовления к побегу подходили к концу.

Оставалось теперь стащить котелок, что и решено было сделать завтра вечером при помощи длинной палки с насаженным гвоздем через маленькое окошко, выходящее в огород.

Жиган пошел обедать.

Димке не сиделось, и он отправился ожидать его к сараям.

Завалился было сразу на солому и начал баловаться, защищаясь от яростно атакующего его Шмеля, но вскоре привстал, немного встревоженный. Ему показалось, что снопы разбросаны как-то не так, не по-обыкновенному. «Неужели из ребят кто-нибудь лазил? Вот черти!» И он подошел, чтобы проверить, не открыл ли кто место, где спрятана провизия. Пошарил рукой — нет, тут! Вытащил сало, спички, хлеб. Полез за мясом — нет!

— Ах, черти! — выругался он.— Это не иначе, как Жиган сожрал. Если бы кто из ребят, так тот уж все сразу бы.

Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал, а потому был в самом хорошем настроении и подходил, беспечно насвистывая.

— Ты мясо ел? — спросил Димка, уставившись на него сердито.

— Ел! — ответил тот.— Вку-усно...

— Вкусно! — напустился на него разозленный Димка.— А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А на дорогу что?.. Вот я тебя тресну по башке, тогда будет вкусно!..

Жиган опешил.

— Так это же я дома за обедом. Онуфриха раздобрилась, кусок из щей вынула, здоро-овый!

— А отсюда кто взял?

— И не знаю вовсе.

— Побожись.

— Ей-богу! Вот чтоб мне провалиться сей же секунд, ежели брал.

Но потому ли, что Жиган не провалился «сей же секунд», или потому, что отрицал обвинение с необыкновенной горячностью, только Димка решил, что в виде исключения на этот раз Жиган не врет.

И, глазами скользнув по соломе, Димка позвал Шмеля, протягивая руку к хворостине:

— Шмель, а ну поди сюда!

Но Шмель не любил, когда с ним так разговаривали. И, бросив теребить жгут, опустив хвост, он сразу же направился в сторону.

— Он сожрал,— с негодованием подтвердил Жиган.— И кусок-то какой жи-ирный!

Перепрятали все повыше, заложили доской и привалили кирпич.

Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни.

— В лесу ночевать возле костра... хорошо!

— Темно ночью только,— с сожалением заметил Жиган.

— А что темно? У нас ружья будут, мы и сами...

— Вот если поубивают...— начал опять Жиган и добавил серьезно: — Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали.

— Я тоже,— сознался Димка.— А то что, в яме-то... вон как эти.— И он кивнул головой туда, где по-

кривившийся крест чуть-чуть вырисовывался из-за густых сумерек.

При этом напоминании Жиган съежился и почувствовал, что в вечернем воздухе стало как бы прохладнее.

Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно:

— Да, брат... А у нас была один раз штука...

И оборвался, потому что Шмель, улегшийся под боком Димки, поднял голову, насторожил уши и заворчал предостерегающе и сердито.

— Ты что? Что ты, Шмелик? — с тревогой спросил его Димка и погладил по голове.

Шмель замолчал и снова положил голову между лап.

— Крысу чует,— шепотом проговорил Жиган и, притворно зевнув, добавил: — Домой надо идти, Димка.

— Сейчас. А какая у вас была штука?

Но Жигану стало уже не до штуки, и, кроме того, то, что он собирался соврать, вылетело у него из головы.

— Пойдем,— согласился Димка, обрадовавшись, что Жиган не вздумал продолжать рассказ.

Встали.

Шмель поднялся тоже, но не пошел сразу, а остановился возле соломы и заворчал тревожно снова, как будто дразнил его кто из темноты.

— Крыс чует! — повторил теперь Димка.

— Крыс? — упавшим голосом ответил Жиган.— А только почему же это он раньше их не чуял? — И добавил негромко: — Холодно что-то. Давай побежим, Димка!.. А большевик тот, что убег, где-либо подле деревни недалеко.

— Откуда ты знаешь?

— Так, думаю! Посылала меня сейчас Онуфриха к Горпине, чтобы взять взаймы полчашки соли. А у нее в тот день рубаха с плетня пропала. Я пришел, слышу из сенец ругается кто-то: «И бросил, говорит, какой-то рубаху под жерди. Мы ж с Егорихой смотрим: она порвана, и кабы немного, а то вся как есть». А дед Захарий слушал-слушал, да и говорит: «О, Горпина...»

Тут Жиган многозначительно остановился, посматривая на Димку, и, только когда тот нетерпеливо занукал, начал снова:

— А дед Захарий и говорит: «О, Горпина, ты спрячь лучше язык подальше». Тут я вошел в хату. Гляжу, а на лавке рубашка лежит, порванная и вся в крови. И как увидала меня, села на нее Горпина сей же секунд и велит: «Подай ему, старый, с полчашки», а сама не поднимается. А мне что, я и так видел. Так вот, думаю, это большевика пулей подшибло.

Помолчали, обдумывая неожиданно подслушанную новость.

У одного глаза прищурились, уставившись неподвижно и серьезно. У другого забегали и заблестели.

И сказал Димка:

— Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали красных у нас возле деревни, и всё поодиночке.

На завтра утром был назначен побег. Весь день Димка был сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост Шмелю и чуть не вышиб кринку кислого молока из рук входившей бабки, за что и получил здоровую оплеуху от Головня.

А время шло. Час за часом прошел полдень, обед, наступил вечер.

Спрятались в огороде, за бузиной, у плетня, и стали выжидать.

Засели они рановато, и долго еще через двор проходили люди. Наконец пришел Головень, позвала Топа мать. И прокричала с крыльца:

— Димка! Диму-ушка! Где ты делся?

«Ужинать!» — решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла.

Подождали. Крадучись вышли. Возле стенки чулана остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упершись руками в колени. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко.

— Скорей, ты! У меня спина не каменная.

— Темно очень,— шепотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и спрыгнул.— Есть!

— Жиган,— спросил Димка,— а колбасу где ты взял?

— Там висела ря-адышком. Бежим скорей!

Проворно юркнули в сторону, но за плетнем вспомнили, что забыли палку с крюком у стенки. Димка — назад. Схватил и вдруг увидел, что в дыру плетня просунул голову и любопытно смотрит на него Топ.

Димка, с палкой и с колбасой, так растерялся, что опомнился только тогда, когда Топ спросил его:

— Ты зачем койбасу стащил?

— Это не стащил, Топ. Это надо,— поспешно ответил Димка.— Воробушков кормить. Ты любишь, Топ, воробушков? Чирик-чирик!.. Чирик-чирик!.. Ты не говори только. Не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам хо-ро-оший!

— Воробушков? — серьезно спросил Топ.

— Да-да! Вот ей-богу!.. У них нет... Бе-едные!

— И гвоздь дашь?

— И гвоздь дам... Ты не скажешь, Топ? А то не дам гвоздя и с Шмелькой играть не дам.

И, получив обещание молчать (но про себя усомнившись в этом сильно), Димка помчался к нетерпеливо ожидавшему Жигану.

Сумерки наступали торопливо, и, когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, было уже темно.

— Прячь скорей!

— Давай! — И Жиган полез в щель, под крышу.— Димка, тут темно,— тревожно ответил он.— Я не найду ничего...

— А, дурной, врешь ты, что не найдешь! Испугался уж!

Полез сам. В потемках нащупал руку Жигана и почувствовал, что она дрожит.

— Ты чего? — спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться и ему.

— Там...— И Жиган крепче ухватился за Димку.

И Димка ясно услыхал доносившийся из темной глубины сарая тяжелый, сдавленный стон.

В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь.

3

В эту ночь долго не мог заснуть Димка. Понемногу в голове у него начали складываться кое-какие предположения: «Крысы... Кто съел мясо?.. Рубашка... стон... А что, если?..»

Он долго ворочался и никак не мог отделаться от одной навязчиво повторявшейся мысли.

Утром он был уже у сараев. Отвалил солому и забрался в дыру. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь многочисленные щели, прорезали полутьму пустого сарая. Передние подпорки там, где должны были быть ворота, обвалились, и крыша осела, наглухо завалив вход. «Где-то тут»,— подумал Димка и пополз. Завернул за груду рассыпавшихся необожженных кирпичей и остановился испугавшись. В углу, на соломе, вниз лицом лежал человек. Заслышав шорох, он чуть поднял голову и протянул руку к валявшемуся нагану. Но потому ли, что изменили ему силы, или еще почему-либо, только, всмотревшись воспаленными, мутными глазами, разжал он пальцы, опустил револьвер и, приподнявшись, проговорил хрипло, с трудом ворочая языком:

— Пить!

Димка сделал шаг вперед. Блеснула звездочка с белым венком, и Димка едва не крикнул от удивления, узнав в раненом незнакомца, когда-то вырвавшего его из рук Головня.

Пропали все страхи, все сомнения, осталось только чувство жалости к человеку, так горячо заступившемуся за него.

Схватив котелок, Димка помчался за водой на речку. Возвращаясь бегом, он едва не столкнулся с Марьиным Федькой, помогавшим матери тащить мокрое белье. Димка поспешно шмыгнул в кусты и видел оттуда, как Федька замедлил шаг, с любопытством поворачивая голову в его сторону. И если бы мать, заметившая, как сразу потяжелела корзина, не крикнула сердито: «Да неси ж, дьяволенок, чего ты завихлялся», то Федька, конечно, не утерпел бы проверить, кто это спрятался столь поспешно в кустах.

Вернувшись, Димка увидел, что незнакомец лежит, закрыв глаза, и шевелит слегка губами, точно разговаривая с кем-то во сне. Димка тронул его за плечо, и, когда тот, открыв глаза, увидел перед собой мальчугана, что-то вроде слабой улыбки обозначилось на его пересохших губах. Напившись, уже ясней и внятней незнакомец спросил:

— Красные далеко?

— Далеко. И не слыхать вовсе.

— А в городе?

— Петлюровцы, кажись...

Поник головой раненый и спросил у Димки:

— Мальчик, ты никому не скажешь?

И было в этой фразе столько тревоги, что вспыхнул Димка и принялся уверять, что не скажет.

— Жигану разве!

— Это с которым вы бежать собирались?

— Да,— смутившись, ответил Димка.— Вот и он, кажется.

Засвистел соловей раскатистыми трелями. Это Жиган разыскивал и дивился, куда это пропал его товарищ.

Высунувшись из дыры, но не желая кричать, Димка запустил в него легонько камешком.

— Ты чего? — спросил Жиган.

— Тише! Лезь сюда... Надо.

— Так ты позвал бы, а то на-ко... Камнем! Ты б еще кирпичом запустил.

Спустились оба в дыру. Увидев перед собой незнакомца и темный револьвер на соломе, Жиган остановился оробев.

Незнакомец открыл глаза и спросил просто:

— Ну что, мальчуганы?

— Это вот Жиган! — И Димка тихонько подтолкнул его вперед.

Незнакомец ничего не ответил и только чуть наклонил голову.

Из своих запасов Димка притащил ломоть хлеба и вчерашнюю колбасу.

Раненый был голоден, но сначала ел мало, больше тянул воду.

Жиган и Димка сидели почти все время молча.

Пуля зеленых ранила человека в ногу; кроме того, три дня у него не было ни глотка воды во рту, и измучился он сильно.

Закусив, он почувствовал себя лучше, глаза его заблестели.

— Мальчуганы! — сказал он уже совсем ясно. И по голосу только теперь Димка еще раз узнал в нем незнакомца, крикнувшего Головню: «Не сметь!» — Вы славные ребятишки... Я часто слушал, как вы разговаривали... Но если вы проболтаетесь, то меня убьют...

— Не должны бы! — неуверенно вставил Жиган.

— Как не должны бы? — разозлился Димка.— Ты говори: нет, да и все... Да вы его не слушайте,— чуть ли не со слезами обратился он к незнакомцу.— Ей-богу, не скажем! Вот провалиться мне, все обещаю... Вздую...

Но Жиган сообразил и сам, что сболтнул он что-то несуразное, и ответил извиняющимся тоном:

— Да я, Дим, и сам... что не должны, значит, ни в коем случае.

И Димка увидел, как незнакомец улыбнулся еще раз.



Раненый был голоден, но сначала ел мало, больше тянул воду.

...За обедом Топ сидел-сидел да и выпалил:

— Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты койбасу воробушкам таскал.

Димка едва не подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой. К счастью, Головня не было, мать доставала похлебку из печки, а бабка была туговата на ухо.

И Димка проговорил шепотом, подталкивая Топа ногой:

— Дай пообедаю, у меня уже припасен.

«Чтоб тебе неладно было! — думал он, вставая из-за стола.— Потянуло же за язык».

После некоторых поисков выдернул он в сарае из стены здоровенный железный гвоздь и отнес Топу.

— Большой больно, Димка! — ответил Топ, удивленно поглядывая на толстый и неуклюжий гвоздь.

— Что большой? Вот оно и хорошо, Топ. А чего маленький: заколотишь сразу — и все. А тут долго сидеть можно: тук, тук!.. Хороший гвоздь!

Вечером Жиган нашел у Онуфрихи кусок чистого холста для повязки. А Димка, захватив из своих запасов кусок сала побольше, решился раздобыть йоду.

Отец Перламутрий, в одном подряснике и без сапог, лежал на кушетке и с огорчением думал о пришедших в упадок делах из-за церкви, сгоревшей от снаряда еще в прошлом году. Но, полежав немного, он вспомнил о скором приближении храмового праздника и неотделимых от него благодаяниях. И образы поросятины, кружков масла и стройных сметанных кринок дали, по-видимому, другое направление его мыслям,

потому что отец Перламутрий откашлялся солидно и подумал о чем-то улыбаясь.

Вошел Димка и, спрятав кусок сала за спину, проговорил негромко:

— Здравствуйте, батюшка.

Отец Перламутрий вздохнул, перевел взгляд на Димку и спросил, не поднимаясь:

— Ты что, чадо, ко мне или к попадье?

— К ней, батюшка.

— Гм... А поелику она в отлучке, я пока за нее.

— Мамка прислала. Повредилась немного, так поди, говорит, не даст ли попадья малость йоду. И пузырек вот прислала махонький...

— Пузырек... Гм...— с сомнением кашлянул отец Перламутрий.— Пузырек что!.. А что ты, хлопец, руки назади держишь?

— Сала тут кусок. Говорила мать, если нальет, отдай в благодарность...

— Если нальет?

— Ей-богу, так и сказала.

— О-хо-хо,— проговорил отец Перламутрий поднимаясь.— Нет, чтобы просто прислать, а вот: «если нальет»... — И он покачал головой.— Ну, давай, что ли, сало... Старое!

— Так нового еще ж не кололи, батюшка.

— Знаю и сам, да можно бы пожирнее, хоть и старое. Пузырек где? Что это мать тебе целую четверть не дала? Разве ж возможно полный?

— Да в нем, батюшка, два наперстка всего. Куда же меньше?

Батюшка постоял немного раздумывая.

— Ты скажи-ка, пусть лучше мать сама придет. Я прямо сам ей и смажу. А наливать... к чему же?

Но Димка отчаянно замотал головой.

— Гм... Что ты головой мотаешь?

— Да вы, батюшка, наливайте,— поспешно заговорил Димка,— а то мамка наказывала: «Как если не будут давать, бери, Димка, сало и тащи назад».

— А ты скажи ей: «Дарствующий да не печется о даре своем, ибо будет пред лицом всевышнего дар сей всуе». Запомнишь?

— Запомню!.. А вы все-таки наливайте, батюшка.

Отец Перламутрий надел на босу ногу туфли — причем Димка подивился их необычайным размерам — и, прихватив сало, ушел с пузырьком в другую комнату.

— Нá вот,— проговорил он выходя.— Только от доброты своей...— И спросил, подумав: — А у вас куры несутся, хлопец?

— От доброты! — разозлился Димка.— Меньше половины...— И на повторный вопрос, выходя из двери, ответил серьезно: — У нас, батюшка, кур нету, одни петухи только.

Между тем о красных не было слуху, и мальчуганам приходилось быть начеку.

И все же часто они пробирались к сараям и подолгу проводили время возле незнакомца.

Он охотно болтал с ними, рассказывал и шутил даже. Только иногда, особенно когда заходила речь о фронтах, глубокая складка залегала возле бровей, он замолкал и долго думал о чем-то.

— Ну что, мальчуганы, не слыхать, как там?

«Там» — это на фронте. Но слухи в деревне ходили смутные, разноречивые.

И хмурился и нервничал тогда незнакомец. И видно было, что больше, чем ежеминутная опасность,

больше, чем страх за свою участь, тяготили его незнание, бездействие и неопределенность.

Привязались к нему оба мальчугана. Особенно Димка. Как-то раз, оставив дома плачущую мать, пришел он к сараям печальный, мрачный.

— Головень бьет...— пояснил он.— Из-за меня мамку гонит, Топа тоже... Уехать бы к батьке в Питер... Но никак.

— Почему никак?

— Не проедешь: пропуски разные. Да билеты, где их выхлопочешь. А без них нельзя.

Подумал незнакомец и сказал:

— Если бы были красные, я бы тебе достал пропуск, Димка.

— Ты?! — удивился тот. И после некоторого колебания спросил то, что давно его занимало: — А ты кто? Я знаю: ты пулеметный начальник, потому тот раз возле тебя солдат был с «льюисом».

Засмеялся незнакомец и кивнул головой так, что можно было понять — и да и нет.

И с тех пор Димка еще больше захотел, чтобы скорее пришли красные.

А неприятностей у него набиралось все больше и больше. Безжалостный Топ уже пятый раз требовал по гвоздю и, несмотря на то что получал их, все-таки проболтался матери. Затем в кармане штанов мать разыскала остатки махорки, которую Димка таскал для раненого. Но самое худшее надвинулось только сегодня. По случаю праздника за доброхотными даяниями завернул в хату отец Перламутрий. Между разговорами он вставил, обращаясь к матери:

— А сало все-таки старое, так ты бы с десяточек яиц за лекарство дополнительно...

— За какое еще лекарство?

Димка заерзал беспокойно на стуле и съежился под устремленными на него взглядами.

— Я, мама... собачке, Шмелику...— неуверенно ответил он. — У него ссадина была здоровая...

Все замолчали, потому что Головень, двинувшись на скамейке, сказал:

— Сегодня я твоего пса пристрелю.— И потом добавил, поглядывая как-то странно: — А к тому же ты врешь, кажется.— И не сказал больше ничего, не избил даже.

— Возможно ли! Для всякой твари сей драгоценный медикамент? — с негодованием вставил отец Перламутрий.— А поелику солгал, повинен дважды: на земли и на небеси.— При этом он поднял многозначительно большой палец, перевел взгляд с земляного пола на потолок и, убедившись в том, что слова его произвели должное впечатление, добавил, обращаясь к матери: — Так я, значит, на десяточек располагаю.

Вечером, выходя из дома, Димка обернулся и заметил, что у плетня стоит Головень и провожает его внимательным взглядом.

Он нарочно свернул к речке.

— Димка, а говорят про нашего-то на деревне,— огорошил его при встрече Жиган.— Тут, мол, он недалеко где-либо. Потому рубашка... а к тому же Семка старостин возле Горпининого забора книжку нашел, тоже кровяная. Я сам один листочек видел. Белый, а в углу буквы «Р.В.С.» и дальше палочки вроде как на часах.

Димке даже в голову шибануло.

— Жиган,— шепотом сказал он, хотя кругом ни-

кого не было,— надо, тово... ты не ходи туда прямо... лучше вокруг бегай. Как бы не заметили.

Предупредили незнакомца.

— Что же,— сказал он,— будьте только осторожней, ребята. А если не поможет, ничего тогда не поделаешь... Не хотелось бы, правда, так нелепо пропадать...

— А если лепо?

— Нет такого слова, Димка. А если не задаром, тогда можно.

— И песня такая есть,— вставил Жиган.— Кабы не теперь, я спел бы,— хорошая песня. Повели коммуниста, а он им объясняет у стенки... Мы знаем, говорит, по какой причине боремся, знаем, за что и умираем... Только ежели словами рассказывать, не выходит. А вот когда солдаты на фронт уезжали, ну и пели... Уж на что железнодорожные, и те рты раскрыли, так тебя и забирает.

Домой возвращались поодиночке. Димка ушел раньше; он добросовестно направился к реке, а оттуда домой.

Между тем Жиган со свойственной ему беспечностью захватил у незнакомца флягу, чтобы набрать воды, забыл об уговорах и пошел ближайшим путем — через огороды. Замечтавшись, он засвистел и оборвал сразу, когда услышал, как что-то хрустнуло возле кустов.

— Стой, дьявол! — крикнул кто-то.— Стой, собака!

Он испуганно шарахнулся, бросился в сторону, взметнулся на какой-то плетень и почувствовал, как кто-то крепко ухватил его за штанину. С отчаянным усилием он лягнул ногой, по-видимому попав кому-то в лицо. И, перевалившись через плетень на грядки с капустой, выпустив флягу из рук, он кинулся в темноту...

...Димка вернулся, ничего не подозревая, и сразу же завалился спать. Не прошло и двадцати минут, как в хату с ругательствами ввалился Головень и сразу же закричал на мать:

— Пусть лучше твой дьяволенок и не ворочается вовсе... Ногой меня по лицу съездил... Убью...

— Когда съездил? — со страхом спросила мать.

— Когда? Сейчас только.

— Да он спит давно.

— А, черт! Прибег, значит, только что. Каблуком по лицу стукнул, а она — спит! — И он распахнул дверь, направляясь к Димке.

— Что ты! Что ты! — испуганно заговорила мать.— Каким каблуком? Да у него с весны и обувки нет никакой. Он же босый! Кто ему покупал?.. Ты спятил, что ли?

Но, по-видимому, Головень тоже сообразил, что нету у Димки ботинок. Он остановился, выругался и вошел в избу.

— Гм...— промычал он, усаживаясь на лавку и бросая на стол флягу.— Ошибка вышла... Но кто же и где его скрывает? И рубашка, и листки, и фляга...— Потом помолчал и добавил: — А собаку-то вашу я убил все-таки.

— Как убил? — переспросила мать.

— Так. Бабахнул в башку, да и все тут.

Димка, уткнувшись лицом в полушубок, зарывшись глубоко в поддевку, дергался всем телом и плакал беззвучно, но горько-горько. Когда утихло все, ушел на сеновал Головень, подошла к Димке мать и, заметив, что он всхлипывает, сказала, успокаивая:

— Ну будет, Димушка! Стоит об собаке...

Но при этом напоминании перед глазами Димки

еще яснее и ярче встал образ ласкового, помахивающего хвостом Шмеля, и еще с большей силой он затрясся и еще крепче втиснул голову в намокшую от слез овчину...

— Эх, ты! — проговорил Димка и не сказал больше ничего.

Но почувствовал Жиган в словах его такую горечь, такую обиду, что смутился окончательно.

— Разве ж я знал, Димка?

— «Знал»! А что я говорил?.. Долго ли было кругом обежать? А теперь что? Вот Головень седло налаживает, ехать куда-то хочет. А куда? Не иначе, как к Левке или еще к кому — даешь, мол, обыск!

Незнакомец тоже посмотрел на Жигана. Был в его взгляде только легкий укор, и сказал он мягко:

— Хорошие вы, ребята...— И даже не рассердился, как будто не о нем и речь шла.

Жиган стоял молча, глаза его не бегали, как всегда, по сторонам, ему не в чем было оправдываться, да и не хотелось. И он ответил хмуро и не на вопрос:

— А красные в городе. Нищий Авдей пришел. Много, говорит, и все больше на конях.— Потом он поднял глаза и сказал все тем же виноватым и негромким голосом: — Я попробовал бы... Может, проберусь как-нибудь... успею еще.

Удивился Димка. Удивился незнакомец, заметив серьезно остановившиеся на нем большие темные глаза мальчугана. И больше всего удивился откуда-то внезапно набравшейся решимости сам Жиган.

Так и решили. Торопливо вырвал незнакомец листок из книжки. И пока он писал, увидел Димка в ле-

вом углу те же три загадочные буквы «Р.В.С.» и потом палочки, как на часах.

— Вот,— проговорил тот, подавая,— возьми, Жиган... ставлю аллюр два креста. С этим значком каждый солдат — хоть ночью, хоть когда — сразу же отдаст начальнику. Да не попадись смотри.

— Ты не подкачай,— добавил Димка.— А то не берись вовсе... Дай я.

Но у Жигана снова заблестели глаза, и он ответил с ноткой вернувшегося бахвальства:

— Знаю сам... Что мне, впервой, что ли?

И, выскочив из щели, он огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, пустился краем наперерез дороге.

Солнце стояло еще высоко над никольским лесом, когда выбежал на дорогу Жиган и когда мимо Жигана по той же дороге рысью промчался куда-то Головень.

Недалеко от опушки Жиган догнал подводы, нагруженные мукою и салом. На телегах сидело пять человек с винтовками. Подводы двигались потихоньку, а Жигану надо было торопиться, поэтому он свернул в кусты и пошел дальше не по дороге, а краем леса.

Попадались полянки, заросшие высокими желтыми цветами. В тени начинала жужжать мошкара. Проглядывали ягоды дикой малины. На ходу он оборвал одну, другую, но не остановился ни на минуту.

«Верст пять отмахал! — подумал он.— Хорошо бы дальше так же без задержки».

Замедляли ходьбу сучья, и он вышел на дорогу.

Завернул за поворот и зажмурился. Прямо навстречу брызгали густые красноватые лучи заходящего солнца. С верхушки высокого клена по-вечернему звон-

ко пересвистнула какая-то пташка, и что-то затрепыхалось в листве кустов.

— Эй! — услышал он негромкий окрик.

Обернулся и не увидел никого.

— Эй, хлопец, поди сюда!

И он разглядел за небольшим стогом сена у края дороги двух человек с винтовками, кого-то поджидавших. В стороне у деревьев стояли их кони.

Подошел.

— Откуда ты идешь?.. Куда?

— Оттуда...— И он, махнув рукой, запнулся, придумывая дальше.— С хутора я. Корова убегла... Может, повстречали где? Рыжая, и рог у ей один спилен. Ей-богу, как провалилась, а без ее — хоть не ворочайся.

— Не видели... Телка тут бродила какая-то, так ту наши еще в утро сожрали... А тебе не попались подводы какие?

— Едут какие-то... должно, рядом уже.

Последнее сообщение крайне заинтересовало спрашивающих, потому что они поспешно направились к коням.

— Забирайся! — крикнул один, подводя лошадей.— Сядешь ко мне за спину.

— Мне домой надо, у меня корова...— жалобно завопил Жиган.— Куда я поеду?..

— Забирайся, куда говорят. Тут недалеко отпустим. А то ты еще сболтнешь подводчикам.

Тщетно уверял Жиган, что у него корова, что ему домой и что он ни слова не скажет подводчикам,— ничто не помогало. И совершенно неожиданно для себя он очутился за спиной у одного из зеленых. Поехали рысью. В другое время это доставило бы ему очень

большое удовольствие, но сейчас совсем нет, особенно когда он понял из нескольких брошенных слов, что едут они к отряду Левки, дожидающемуся чего-то в лесу. «А ну как Головень там,— мелькнула вдруг мысль,— да узнает сейчас, что тогда?» И, почти не раздумывая, под впечатлением обуявшего его ужаса, он слетел кубарем с лошади и бросился с дороги.

— Куда, дьяволенок? — круто остановил лошадь и вскинул винтовку один.

Может быть, и не успел бы добежать до деревьев Жиган, если бы другой не схватил за руку товарища и не крикнул сердито:

— Стой!.. Не стреляй: все дело испортишь.

Не вбежал, а врезался в гущу леса Жиган. Напролом через чащу, через кусты, глубже и глубже. И только когда очутился посреди сплошной заросли осинника и сообразил, что никак не смогут проникнуть сюда конные, остановился перевести дух.

«Левка! — подумал он.— Не иначе, как к нему Головень.— И сразу же сжалось сердце.— Хоть бы не поспели до темноты: ночью все равно не найдут, а утром, может, красные...»

На дороге грохнул выстрел, другой... и пошло.

«С обозниками,— догадался он.— Скорей надо, а тут на-ко: без пути».

Но лес поредел вскоре, и под ногами у него снова очутилась дорога. Жиган вздохнул и бегом пустился дальше. Не прошло и двадцати минут, как рысью прямо навстречу ему вылетел торопившийся куда-то отряд. Не успел он опомниться, как оказался окруженным всадниками. Повел испуганными глазами. И чуть не упал со страху, увидав среди них Головня. Но то ли потому, что тот всего раз или два встречал Жигана,

потому ли, что не ожидал наткнуться здесь на мальчугана, или, наконец, может быть потому, что принялся подтягивать подпругу у плохонького, наспех наложенного седла, только Головень не обратил на него никакого внимания.

— Хлопец,— спросил его один, грузный и с большими седоватыми усами,— тебя куда дьявол несет?

— С хутора...— начал Жиган.— Корова у меня... черная, и пятна на ей...

— Врешь! Тут и хутора никакого нет.

Испугался Жиган еще больше и ответил, запинаясь:

— Да не тут... А как стрелять начали, испугался я и убежал...

— Слышали? — перебил первый.— Я ж говорил, что где-то стреляют.

— Ей-богу, стреляли,— заговорил быстро, начиная о чем-то догадываться, Жиган,— на Никольской дороге. Там Козолупу мужики продукт везли. А Левкины ребята на них напали.

— Как напали?! — гневно заорал тот.— Как они смели!

— Ей-богу, напали... Сам слышал: чтоб, говорят, сдохнуть Козолупу... Жирно с него... и так обжирается, старый черт...

— Слышали?! — заревел зеленый.— Это я обжираюсь?

— Обжирается,— подтвердил Жиган, у которого язык заработал, как мельница.— Если, говорят, сунется он, мы напомним ему... Мне что? Это все ихние разговоры.

Жиган готов был выпалить еще не один десяток обидных для достоинства Козолупа слов, но тот и

так был взбешен до крайности и потому рявкнул грозно:

— По ко́ням!

— А с ним что? — спросил кто-то, указывая на Жигана.

— А всыпь ему раз плетью, чтобы не мог впредь такие слова слушать.

Ускакал отряд в одну сторону, а Жиган, получив ни за что ни про что по спине, помчался в другую, радуясь, что еще так легко отделался.

«Сейчас схватятся,— подумал он на бегу.— А пока разберутся, глядишь — и ночь уже».

Миновали сумерки. Высыпали звезды, спустилась ночь. А Жиган то бежал, то шел, тяжело дыша, то изредка останавливался — перевести дух. Один раз, заслышав мерное бульканье, отыскал в темноте ручей и хлебнул, разгоряченный, несколько глотков холодной воды. Один раз шарахнулся испуганно, наткнувшись на сиротливо покривившийся придорожный крест. И понемногу отчаяние начало овладевать им. Бежишь, бежишь, и все конца нету. Может, и сбился давно. Хоть бы спросить у кого.

Но не у кого было спрашивать. Не попадались на пути ни крестьяне на ленивых волах, ни косари, приютившиеся возле костра, ни ребята с конями, ни запоздалые прохожие из города. Пуста и молчалива была темная дорога. И только соловей вовсю насвистывал, только он один не боялся и смеялся звонко над ночными страхами притихшей земли.

И вот, в то время, когда Жиган совсем потерял всякую надежду выйти хоть куда-либо, дорога разошлась на две. «Еще новое! Теперь-то по какой?» И он остановился. Го-го...— донеслось до его слуха негромкое

гоготанье. «Гуси!» — чуть не вскрикнул он. И только сейчас разглядел почти что перед собою, за кустами, небольшой хутор.

Завыла отчаянно собака, точно к дому подходил не мальчуган, а медведь. Захрюкали потревоженные свиньи, и Жиган застучал в дверь:

— Эй! Эй! Отворите!

Сначала молчанье. Потом в хате послышался кашель, возня, и бабий голос проговорил негромко:

— Господи, кого ж еще-то несет?

— Отворите! — повторял Жиган.

Но не такое было время, чтобы в полночь отворять всякому. И чей-то хриплый бас вопросил спросонок:

— Кто там?

— Откройте! Это я, Жиган.

— Какой еще, к черту, жиган? Вот я тебе из берданки пальну через дверь!

Жиган откатился сразу в сторону и, сообразив свою оплошность, завопил:

— Не жиган! Не жиган... Это прозвище такое. Васькой зовут... Я ж еще малый... А мне дорогу б спросить, какая в город.

— Что с краю, та в город, а другая в Поддубовку.

— Так они ж обе с краю!.. Разве через дверь поймешь!

Очевидно раздумывая, помолчали немного за дверью.

— Так иди к окошку, оттуда покажу. А пустить... не-ет! Мало что маленький. Может, за тобою здоровый битюг сидит.

Окошко открылось, и дорогу Жигану показали.

— Тут недалече, с версту всего... Сразу за опушкой.

— Только-то! — И, окрыленный надеждой, Жиган снова пустился бегом.

...На кривых уличках его сразу же остановил патруль и показал штаб. Сонный красноармеец ответил нехотя:

— Какую еще записку! Приходи утром.— Но, заметив крестики спешного аллюра, бумажку взял и позвал: — Эй, там!.. Где дежурный?

Дежурный посмотрел на Жигана, развернул записку и, заметив в левом углу все те же три загадочные буквы «Р.В.С.», сразу же подвинул огонь. И только прочитал — к телефону: «Командира!.. Комиссара!», а сам торопливо заходил по комнате.

Вошли двое.

— Не может быть! — удивленно крикнул один.

— Он!.. Конечно, он! — радостно перебил другой.— Его подпись, его бланк. Кто привез?

И только сейчас взоры всех обратились на притихшего в углу Жигана.

— Какой он?

— Черный... в сапогах... и звезда у его прилеплена, а из нее красный флажок.

— Ну да, да, орден!

— Только скорей бы,— добавил Жиган,— светать скоро будет... А тогда бандиты... убьют, коли найдут.

И что тут поднялось только! Забегали все, зазвонили телефоны, затопали кони. И среди всей этой суматохи разобрал утомленный Жиган несколько раз повторявшиеся слова: «Конечно, армия!.. Он!.. Реввоенсовет!»

Затрубила быстро-быстро труба, и от лошадиного топота задрожали стекла.

— Где? — Порывисто распахнув дверь, вошел вооруженный маузером и шашкой командир.— Это ты, мальчуган?.. Васильченко, с собой его, на коня...

Не успел Жиган опомниться, как кто-то сильными руками поднял его с земли и усадил на лошадь. И снова заиграла труба.

— Скорей! — повелительно крикнул кто-то с крыльца.— Вы должны успеть!

— Даешь! — ответили эхом десятки голосов.

Потом:

— А-арш!

И, сразу сорвавшись с места, врезался в темноту конный отряд.

А незнакомец и Димка с тревогой ожидали и чутко прислушивались к тому, что делается вокруг.

— Уходи лучше домой,— несколько раз предлагал незнакомец Димке.

Но на того словно упрямство какое нашло.

— Нет,— мотал он головой,— не пойду.

Выбрался из щели, разворошил солому, забросал ею входное отверстие и протискался обратно.

Сидели молча, было не до разговоров. Один раз только проговорил Димка, и то нерешительно:

— Я мамке сказал: может, говорю, к батьке скоро поедем; так она чуть не поперхнулась, а потом давай ругать: «Что ты языком только напрасно треплешь!»

— Поедешь, поедешь, Димка. Только бы...

Но Димка сам чувствует, какое большое и страшное это «только бы», и потому он притих у соломы, о чем-то раздумывая.

Наступал вечер. В сарае резче и резче прогляды-

вала темная пустота осевших углов. И расплывались в ней незаметно остатки пробирающегося сквозь щели света.

— Слушай!

Димка задрожал даже.

— Слышу!

И незнакомец крепко сжал его плечо.

— Но кто это?

За деревней, в поле, захлопали выстрелы, частые, беспорядочные. И ветер донес их сюда беззвучными хлопками игрушечных пушек.

— Может, красные?

— Нет, нет, Димка! Красным рано еще.

Все смолкло. Прошел еще час. И топот и крики, наполнившие деревеньку, донесли до сараев тревожную весть о том, что кто-то уже здесь, рядом.

Голоса то приближались, то удалялись, но вот послышались близко-близко.

— И по погребам? И по клуням? — спросил чей-то резкий голос.

— Везде,— ответил другой.— Только сдается мне, что скорей здесь где-нибудь.

«Головень!» — узнал Димка, а незнакомец протянул руку, и чуть заблестел в темноте холодновато-спокойный наган.

— Темно, пес их возьми! Проканителились из-за Левки сколько!

— Темно! — повторил кто-то.— Тут и шею себе сломишь. Я полез было в один сарай, а на меня доски сверху... чуть не в башку.

— А место такое подходящее. Не оставить ли вокруг с пяток ребят до рассвета?

— Оставить.

Чуть-чуть отлегло. Пробудилась надежда. Сквозь одну из щелей видно было, как вспыхнул недалеко костер. Почти что к самой заваленной двери подошла лошадь и нехотя пожевала клок соломы.

Рассвет не приходил долго... Задрожала наконец зарница, помутнели звезды.

Скоро и обыск. Не успел или не пробрался вовсе Жиган.

— Димка,— шепотом проговорил незнакомец,— скоро будут искать. В той стороне, где обвалились ворота, есть небольшое отверстие возле земли. Ты маленький и пролезешь... Ползи туда.

— А ты?

— А я тут... Под кирпичами, ты знаешь где, я спрятал сумку, печать и записку про тебя. Отдай красным, когда бы ни пришли. Ну, уползай скорей! — И незнакомец крепко, как большому, пожал ему руку и оттолкнул тихонько от себя.

А у Димки слезы подступили к горлу. И было ему страшно, и было ему жалко оставлять одного незнакомца. И, закусив губу, глотая слезы, он пополз, спотыкаясь о разбросанные остатки кирпичей.

Тара-та-тах! — прорезало вдруг воздух.— Тара-та-тах! Ба-бах!.. Тиу-у, тиу-у...— взвизгнуло над сараями.

И крики, и топот, и зазвеневшее эхо от разряженных обойм «льюисов» — все это так внезапно врезалось, разбило предрассветную тишину и вместе с ней и долгое ожидание, что не запомнил и сам Димка, как очутился он опять возле незнакомца. И, не будучи более в силах сдерживаться, заплакал громко-громко.

— Чего ты, глупый? — радостно спросил тот.

— Да ведь это же они...— отвечал Димка, улыбаясь, но не переставая плакать.

И еще не смолкли выстрелы за деревней, еще кричали где-то, когда затопали лошади около сараев. И знакомый задорный голос завопил:

— Сюда! Зде-есь!

Отлетели снопы в стороны. Ворвался свет в щель. И кто-то спросил тревожно и торопливо:

— Вы здесь, товарищ Сергеев?

И народу кругом сколько появилось откуда-то — и командир, и комиссар, и красноармейцы, и фельдшер с сумкой! И все гоготали и кричали что-то совсем несуразное.

— Димка,— захлебываясь от гордости, торопился рассказать Жиган,— я успел... назад на коне летел... И сейчас с зелеными тоже схватился... в самую гущу... Как рубанул одного по башке, так тот и свалился!..

— Ты врешь, Жиган... Обязательно врешь... У тебя и сабли-то нету,— ответил Димка и засмеялся сквозь не высохшие еще слезы.

Весь день было весело. Димка вертелся повсюду. И все ребятишки дивились на него и целыми ватагами ходили смотреть, где прятался беглец, так что к вечеру, как после стада коров, намята и утоптана была солома возле логова.

Должно быть, большим начальником был недавний пленник, потому что слушались его и красноармейцы и командиры.

Написал он Димке всякие бумаги и на каждую бумагу печать поставил, чтобы не было никакой задержки ни ему, ни матери, ни Топу до самого города Петрограда.



Ворвался свет в щель. И кто-то спросил тревожно и торопливо: «Вы здесь, товарищ Сергеев?»

А Жиган среди бойцов чертом ходил и песни такие заворачивал, что только ну! И хохотали над ним красноармейцы, и тоже дивились его глотке.

— Жиган! А ты теперь куда?

Остановился на минуту Жиган, как будто легкая тень пробежала по его маленькому лицу, потом головой тряхнул отчаянно:

— Я, брат, фьи-ить! Даешь по станциям, по эшелонам. Я сейчас новую песню у них переняла:

Ночь прошла в полевом лазарети;
День весенний и яркий настал.
И при солнечном, теплом рассве-ти
Маладой командир умирал...

Хоро-ошая песня! Я спел — гляжу: у старой Горпины слезы катятся. «Чего ты,— говорю,— бабка?» — «Та умирал же!» — «Э, бабка, дак ведь это в песне».— «А когда б только в песне,— говорит,— а сколько ж и взаправду». Вот в эшелонах только,— добавил он, запнувшись немного,— некоторые из товарищей не доверяют. «Катись,— говорят,— колбасой. Может, ты шантрапа или шарлыган. Украдешь чего-либо». Вот кабы и мне бумагу!

— А давайте напишем ему, в самом деле,— предложил кто-то.

— Напишем, напишем!

И написали ему, что «есть он, Жиган, не шантрапа и не шарлыган, а элемент, на факте доказавший свою революционность», а потому «оказывать ему, Жигану, содействие в пении советских песен по всем станциям, поездам и эшелонам».

И много ребят подписалось под той бумагой — целые пол-листа да еще на оборотной. Даже рябой

Пантюшкин, тот, который еще только на прошлой неделе писать научился, вычертил всю фамилию до буквы.

А потом понесли к комиссару, чтобы дал печать. Прочитал комиссар.

— Нельзя,— говорит,— на такую бумагу полковую печать.

— Как же нельзя? Что, от ней убудет, что ли? Приложите, пожалуйста. Что же, даром, что ли, старался малый?

Улыбнулся комиссар:

— Этот самый с Сергеевым?

— Он, язви его шельма.

— Ну уж в виде исключения...— И тиснул по бумаге.

Сразу же на ней РСФСР, серп и молот — документ.

И такой это вечер был, что давно не запомнили поселяне. Уж чего там говорить, что звезды, как начищенные кирпичом, блестели! Или как ветер густым настоем отцветающей гречихи пропитал все. А на улицах что делалось! Высыпали как есть все за ворота. Смеялись красноармейцы задорно, визжали дивчата звонко. А лекпом Придорожный, усевшись на митинговых бревнах перед обступившей его кучкой молодежи, наигрывал на двухрядке.

Ночь спускалась тихо-тихо; зажглись огоньки в разбросанных домиках. Ушли старики, ребятишки. Но долго еще по залитым лунным светом уличкам смеялась молодежь. И долго еще наигрывала искусно лекпомова гармоника, и спорили с ней переливчатыми посвистами соловьи из соседней прохладной рощи.

А на другой день уезжал незнакомец. Жиган и Димка провожали его до поскотины. Возле покосившейся загородки он остановился. Остановился за ним и весь отряд.

И перед всем отрядом незнакомец крепко пожал руки ребятишкам.

— Может быть, когда-нибудь я тебя увижу в Петрограде,— проговорил он, обращаясь к Димке.— А тебя...— И он запнулся немного.

— Может, где-нибудь,— неуверенно ответил Жиган.

Ветер чуть-чуть шевелил волосы на его лохматой головенке. Худенькие руки крепко держались за перекладины, а большие, глубокие глаза уставились вдаль, перед собой...

На дороге чуть заметной точкой виднелся еще отряд. Вот он взметнулся на последнюю горку возле никольского оврага... скрылся. Улеглось облачко пыли, поднятое копытами над гребнем холма. Проглянуло сквозь него поле под гречихой, и на нем — больше никого.

*1925 г.*





# ШКОЛА

## I. ШКОЛА

### *Глава первая*

ГОРОДОК наш Арзамас был тихий, весь в садах, огороженных ветхими заборами. В тех садах росло великое множество «родительской вишни», яблок-скороспелок, терновника и красных пионов. Через город, мимо садов, тянулись тихие зацветшие пруды, в которых вся хорошая рыба давным-давно передохла и водились только скользкие огольцы да поганая лягва. Под горою текла речонка Теша.

Город был похож на монастырь: стояло в нем около тридцати церквей да четыре монашеских обители. Много у нас в городе было чудотворных святых икон, но чудес в самом Арзамасе происходило почему-то мало. Вероятно, потому, что в шестидесяти километрах находилась знаменитая Саровская пустынь с преподобными угодниками и эти угодники переманивали все чудеса к тому месту.

Только и было слышно: то в Сарове слепой прозрел, то хромой заходил, то горбатый выпрямился, а возле наших икон — ничего похожего.

Пронесся однажды слух, будто бы Митьке-цыгану, бродяге и известному пьянице, ежегодно купавшемуся за бутылку водки в крещенской проруби, было видение и бросил Митька пить, раскаялся и постригается в Спассую обитель монахом.

Народ валом валил к монастырю. И точно — Митька возле клироса усердно отбивал поклоны, всенародно каялся в грехах и даже сознался, что в прошлом году спер и пропил козу у купца Бебешина. Купец Бебешин умилился и дал Митьке целковый, чтобы тот поставил свечку за спасение своей души. Многие тогда прослезились, увидев, как порочный человек возвращается с гибельного пути в лоно праведной жизни.

Так продолжалось целую неделю, но уже перед самым пострижением то ли Митьке было какое другое видение, в обратном смысле, то ли еще какая причина, а только в церковь он не явился. И среди прихожан пошел слух, что Митька валяется в овраге на Новоплотинной улице, а рядом с ним лежит опорожненная бутылка из-под водки.

На место происшествия были посланы для увещевания дьякон Пафнутий и церковный староста купец

Синюгин. Посланные скоро вернулись и с негодованием заявили, что Митька действительно бесчувствен, аки зарезанный скот; что рядом с ним уже лежит вторая опорожненная полбутылка, и когда его удалось растолкать, то он, ругаясь, заявил, что в монахи идти раздумал, потому что якобы грешен и недостоин.

Тихий и патриархальный был у нас городок. Под праздники, особенно на пасху, когда колокола всех тридцати церквей начинали трезвонить, над городом поднимался гул, хорошо слышный в деревеньках, раскинутых на двадцать километров в окружности.

Благовещенский колокол заглушал все остальные. Колокол Спасского монастыря был надтреснут и поэтому рявкал отрывисто, дребезжащим басом. Тоненькие подголоски Никольской обители звенели высокими, звонкими переливами. Этим трем запевалам вторили прочие колокольни, и даже невзрачная церковь маленькой тюрьмы, приткнувшейся к краю города, присоединялась к общему нестройному хору.

Я любил взбираться на колокольни. Позволялось это мальчикам только на пасху. Долго кружишь узенькой темной лесенкой. В каменных нишах ласково ворчат голуби. Голова немного кружится от бесчисленных поворотов. Сверху виден весь город. Под горою — Теша, старая мельница, Козий остров, перелесок, а дальше — овраги и синяя каемка городского леса.

Отец мой был солдатом 12-го Сибирского стрелкового полка. Стоял тот полк на рижском участке германского фронта.

Я учился во втором классе реального училища. Мать моя, фельдшерица, всегда была занята, и я рос сам по себе. Каждую неделю направляешься к матери с балльником для подписи. Мать бегло просмотрит

отметки, увидит двойку за рисование или чистописание и недовольно покачает головой:

— Это что же такое?

— Я, мам, тут не виноват. Ну что же я поделаю, раз у меня таланта на рисование нет? Я, мам, нарисовал ему лошадь, а он говорит, что это не лошадь, а свинья. Тогда я подаю ему в следующий раз и говорю, что это свинья, а он рассердился и говорит, что это не свинья и не лошадь, а черт знает что такое. Я, мам, в художники и не готовлюсь вовсе.

— Ну, а за чистописание почему? Дай-ка твою тетрадку... Бог ты мой, как наляпано! Почему у тебя на каждой строке клякса, а здесь между страниц таракан раздавлен? Фу, гадость какая!

— Клякса, мам, оттого, что нечаянно, а про таракана я вовсе не виноват. Ведь что это такое, на самом деле,— ко всему придираешься! Что, я нарочно таракана посадил? Сам он, дурак, заполз и удавился, а я за него отвечай! И подумаешь, какая наука — чистописание! Я в писатели вовсе не готовлюсь.

— А к чему ты готовишься? — строго спрашивает мать, подписывая балльник.— Лоботрясом быть готовишься? Почему опять инспектор пишет, что ты по пожарной лестнице залез на крышу школы? Это еще к чему? Что ты — в трубочисты готовишься?

— Нет. Ни в художники, ни в писатели, ни в трубочисты... Я буду матросом.

— Почему же матросом? — удивляется озадаченная мать.

— Обязательно матросом... Вот еще... И как ты не понимаешь, что это интересно?

Мать качает головой:

— Ишь, какой выискался. Ты чтобы у меня двоек

больше не приносил, а то не посмотрю и на матроса — выдеру.

Ой, как врет! Чтобы она меня выдрала? Никогда еще не драла. В чулан один раз заперла, а потом весь следующий день пирожками кормила и двугривенный на кино дала. Хорошо бы этак почаще!

## *Глава вторая*

Однажды, наскоро попив чаю, кое-как собрав книги, я побежал в школу. По дороге встретил Тимку Штукина — одноклассника, маленького, вертлявого человечка.

Тимка Штукин был безобидным и безответным мальчуганом. Его можно было треснуть по башке, не рискуя получить сдачи. Он охотно доедал бутерброды, остававшиеся у товарищей, бегал в соседнюю лавчонку покупать сайки к училищному завтраку и, не чувствуя за собой никакой вины, испуганно затихал при приближении классного наставника.

У Тимки была одна страсть — он любил птиц. Вся каморка его отца, сторожа кладбищенской церкви, была заставлена клетками с пичужками. Он покупал птиц, продавал их, выменивал, ловил сам силком или западнями на кладбище.

Однажды ему здорово влетело от отца, когда купец Синюгин, завернув на могилу своей бабушки, увидел на каменной плите памятника рассыпанную приманку из конопляного семени и лучок — сетку с протянутой бечевой. По жалобе Синюгина сторож надрал вихры мальчугану, а наш законоучитель, отец Геннадий, во время урока закона божьего сказал неодобрительно:

— Памятники ставятся для воспоминания об усоп-

ших, а не для каких-либо иных целей, и помещать на памятниках капканы и прочие посторонние приспособления не подобает — грешно и богохульно.

Тут же он привел несколько случаев из истории человечества, когда подобное богохульство влекло за собой тягчайшие кары небесных сил.

Надо сказать, что на примеры отец Геннадий был большой мастер. Мне кажется, что если бы он узнал, например, что на прошлой неделе я ходил без увольнительной записки в кино, то, порывшись в памяти, наверняка отыскал бы какой-нибудь исторический случай, когда совершивший подобное преступление понес еще в сей жизни заслуженное божеское наказание.

Тимка шел, насвистывая дроздом. Заметив меня, он приветливо заморгал и в то же время недоверчиво посмотрел в мою сторону, как бы пытаясь определить — подходит к нему человек запросто или с какой-нибудь каверзой.

— Тимка! А мы на урок опоздаем,— сказал я.— Ей-богу, опоздаем. На урок, может быть, еще нет, а уж на молитву — обязательно.

— Не заметят?! — сказал он испуганно и в то же время вопросительно.

— Обязательно заметят. Ну что же, без обеда оставят, только и всего,— умышленно спокойно поддразнивал я, зная, что Тимка беда как боится всяких выговоров и замечаний.

Тимка съежился и, прибавляя шаг, заговорил огорченно:

— А я-то тут при чем? Отец пошел церковь отпирать. Меня дома на минутку оставил, а сам — вон сколько. И все из-за молебна. По Вальке Спагине мать приезжала служить.

— Как по Вальке Спагине? — разинул я рот.— Что ты!.. Разве он помер?

— Да не за упокой молебен, а об отыскании.

— О каком еще отыскании? — с дрожью в голосе переспросил я.— Что ты мелешь, Тимка? Я вот тебя тресну... Я, Тимка, не был вчера в школе, у меня вчера температура...

— Пинь-пинь... тарарах... тиу...— засвистел Тимка синицей и, обрадовавшись, что я еще ничего не знаю, подпрыгнул на одной ноге.— А ведь верно, ты вчера не был. Ух, брат, а что вчера было-то, что было!..

— Да что же было-то?

— А вот что. Сидим мы вчера... Первый урок у нас французский. Ведьма глаголы на «этр» задавала. Ле верб: аллэ, арривэ, антрэ, рестэ, томбэ... Вызвала к доске Раевского. Только стал он писать «рестэ, томбэ», как вдруг отворяется дверь и входит инспектор (Тимка зажмурился), директор (Тимка посмотрел на меня многозначительно) и классный наставник. Когда мы сели, директор и говорит нам: «Господа, у нас случилось несчастье: ученик вашего класса Спагин убежал из дому. Оставил записку, что убежал на германский фронт. Я не думаю, господа, чтобы он это сделал без ведома товарищей. Многие из вас знали, конечно, об этом побеге заранее, однако не потрудились сообщить мне. Я, господа...» — и начал, и начал, полчаса говорил.

У меня сперло дыхание. Так вот оно что! Такое происшествие, такая поражающая новость, а я просидел дома, будто по болезни, и ничего не знаю. И никто — ни Яшка Цуккерштейн, ни Федька Башмаков — не зашел ко мне после уроков рассказать. Тоже товарищи!.. Когда Федьке нужны были пробки от пугача —

так он ко мне... А тут — на-ко!.. Тут половина школы на фронт убежит, а я себе, как идиот, сиди!

Я бурей ворвался в училище, на бегу сбросил шинель и, удачно увильнув от надзирателя, смешался с толпой ребят, выходивших из общего зала, где читалась молитва.

В следующие дни только и было толков что о геройском побеге Вальки Спагина.

Директор ошибался, высказывая предположение, что, вероятно, многие были посвящены в план побега Спагина. Ну положительно никто ничего не знал. Никому не могла даже прийти мысль, что Валька Спагин убежит. Такой тихоня был, ни в одной драке, ни в одном налете на чужой сад за яблоками не участвовал, штаны с него всегда сваливались, ну, словом, размазня размазней, и вдруг — такое дело!

Стали мы между собой обсуждать, допытываться друг у друга, не замечал ли кто каких-либо приготовлений. Не может же быть, чтобы человек вдруг, сразу, ни с того ни с сего вздумал, надел картуз и отправился на фронт.

Федька Башмаков вспомнил, что видел у Вальки карту железных дорог. Второгодник Дубилов сказал, что встретил недавно Вальку в магазине, где тот покупал батарейку для карманного фонаря. Больше, сколько ни допытывались, никаких поступков, указывающих на подготовку к побегу, припомнить не могли.

Настроение в классе было приподнятое. Все бегали, бесновались, на уроках отвечали невпопад, и количество оставленных без обеда возросло в эти дни вдвое против обыкновенного. Прошло еще несколько дней. И вдруг опять новость — сбежал первоклассник Митька Тупиков.

Училищное начальство всполошилось всерьез.

— Сегодня на уроке закона божьего беседа будет,— по секрету сообщил мне Федька,— насчет побегов. Я, как тетради относил в учительскую, слышал, что про это говорили.

Нашему священнику отцу Геннадию было этак лет под семьдесят. Лица его из-за бороды и бровей не было видно вовсе, был он тучен, и, для того чтобы повернуть голову назад, ему приходилось оборачиваться всем туловищем, ибо шеи у него не было заметно вовсе.

Его любили у нас. На его уроках можно было заниматься чем угодно: играть в карты, рисовать, положить перед собой на парту вместо Ветхого завета запрещенного Ната Пинкертона или Шерлока Холмса, потому что отец Геннадий был близорук.

Отец Геннадий вошел в класс, поднял руку, благословляя всех присутствующих, и тотчас же раздался рев дежурного:

— Царю небесный, утешителю, душе истины...

Отец Геннадий был глуховат и вообще требовал, чтобы молитву читали громко и отчетливо, но даже и ему показалось, что сегодня дежурный хватил через край. Он махнул рукой и сказал сердито:

— Ну, ну... Что это? Ты читай, чтобы было благозвучно, а то ровно как бык ревешь.

Отец Геннадий начал издалека. Сначала он рассказал нам притчу о блудном сыне. Этот сын, как я понял тогда, ушел от своего отца странствовать, но потом, как видно, ему пришлось туго, и он пошел на попятный.

Потом рассказал притчу о талантах: как один господин дал своим рабам деньги, которые назывались талантами, и как одни рабы занялись торговлей и по-

лучили от этого барыш, а другие спрятали деньги и ничего не получили.

— А что говорят сии притчи? — продолжал отец Геннадий.— Первая притча говорит о непослушном сыне. Сын этот покинул своего отца, долго скитался и все же вернулся домой под родительский кров. Нечего и говорить о ваших товарищах, которые и вовсе не искушены в жизненных невзгодах и оставили тайно дом свой,— нечего и говорить, что плохо придется им на их гибельном пути. И еще раз убеждаю вас: если кто знает, где они, пусть напишет им, дабы не убоялись они вернуться, пока есть время, под родительский кров. И помните, в притче, когда вернулся блудный сын, отец по доброте своей не стал попрекать его, а одел в лучшие одежды и велел зарезать упитанного тельца, как для праздника. Так и родители этих двух заблудших юношей простят им все и примут их с распростертыми объятиями.

В этих словах я несколько усомнился. Что касается первоклассника Тупикова, то как его встретили бы родные — не знаю, но что булочник Спагин по поводу возвращения сына не станет резать упитанного тельца, а просто хорошенько отстегает сына ремнем,— это уж наверняка.

— А притча о талантах,— продолжал отец Геннадий,— говорит о том, что нельзя зарывать в землю своих способностей. Вы обучаетесь здесь всевозможным наукам. Кончите школу, каждый изберет себе профессию по способностям, призванию и положению. Один из вас будет, скажем, почтенным коммерсантом, другой — доктором, третий — чиновником. Всякий будет уважать вас и думать про себя: «Да, этот достойный человек не зарыл своих талантов в землю, а умно-

жил их и сейчас по заслугам пользуется всеми благами жизни». Но что же,— тут отец Геннадий огорченно воздел руки к небу,— что же, спрашиваю вас, выйдет из этих и им подобных беглецов, кои, презрев все предоставленные им возможности, убежали из дому в поисках пагубных для тела и души приключений? Вы растете, как нежные цветы в теплой оранжерее заботливого садовника, вы не знаете ни бурь, ни треволнений и спокойно расцветаете, радуя взоры учителей и наставников. А они... даже если перенесут все невзгоды, то без ухода вырастут буйными терниями, обвеянными ветрами и обсыпанными придорожной пылью.

Когда отец Геннадий, величественный и воодушевленный, как пророк, вышел из класса и медленно поплыл в учительскую, я вздохнул, подумал и сказал:

— Федька!

— Ну?

— Ты как думаешь насчет талантов?

— Никак. А ты?

— Я?

Тут я замялся немного и добавил уже тише:

— А я, Федька, пожалуй, тоже зарыл бы таланты. Ну что — коммерсантом либо чиновником!

— Я бы тоже,— чуть поколебавшись, сознался Федька.— Какой есть интерес расти, как цветок в оранжерее? На него плюнь, он и завянет. Тернию, тому хоть все нипочем — ни дождь, ни жара.

— Федька,— сказал я,— а как же тогда батюшка говорил: «И ответите в жизни будущей». Ведь хоть и в будущей, а все одно отвечать неохота!

Федька задумался. Видно было, что он и сам не особенно ясно представляет, как избежать обещанного наказания. Он тряхнул головой и ответил уклончиво:

— Ну, так ведь это еще не скоро... А там, может быть, что-нибудь и придумается.

Первоклассник Тупиков оказался дураком. Он даже не знал, в какую сторону надо на фронт бежать: его поймали через три дня в шестидесяти километрах от Арзамаса к Нижнему Новгороду.

Говорят, что дома не знали, куда его посадить, накупили ему подарков, а мать, взяв с него торжественное слово больше не убегать, пообещала купить ему к лету ружье монтекристо. Но зато в школе над Тупиковым смеялись и издевались: «Нечего сказать, этак и многие из нас согласились бы пробегать три дня вокруг города да за это в подарок получить настоящее ружье».

Совершенно неожиданно досталось Тупикову от учителя географии Малиновского, которого у нас за глаза называли «Коля бешеный».

Вызывает Малиновский Тупикова к доске:

— Тэк-с!.. Скажите, молодой человек, на какой это вы фронт убежать хотели? На японский, что ли?

— Нет,— ответил, побагровев, Тупиков,— на германский.

— Тэк-с! — ехидно продолжал Малиновский.— А позвольте вас спросить, за каким же вас чертом на Нижний Новгород понесло? Где ваша голова и где в оной мои уроки географии? Разве же не ясно, как день, что вы должны были направиться через Москву,— он ткнул указкой по карте,— через Смоленск и Брест, если вам угодно было бежать на германский? А вы поперли прямо в противоположную сторону—на восток. Как вас понесло в обратную сторону? Вы учитесь у меня для того, чтобы уметь на практике применять полученные знания, а не держать их в голове, как в мусор-

ном ящике. Садитесь. Ставлю вам два. И стыдно, молодой человек!

Надо заметить, что следствием этой речи было то, что первоклассники, внезапно уяснив себе пользу наук, с совершенно необычным рвением принялись за изучение географии, даже выдумали новую игру, называвшуюся «беглец». Игра эта состояла в том, что один называл пограничный город, а другой должен был без запинки перечислить главные пункты, через которые лежит туда путь. Если беглец ошибался, то платил фант, а за неимением фанта получал затрещину или щелчок по носу, смотря по уговору.

## *Глава третья*

Каждую неделю, в среду, в общем зале перед началом занятий происходила торжественная молитва о даровании победы.

После молитвы все поворачивались влево, где висели портреты царя и царицы.

Хор начинал петь гимн «Боже, царя храни», все подхватывали. Я подпевал во всю глотку. Голос у меня для пения был не особенно приспособлен, но я старался так, что даже надзиратель сказал мне однажды:

— Вы бы, Гориков, полегче, а то уж чересчур.

Я обиделся. Что значит — чересчур?

А если у меня на пение таланта нет, то пусть другие молятся о даровании победы, а я должен помалкивать?

Дома я поделился с матерью своей обидой.

Но мать как-то холодно отнеслась к моему огорчению и сказала:

— Мал еще. Подрасти немного... Ну, воюют и воюют. Тебе-то какое дело?

— Как, мам, какое дело? А если германцы нас завоюют? Я, мам, тоже об ихних зверствах читал. Почему германцы такие варвары, что никого не жалеют — ни стариков, ни детей, а почему наш царь всех жалеет?

— Сиди! — недовольно сказала мне мать.— Все хороши... Как взбесились ровно — и германцы не хуже людей, и наши тоже.

Мать ушла, а я остался в недоумении: то есть как это выходит, что германцы не хуже наших? Как же это не хуже, когда хуже? Еще недавно в кино показывали, как германцы, не щадя никого, всё жгут, разрушили Реймсский собор и надругаются над храмами, а наши ничего не разрушили и ни над чем не надругались. Наоборот даже, в том же кино я сам видел, как один русский офицер спас из огня германское дитя. Я пошел к Федьке.

Федька согласился со мной:

— Конечно, звери. Они затопили «Лузитанию» с мирными пассажирами, а мы ничего не затопили. Наш царь и английский царь — благородные. И французский президент — тоже. А их Вильгельм — хам!

— Федька,— спросил я,— а почему французский царь президентом называется?

Федька задумался.

— Не знаю,— ответил он.— Я слышал, что ихний президент вовсе не царь, а так просто.

— Как это — так просто?

— Ей-богу, не знаю. Я, знаешь, читал книжку писателя Дюма. Интересная книжка—кругом одни приключения. И по той книжке выходит, что французы убили своего царя, и с тех пор у них не царь, а президент.

— Как же можно, чтобы царя убили? — возмутился я.— Ты врешь, Федька, или напутал что-нибудь.

— А ей-богу же, убили. И его самого убили и жену его убили. Всем им был суд, и присудили им смертную казнь.

— Ну, уж это ты непременно врешь! Какой же на царя может быть суд? Скажем, наш судья, Иван Федорович, воров судит: вот у Плющихи забор сломали — он судил. Митька-цыган у монахов ящик с просфорами спер — опять он судил. Но царя он судить не посмеет, потому что царь сам над всеми начальник.

— Ну, хочешь — верь, хочешь — нет! — рассердился Федька.— Вот Сашка Головешкин прочитает книжку, я тебе ее дам. Там и суд вовсе не этакий был, как у Ивана Федоровича. Там собирался весь народ, и судили и казнили...— добавил он раздраженно.— И даже вспомнил я, как казнили. У них не вешают, а машина этакая — гильотина. Ее заведут, а она раз-раз — и отрубает головы.

— И царю отрубили?

— И царю, и царице, и еще кому-то там. Да хочешь, я тебе эту книжку принесу? Интересно... Там про монаха одного... Хитрый был, толстый и как будто святой, а на самом деле ничего подобного. Я как читал про него, так до слез хохотал, аж мать рассердилась, слезла с кровати и лампу загасила. А я подождал, пока она заснет, взял от икон лампадку и опять стал читать.

Пронесся слух, что на вокзал пригнали пленных австрийцев. Мы с Федькой тотчас же после уроков понеслись туда. Вокзал у нас находился далеко за городом. Нужно было бежать мимо кладбища, через перелесок, выйти на шоссе и пересечь длинный извилистый овраг.

— Как по-твоему, Федька,— спросил я,— пленные в кандалах или нет?

— Не знаю. Может быть, и в кандалах. А то ведь разбежаться могут. А в кандалах далеко не убежишь! Вон как арестанты в тюрьму идут, так еле ноги волочат.

— Так ведь арестанты — они же воры, а пленные ничего не украли.

Федька сощурился.

— А ты думаешь, что в тюрьме только тот, кто украл либо убил? Там, брат, за разное сидят.

— За какое еще разное?

— А вот за такое... За что ремесленного учителя посадили? Не знаешь? Не знаешь — ну и помалкивай.

Меня всегда сердило, почему Федька больше меня все знает. Обязательно, о чем его ни спроси—только не насчет уроков,— он всегда что-нибудь да знает. Должно быть, через отца. Отец у него почтальон, а почтальон, пока из дома в дом ходит, мало ли чего наслушается.

Ремесленного учителя, или, как его у нас звали, Галку, ребятишки любили. Приехал он в город в начале войны. Снял на окраине квартирку. Я несколько раз бывал у него. Он сам любил ребят, учил их на своем верстаке делать клетки, ящики, западни. Летом, бывало, наберет целую ораву и отправляется с нею в лес или на рыбную ловлю. Сам он был черный, худой и ходил немного подпрыгивая, как птица, за что и прозвали его Галкой. Арестовали его совершенно неожиданно, за что — мы толком и не знали. Одни ребята говорили, что будто бы он шпион и передавал по телефону немцам все секреты о передвижении войск. Нашлись и такие, которые утверждали, что будто бы учитель раньше был разбойником и грабил людей на проезжих дорогах, а вот теперь правда и выплыла наружу.

Но я не верил: во-первых, отсюда ни до какой границы телефонный провод не подтянешь; во-вторых, про какие военные секреты и передвижения войск можно передавать из Арзамаса? Тут и войск-то вовсе было мало — семь человек команды с денщиком да на вокзале четыре пекаря из военно-продовольственного пункта, у которых одно только название, что солдаты, а на самом деле обыкновенные булочники. Кроме того, за все это время у нас только и было одно передвижение войск, когда офицер Балагушин переехал с квартиры Пырятиных к Басюгиным, а больше никаких передвижений и не было.

Что же касается того, что учитель был разбойником,— это была явная ложь. Выдумал Петька Золотухин, который, как известно всем, отчаянный враль, и если попросит взаймы три копейки, то потом будет божиться, что отдал, либо вовсе вернет удилище без крючков и потом будет уверять, что так и брал. Да какой же из учителя разбойник? У него и лицо не такое, и походка смешная, и сам он добрый, а к тому же худой и всегда кашляет.

Так мы добежали с Федькой до самого оврага.

Тут, не в силах более сдерживать свое любопытство, я спросил у Федьки:

— Федь, так за что ж, на самом деле, учителя арестовали? Ведь это же враки: и про шпиона и про разбойника?

— Конечно, враки,— ответил он, замедляя шаг и осторожно оглядываясь, как будто бы мы были не в поле, а среди толпы.— Его, брат, за политику арестовали.

Не успел я подробнее выспросить у Федьки, за какую именно политику арестовали учителя, как за по-

воротом раздался тяжелый топот приближающейся колонны.

Пленных было около сотни.

Они не были закованы, и сопровождало их всего шесть конвоиров.

Усталые, угрюмые лица австрийцев сливались в одно с их серыми шинелями и измятыми шапками. Шли они молча, плотными рядами, мерным солдатским шагом.

«Так вот какие они,— думали мы с Федькой, пропуская колонну.— Вот они, те самые австрийцы и немцы, зверства которых ужасают все народы. Нахмурились, насупились — не нравится в плену. То-то, голубчики!»

Когда колонна прошла мимо, Федька погрозил ей вдогонку кулаком:

— Газы выдумали! У, немецкая колбаса проклятая!

Возвращались домой мы немного подавленные. Отчего — не знаю. Вероятно, оттого, что усталые серые пленники не произвели на нас того впечатления, на которое мы рассчитывали. Если бы не шинели, они походили бы на беженцев. Те же худые, истощенные лица, та же утомленность и какое-то усталое равнодушие ко всему окружающему.

## *Глава четвертая*

Нас распустили на летние каникулы. Мы с Федькой строили всевозможные планы на лето. Работы впереди предстояло много.

Во-первых, нужно было построить плот и, спустив его в пруд, примыкавший к нашему саду, объявить себя властителями моря и дать морской бой соединенному

флоту Пантюшкиных и Симаковых, оберегавшему подступы к их садам на другом берегу.

У нас и до сих пор был маленький флот — спущенная на воду садовая калитка. Но в боевом отношении он значительно уступал силам неприятеля, у которого имелись половина старых ворот, заменявшая тяжелый крейсер, и легкий миноносец, переделанный из бревенчатой колоды, в которой раньше кормили скот.

Силы были явно неравны.

Поэтому мы решили усилить наше вооружение постройкой колоссального сверхдредноута по последнему слову техники.

Как материал для постройки мы предполагали использовать бревна развалившейся бани. Чтобы не ругалась мать, я дал ей обещание, что наш дредноут будет построен с таким расчетом, чтобы его можно было всегда использовать вместо подмостков для полоскания белья.

На противоположном берегу неприятель, заметив наше перевооружение, забеспокоился и начал тоже что-то сооружать, но наша агентурная разведка донесла нам, что противник в противовес нам не может выставить ничего серьезного за неимением строительного материала. Попытки же спереть со двора доски, предназначенные для обшивки сарая, не увенчались успехом: семейный совет не одобрил самовольного расходования материалов не по назначению, и враждебные нам адмиралы — Сенька Пантюшкин и Гришка Симаков — были беспощадно выдраны отцами.

Несколько дней мы возились с бревнами. Построить дредноут было нелегко. Требовалось много денег и времени, а мы с Федькой как раз испытывали тогда полосу финансовых затруднений. Одних только гвоз-

дей ушло больше чем на полтинник, а оставалось еще приобрести веревки для якоря и материал для флага.

Чтобы раздобыть все необходимое, мы вынуждены были прибегнуть к тайному займу в семьдесят копеек под залог двух учебников закона божьего, немецкой грамматики Глезер и Петцольд и хрестоматии по русскому языку.

Зато дредноут наш вышел на славу. Спускали мы его уже под вечер. Помогали спускать Тимка Штукин и Яшка Цуккерштейн. В качестве зрителей пришли все ребятишки сапожника, моя сестренка и дворовая собачка Волчок, она же Шарик, она же Жучка — звал ее каждый, как хотел. Плот затрещал, заскрипел и тяжело бухнул в воду. Тотчас раздалось громкое «ура», салют из пугачей, и над дредноутом взвился флаг.

Флаг у нас был черный с красными каемками и синим кру́гом посредине.

Развеваемый слабым теплым ветром, он эффектно затрепыхался,— мы снялись с якорей.

Близился закат. Слышалось далекое звяканье бубенцов возвращавшегося стада коз, которых в Арзамасе бесчисленное множество.

На дредноуте были я и Федька. Позади нас, на почтительном расстоянии, плыла наша маленькая калитка, предназначенная быть посыльным судном.

Наша эскадра медленно, сознавая свою силу, выплыла на середину пруда и продефилировала перед чужими берегами. Тщетно мы вызывали противника и в рупор и сигналами — он не хотел принимать боя и постыдно прятался в бухте под полусгнившей ветлой. В бессильной ярости береговая артиллерия открыла по нашим судам огонь, но мы сразу же поставили себя вне пределов досягаемости орудий противника и спокойно

отплыли в свой порт без всякого урона, если не считать легкой контузии картофелиной, полученной в спину Яшкой Цуккерштейном.

— О-го-го! — закричали мы уплывая.— Что, слабо́ вам выйти навстречу?

— Подождите! Выйдем, не хвалитесь раньше времени, не испугались!

— То-то оно и видно, что не испугались. Трусы несчастные!

Мы благополучно вошли в свой порт, бросили якоря и, крепко на цепь закрепив плоты, выскочили на берег.

В тот же вечер мы с Федькой чуть не поссорились. Мы не договорились заранее, кто будет командовать флотом. На мое предложение командовать ему посыльным судном Федька ответил презрительным плевком. Тогда я предложил ему, кроме этого, быть начальником порта, начальником береговой артиллерии, а также воздушных сил, как только они у нас появятся. Но даже воздушные силы не соблазнили Федьку, и он упорно стоял на том, что хочет быть адмиралом, а в противном случае пригрозил передаться неприятелю.

Тогда, не желая терять ценного помощника, я плюнул и предложил быть адмиралом по очереди: день — он, день — я.

На этом мы и порешили.

Мы смастерили два лука, запаслись десятком стрел и отправились в перелесок. В запасе у нас было несколько «лягушек». «Лягушками» назывались бумажные трубочки, сложенные в несколько раз, туго перетянутые бечевой и начиненные смесью бертолетовой соли с толченым углем. Мы привязывали «лягушку» к концу стрелы, один натягивал бечеву, другой поджигал у «лягушки» шнур. Тотчас же стрела взвивалась в небо,

и «лягушка» разрывалась высоко в воздухе, металась огненными зигзагами, спугивая галок и ворон.

Перелесок примыкал к кладбищу. Был он густ, весь изрыт ямами, покрыт маленькими прудами. На тенистых зеленых лужайках цвели желтые кувшинки, куриная слепота и рос папоротник.

Вдоволь наигравшись, мы перелезли через каменную стену и очутились в самом отдаленном и глухом углу кладбища. Тишина, нарушаемая только разноголосым щебетом укрывшихся в листве пташек, действовала успокаивающе на наше возбужденное игрой настроение. Пробираясь через пустырь мимо надмогильных холмиков, иногда едва выступавших над землей, мы разговаривали вполголоса.

— Смотри,— сказал я Федьке,— сейчас за поворотом начнутся солдатские могилы. На прошлой неделе здесь похоронили Семена Кожевникова из лазарета. Я, Федька, хорошо помню Кожевникова. Еще задолго до войны, когда я был вовсе маленьким, он приходил к моему отцу. Он один раз подарил мне резинку для рогатки. Хорошая была резинка. Только ее потом мать в печку выбросила — будто бы я камешком у Басюгиных стекло разбил.

— А нет, что ли?

— Ну так что ж, что я? Да ведь это же доказать надо было, а то никто не видел, и по одному только подозрению... Какая же это справедливость выходит? Вдруг бы не я разбил, тогда, значит, все равно бы на меня?

— Все равно бы,— согласился Федька.— Они, матери, всегда такие. У девчонок ничего не трогают, а как мальчишкину какую игру заметят, так и выбрасывают. У меня мать две стрелы с гвоздем сломала да

потом крысу из клетки вынула. А один раз еще хуже было... Свинтил я шарик пустой. Знаешь, которые на кроватях для украшения привернуты. Мать как раз в церковь ушла. Сижу себе, достал селитры, угля. Ну, думаю, начиню шарик порохом, а потом в перелеске взрыв устрою. И так занялся делом, что и не заметил, как мать сзади очутилась. «Ты зачем,—говорит,—шар с кровати свернул? Ах ты, проклятый! А я смотрю, куда у меня шары делись?» Да как треснет меня по башке! Хорошо, что отец вступился. Спрашивает: «Зачем шар взял?» — «Разве,— отвечаю ему,— не видишь?.. Бомбу делать». Нахмурился он. «Брось,— говорит,— не балуй этакими вещами. Ишь, какой террорист выискался!» А сам засмеялся и по голове погладил.

— Федька,— сказал я ему спокойно,— а я знаю, что такое террорист. Это — которые бомбы в полицейских бросают и против богатых. А мы, Федька, какие — бедные или богатые?

— Средние,— ответил Федька подумавши.— Чтобы очень бедные, этого тоже не сказать. У нас как отец нашел место, то каждый день обед, а по воскресеньям еще пироги мать стряпает да иной раз компот. Я беда как люблю компот! А ты любишь?

— И я люблю. Только я кисель яблочный еще больше люблю. Я тоже так думаю, что средние. Вон у Бебешиных фабрика целая. Я один раз был у ихнего Васьки. У них одной прислуги сколько и лакей! А Ваське отец живую лошадь подарил... пони называется.

— У них, конечно, все есть,— согласился Федька,— у них денег очень много. А купец Синюгин вышку над домом построил и телескоп поставил. Огро-о-омный! Как надоест ему все на земле, так и идет Синюгин на ту вышку, туда ему закуску несут, бутылку...

И сидит он всю ночь да на звезды и планеты смотрит. Только недавно он на той вышке выпивку со знакомыми устроил, так, говорят, после ихнего просмотра какое-то стекло лопнуло, теперь ничего уж не видать.

— Федька! А почему же Синюгин, например, и на звезды, и на планеты, и всякое ему удовольствие, а другому — фига? Вон Сигов, который на его фабрике работает, так тому не то чтобы на планеты, а просто жрать нечего. Вчера приходил вниз к сапожнику полтинник занимать.

— Почему?.. Вот еще... почему я знаю? Ты спроси у учителя или у батюшки.

Федька помолчал, сорвал на ходу ветку душистого одичавшего жасмина и потом добавил уже тише:

— Отец говорил, что скоро все будет наоборот.

— Что наоборот?

— Все как есть. Я, Борька, и сам еще хорошо не разобрался. Я будто бы спал, а на самом деле нарочно. Отец с заводским сторожем разговаривал, что будто бы опять забастовки, как в пятом году, будут. Ты знаешь, что было в пятом году?

— Знаю, но только не особенно,— ответил я покраснев.

— Революция была. Только не удалась. Это значит, чтобы помещиков жечь, чтобы всю землю крестьянам, чтобы все от богатых к бедным. Я, знаешь, все это из их разговора услыхал.

Федька умолк. И опять меня взяла досада, почему Федька знает больше меня. Я бы тоже узнал, да не у кого. И в книжках про это ничего не писано. И никто про это со мной не разговаривает.

Дома уже, после обеда, когда мать прилегла отдохнуть, я сел к ней на кровать и сказал:

— Мама, расскажи мне что-нибудь про пятый год. Почему с другими говорят об этом? Федька все интересное знает, а я никогда ничего не знаю.

Мать быстро повернулась, нахмурила брови, по-видимому собиралась выругать меня, потом раздумала ругать и посмотрела с таким любопытством, как будто бы увидала меня в первый раз.

— Про какой еще пятый год?

— Как про какой? Ты сама знаешь, про какой. Ты вон какая здоровая. Тебе тогда уже много лет было, а мне всего один год, и я вовсе даже ничего не запомнил.

— Да чего же тебе рассказывать. Это у отца надо бы спрашивать, он мастер про это рассказывать. А я в пятом году света из-за тебя, сорванца, не видела. Тоже... такой был деточка, что и не приведи бог... горластый, крикастый, ни минуты покоя не давал. Как начнешь орать целую ночь подряд, так тут, бызало, про белый свет и про себя позабудешь.

— А с чего же, мама, я орал? — спросил я, немного обидевшись.— Может, я боялся тогда? Говорят, стрельба была и казаки. Может, с перепугу?

— С какого там еще перепугу! Так просто, блажной был и орал. Какой у тебя тогда мог быть перепуг? К нам с обыском один раз ночью жандармы пришли, и чего искали — сама не знаю. Тогда у многих подряд обыски были. Всю как есть квартиру перерыли, ничего не нашли. Офицер этакий вежливый был. Пальцем тебя пощекотал, а ты смеешься. «Хороший,— говорит,— мальчик у вас». А сам, будто шутя, на руки тебя взял и между тем мигнул жандарму, а тот стал чего-то в твоей люльке высматривать. Вдруг как потекло с тебя! Батюшки, прямо офицеру на мундир. Ах ты, боже мой! Я тебя скорей схватила, тащу офицеру тряпку.

Подумать только! Мундир новый — и весь насквозь, и на штаны попало, и на шашку. Всего как есть опрудил, шельмец этакий! — И мать рассмеялась.

— Ты, мам, вовсе мне про другое рассказываешь,— совсем обидевшись, прервал я.— Я про революцию спрашиваю, а ты ерунду какую-то...

— Да ну тебя... привязался еще! — отмахнулась мать.

Но тут, заметив мое огорченное лицо, она подумала, достала связку ключей и сказала:

— Что я тебе рассказывать буду? Пойди отопри чулан... Там в большом ящике вверху всякий хлам, а внизу целая куча отцовских книг была. Поищи... Если не все он разодрал, то, может, и найдешь какую и про пятый год.

Я быстро схватил связку ключей и бросился к дверям.

— Да ежели ты,— крикнула мне вдогонку мать,— вместо ящика с книгами в банку с вареньем залезешь или опять, как в прошлый раз, с кринок сметану поснимаешь, то я тебе такую революцию покажу, что и своих не узнаешь!

Несколько дней подряд я был занят чтением. Помню, что из двух отобранных книг в первой я прочел только три страницы. Называлась эта наугад взятая книга «Философия нищеты». Из этой мудреной философии я тогда ровно ничего не понял. Но зато другая книга — рассказы Степняка-Кравчинского—была мне понятна; я прочел ее до конца и перечел снова.

В тех рассказах все было наоборот. Там героями были те, которых ловила полиция, а полицейские сыщики, вместо того чтобы возбуждать сочувствие, вызывали только презрение и негодование. Речь в этих

книгах шла о революционерах. У революционеров были свои тайные организации, типографии. Они готовили восстания против помещиков, купцов и генералов. Полиция боролась с ними, ловила их. Тогда революционеры шли в тюрьмы и на казни, а оставшиеся в живых продолжали их дело.

Меня захватила эта книга, потому что до сих пор я не знал ничего про революционеров. И мне обидно стало, что Арзамас такой плохой город, что в нем ничего не слышно про революционеров. Воры были: у Тушковых с чердака начисто все белье сняли; конокрады-цыгане были, даже настоящий разбойник был — Ванька Селедкин, который убил акцизного контролера, а вот революционеров-то и не было.

## *Глава пятая*

Я, Федька, Тимка и Яшка Цуккерштейн только собрались играть в городки, как прибежал из сада сапожников мальчишка и сообщил, что к нашему берегу причалили тайно два плота Пантюшкиных и Симаковых; сейчас эти проклятые адмиралы отбивают замок с целью увести наши плоты на свою сторону.

Мы с гиканьем понеслись в сад. Заметив нас, враги быстро повскакали на свои плоты и отчалили.

Тогда мы решили преследовать и потопить неприятеля.

В тот день командовал дредноутом Федька. Пока он и Яшка отталкивали тяжелый, неповоротливый плот, мы с Тимкой на старом суденышке пустились неприятелю наперерез. Наши враги сразу сделали ошибку. Очевидно, не предполагая, что мы будем их преследовать, они, вместо того чтобы сразу направиться

к своему берегу, взяли курс далеко влево. Когда же они заметили свою ошибку, то были уже далеко и теперь напрягали все свои силы, пытаясь проскочить, прежде чем мы успеем перерезать им дорогу. Но Федька и Яшка никак не могли отвязать большой плот. Нам с Тимкой предстояла героическая задача — на легком суденышке задержать на несколько минут двойные силы неприятеля.

Мы очутились без поддержки перед враждебной эскадрой и самоотверженно открыли по ней огонь. Нечего и говорить, что мы сами тотчас же попали под сильнейший перекрестный обстрел.

Уже дважды я получил комом по спине, а у Тимки сшибло фуражку в воду. Стали истощаться наши снаряды, и мы были насквозь промочены водой, а Федька и Яшка еще только отчаливали от берега.

Заметив это, неприятель решил идти напролом.

Мы не могли выдержать столкновения с их плотами — наша калитка была бы безусловно потоплена.

— Ураганный огонь последними снарядами! — скомандовал я.

Отчаянными залпами мы задержали противника только на полминуты. Наш дредноут полным ходом спешил к нам на помощь.

— Держитесь! — кричал Федька, открывая огонь с далекой дистанции.

Однако вражьи суда были почти рядом. Оставалось только дать им уйти в защищенный порт или загородить дорогу, рискуя выдержать смертельный бой. Я решился на последнее.

Сильным ударом шеста я поставил свой плот поперек пути.

Первый вражеский плот с силой налетел на нас, и

мы с Тимкой разом очутились по горло в теплой заплесневелой воде. Однако от удара плот противника тоже остановился. Этого только нам и нужно было. Наш могучий дредноут — огромный, неуклюжий, но крепко сколоченный — на полном ходу врезался в борт неприятельского судна и перевернул его. Оставался еще миноносец из свиного корыта. Пользуясь своей быстроходностью, он хотел было проскочить мимо, но и его опрокинули шестом.

Мы с Тимкой забрались на Федькин плот, и теперь только головы неприятельской команды торчали из воды. Но мы были великодушны: взяв на буксир перевернутые плоты, разрешили взобраться на них побежденным и с триумфом, под громкие крики мальчишек, усеявших заборы садов, доставили трофеи и пленников к себе в порт.

Письма от отца мы получали редко. Отец писал мало и все одно и то же: «Жив, здоров, сидим в окопах, и сидеть, кажется, конца-краю не предвидится».

Меня разочаровывали его письма. Что это такое, на самом деле? Человек с фронта не может написать ничего интересного. Описал бы бой, атаку или какие-нибудь героические подвиги, а то прочтешь письмо, и остается впечатление, что будто бы скука на этом фронте хуже, чем в Арзамасе грязной осенью.

Почему другие, вот, например, прапорщик Тупиков, брат Митьки, присылает письма с описанием сражений и подвигов и каждую неделю присылает всякие фотографии? На одной фотографии он снят возле орудия, на другой — возле пулемета, на третьей — верхом на коне, с обнаженной шашкой, а еще одну прислал, так на той и вовсе голову из аэроплана высунул. А отец —

не то чтобы из аэроплана, а даже в окопе ни разу не снялся и ни о чем интересном не пишет.

Однажды, уже под вечер, в дверь нашей квартиры постучали. Вошел солдат с костылем и деревянной ногой и спросил мою мать. Матери не было дома, но она должна была скоро прийти. Тогда солдат сказал, что он товарищ моего отца, служил с ним в одном полку, а сейчас едет навсегда домой, в деревню нашего уезда, и привез нам от отца поклон и письмо.

Он сел на стул, поставил к печке костыль и, порывшись за пазухой, достал оттуда замасленное письмо. Меня сразу же удивила необычайная толщина пакета. Отец никогда не присылал таких толстых писем, и я решил, что, вероятно, в письмо вложены фотографии.

— Вы с ним вместе служили, в одном полку? — спросил я, с любопытством разглядывая худое, как мне показалось, угрюмое лицо солдата, серую измятую шинель с георгиевским крестиком и грубую деревяшку, приделанную к левой ноге.

— И в одном полку, и в одной роте, и в одном взводе, и в окопе рядом, локоть к локтю... Ты его сын, что ли, будешь?

— Сын.

— Вот что! Борис, значит? Знаю. Слыхал от отца. Тут и тебе посылка есть. Только отец наказывал, чтобы спрятал ты ее и не трогал до тех пор, пока он не вернется.

Солдат полез в самодельную кожаную сумку, сшитую из голенища; при каждом его движении по комнате распространялись волны тяжелого запаха йодоформа.

Он вынул завернутый в тряпку и туго перевязанный сверток и подал его мне. Сверток был небольшой, а тяжелый. Я хотел вскрыть его, но солдат сказал:



Вошел солдат с костылем и деревянной ногой и спросил мою мать...

— Погоди, не торопись. Успеешь еще посмотреть.

— Ну, как у вас на фронте, как идут сражения, какой дух у наших войск? — спросил я спокойно и солидно.

Солдат посмотрел на меня и прищурился. Под его тяжелым, немного насмешливым взглядом я смутился, и самый вопрос показался мне каким-то напыщенным и надуманным.

— Ишь ты! — И солдат улыбнулся.— Какой дух! Известное дело, милый, какой дух в окопе может быть... Тяжелый дух. Хуже, чем в нужнике.

Он достал кисет, молча свернул цигарку, выпустил сильную струю едкого махорочного дыма и, глядя мимо меня на покрасневшее от заката окно, добавил:

— Обрыдло все, очертенело все до горечи. И конца что-то не видно.

Вошла мать. Увидев солдата, она остановилась у двери и ухватилась рукой за дверную скобку.

— Что... что случилось? — тихо спросила она побелевшими губами.— Что-нибудь про Алексея?

— Папа письмо прислал! — завопил я.— Толстое... наверное, с фотографиями. И мне тоже подарок прислал.

— Жив, здоров? — спрашивала мать, сбрасывая шаль.— А я как увидала с порога серую шинель, так у меня сердце ёкнуло. Наверное, думаю, с отцом что-нибудь случилось.

— Пока не случилось,— ответил солдат.— Низко кланяется, вот пакет просил передать. Не хотел он по почте... Почта ныне ненадежная.

Мать разорвала конверт. Никаких фотографий в нем не было, только пачка замасленных, исписанных листков.

К одному из них пристал кусочек глины и зеленая засохшая травинка.

Я развернул сверток — там лежал небольшой маузер и запасная обойма.

— Что еще отец выдумал! — сказала недовольно мать.— Разве это игрушка?

— Ничего,— ответил солдат.— Что, у тебя сын дурной, что ли? Гляди-ка, ведь он вон уже какой, с меня ростом скоро будет. Пусть спрячет пока. Хороший пистолет. Его Алексей в германском окопе нашел. Хорошая штука. Потом всегда пригодиться может.

Я потрогал холодную точеную рукоятку и, осторожно завернув маузер, положил его в ящик.

Солдат пил у нас чай. Выпил стаканов семь и все рассказывал нам про отца и про войну. Я выпил всего полстакана, а мать и вовсе не дотронулась до чашки. Порывшись в своих склянках, она достала пузырек со спиртом и налила солдату. Солдат сощурился, долил спирт водой и, медленно выпив водку, вздохнул и покачал головой.

— Жисть никуда пошла,— сказал он, отодвигая стакан.— Из дома писали, что хозяйство прахом идет. А чем помочь было можно? Сами голодали месяцами. Такая тоска брала что думаешь — хоть бы один конец. Замотались люди в доску! Бывало, иногда закипит душа, как ржавая вода в котелке. Эх, думаешь, была бы сила, плюнул бы и повернул обратно. Пусть воюет, кто хочет, а я у немца ничего не занимал, и он мне ничего не должен! Мы с Алексеем много про это говорили. Ночи долгие... Спать блоха не дает. Только вся и утеха, что песни да разговоры. Иной раз плакать бы впору или удавить кого, а ты сядешь и запоешь. Плакать — слез нету. Злость сорвать на ком следует—руки корот-

ки. Эх, говоришь, ребята, друзья хорошие, товарищи милые, давайте хоть песню споем!

Лицо солдата покраснело, покрылось влагой, и по комнате гуще и гуще расходился запах йодоформа. Я открыл окно. Сразу пахнуло вечерней свежестью, прелью сложенного во дворах сена и переспелой вишней.

Я сидел на подоконнике, чертил пальцем по стеклу и слушал, что говорил солдат. Слова солдата оставляли на душе осадок горькой сухой пыли, и эта пыль постепенно обволакивала густым налетом все до тех пор четкие и понятные для меня представления о войне, о ее героях и ее святом значении. Я почти с ненавистью смотрел на солдата. Он снял пояс, расстегнул мокрый ворот рубахи и, видимо опьянев, продолжал:

— Смерть, конечно, плохо. Но не смертью еще война плоха, а обидою. На смерть не обидно. Это уж такой закон, чтобы рано ли, поздно ли, а человеку помереть. А кто выдумал такой закон, чтобы воевать? Я не выдумывал, ты не выдумывал, он не выдумывал, а кто-то да выдумал. Так вот, кабы был господь бог всемогущ, всеблаг и всемилостив, как об этом в книгах пишут, пусть призвал бы он того человека и сказал: «А дай-ка мне ответ, для каких нужд втравил ты в войну миллионы народов? Какая им и какая тебе от этого выгода? Выкладывай все начистоту, чтобы всем было ясно и понятно». Только...— Тут солдат покачнулся и чуть не уронил стакан.— Только... не любит что-то господь в земные дела вмешиваться. Ну что же, подождем, потерпим. Мы — народ терпеливый. Но уж когда будет терпению край, тогда, видно, придется самим разыскивать и судей и ответчиков.

Солдат умолк, нахмурился, исподлобья посмотрел на мать, которая, опустив глаза на скатерть, за все

время не проронила ни слова. Он встал и, протягивая руку к тарелке с селедкой, сказал примирительно и укоризненно:

— Ну, да что ты... Вот еще о чем заговорили! Пустое... Всему будет время, будет и конец. Нет ли у тебя, хозяйка, еще в бутылке?

И мать, не поднимая глаз, долила ему в стакан капли теплого пахучего спирта.

Всю эту ночь за стеною проплакала мама; шелестели перевертываемые листки отцовского письма. Потом через щель мелькнул тусклый зеленый огонек лампадки, и я догадался, что мать молится. Отцовского письма она мне не показала. О чем он писал и отчего в ту ночь она плакала, я так и не понял тогда.

Солдат ушел от нас утром.

Перед тем как уйти, он похлопал меня по плечу и сказал, точно я его о чем спрашивал:

— Ничего, милый... Твое дело молодое. Эх! Поди-ка, ты почище нашего еще увидишь!

Он попрощался и ушел, притопывая деревяшкой, унося с собой костыль, запах йодоформа и гнетущее настроение, вызванное его присутствием, его кашляющим смехом и горькими словами.

## *Глава шестая*

Лето подходило к концу. Федька усиленно готовился к переэкзаменовке, Яшка Цуккерштейн заболел лихорадкой, и я как-то неожиданно очутился в одиночестве.

Я валялся на кровати, читал отцовские книги и газеты.

Про конец войны ничего не было слышно. В город

понаехало множество беженцев, потому что германцы сильно продвинулись по фронту и заняли уже больше половины Польши. Беженцы побогаче разместились по частным квартирам, но таких было немного. Наши купцы, монахи и священники были людьми набожными и неохотно пускали к себе беженцев, в большинстве бедных многосемейных евреев, и беженцы главным образом жили в бараках возле перелеска, за городом.

К тому времени из деревень вся молодежь, все здоровые мужики были угнаны на фронт. Многие хозяйства разорились. Работать в полях было некому, и в город потянулись нищие — старики, бабы и ребятишки.

Раньше, бывало, ходишь целый день по улицам—и ни одного незнакомого не встретишь. Иного хоть по фамилии не знаешь, так обязательно где-нибудь встречал, а теперь попадались на каждом шагу незнакомые, чужие лица — евреи, румыны, поляки, пленные австрийцы, раненые солдаты из госпиталя Красного Креста.

Не хватало продуктов. Масло, яйца, молоко по дорогой цене раскупались на базаре с раннего утра. У булочных образовались очереди, исчез белый хлеб, да и черного не всем хватало. Купцы немилосердно набавляли цены на все, даже не на съестные продукты.

Говорили у нас, что один Бебешин за последний год нажил столько же, сколько за пять предыдущих. А Синюгин — тот и вовсе так разбогател, что пожертвовал шесть тысяч на храм; забросив свою вышку с телескопом, выписал из Москвы настоящего, живого крокодила, которого пустил в специально выкопанный бассейн.

Когда крокодила везли с вокзала, за телегой тянулось такое множество любопытных, что косой пономарь Спасской церкви Гришка Бочаров, не разобравшись, принял процессию за крестный ход с Оранской

иконой божией матери и ударил в колокола. Гришке от епископа было за это назначено тринадцатидневное покаяние. Многие же богомольцы говорили, что Гришка врет, будто бы зазвонил по ошибке, а сделал это нарочно, из озорства. Мало ему покаяния, а надо бы для примера засадить в тюрьму, потому что похороны за крестный ход принять — это еще куда ни шло, но чтобы этакую богомерзкую скотину с пресвятой иконой спутать — это уж смертный грех!

Захлопнув книгу, я выбежал на улицу. Делать мне было нечего, и я побежал за город, на кладбище, к Тимке Штукину. Тимку дома я не застал. Отец его, седой крепкий старик, старый знакомый моего отца, потрепал меня по плечу и сказал:

— Растешь, хлопец! Батько-то приедет и не узнает. Ростом-то ты в отца вышел, во какой здоровенный! А мой Тимка, пес его знает, в деда, что ли, по матери пошел,— хлюпкий, как комар. И куда в его только жратва идет?! Отец-то здоров? Будете писать—от меня поклон. Хороший, настоящий человек. Мы с ним восемь лет в сельской школе проработали. Он—учителем, а я — сторожем... Только давно это... Ты вовсе сосуном был, не помнишь. Ну, ступай! Тимка тут где-нибудь, щеглов ловит. Поищи в березах, там, в углу, за солдатскими могилами. Ближе он не ловит — староста, как увидит, ругается...

Тимку я нашел в березняке. Он стоял под деревом и, держа в руке палку с петлей, осторожно подводил ее под едва заметного в пожелтевшей листве щегла. Тимка испуганно, почти умоляюще посмотрел на меня и замотал головой, чтобы я не подходил ближе и не спугнул птицы. Я остановился.

Большей дуры-птицы, чем щегол, по-моему, не было никогда на свете. К концу длинного тонкого удилища ребята-птицеловы прикрепляют конский волос и делают петлю. Петлю эту нужно осторожно накинуть на шею щегла.

Тимка медленно подвел конец удилища к самой голове пичужки. Щегол покосился на петлю и лениво перескочил на соседнюю ветку. Высунув кончик языка, стараясь не дышать, Тимка принялся подводить петлю снова. Глупый щегол с любопытством посматривал на Тимкино занятие. Он по-идиотски беспечно позволил окружить петлей нахохлившуюся головку. Тимка дернул палку, и полузадушенный щегол, не успев пискнуть, полетел на траву, отчаянно трепыхая крыльями. Через минуту он уже прыгал в клетке вместе с пятком других пленных собратьев.

— Видал?! — заорал Тимка, подпрыгивая на одной ноге.— Во, брат, как ловко... целых шесть штук. Только щеглы всё. Синицу этак не поймаешь... Ее западками надо или лучком... Хитрющая! А эти дураки сами башкой лезут...

Внезапно Тимка оборвал себя на полуслове, лицо его окаменело в таком выражении, как будто бы кто-то стукнул его поленом по голове. Погрозив мне пальцем, он постоял, не шелохнувшись, минуты две, потом опять подпрыгнул и спросил:

— Что, слыхал?

— Ничего не слыхал, Тимка. Слыхал, что паровоз на вокзале загудел.

— Господи боже мой! Он не слыхал! — удивленно всплеснул руками Тимка.— Малиновка!.. Слышал ты, пересвистнулась?.. Настоящая, краснозванка. Я уже по свисту слышу, я ее, голубушку, вторую неделю высле-

живаю. Знаешь, где утопленника хоронили? Ну, так вот она там, в кленах, где-то водится. Там густые клены, а сейчас у них листья, как огонь, яркие... Пойдем посмотрим.

Тимка знает каждую могилу, каждый памятник. На ходу прискакивая по-птичьи, он показывает мне:

— Здесь вот — пожарный лежит... в прошлом году сгорел, а здесь — Чурбакин слепой. Тут все этакие, тут купцов не хоронят, для купцов хорошая земля отведена... Вон у Синюгиной бабушки какой памятник поставили, с архангелами. А вот тут,— Тимка ткнул пальцем на еле заметный бугорок,— тут удавленник похоронен. Батька говорил, что сам он, нарочно удавился... слесарь деповский. Вот уж не знаю, как это можно самому, нарочно?

— От плохой жизни, должно быть, Тимка, ведь не от хорошей же?

— Ну-у, что ты! — удивленно и протестующе протянул Тимка.—От какой же плохой? Разве же она плохая?

— Кто — она?

— Да жизнь-то! Беда, какая хорошая! Как же можно, чтобы смерть лучше была? То бегаешь и все, что хочешь, а то — лежи!

Тимка засмеялся звонким, щебечущим смехом и опять разом замер, точно его оглушили, и, постояв с минутку, сказал шепотом:

— Тише теперь... Она тут где-то, недалеко, хоронится... Только хитрая! Ну, да все равно я ее поймаю.

Только к вечеру я вернулся от Тимки. Странный мальчуган, он всего на полтора года моложе меня, а такой маленький, что ему не только двенадцать, а и десять лет нельзя было дать. Всегда он суетился, товарищи над ним подсмеивались, частенько щелкали его

по затылку, но он никогда надолго не обижался. Когда Тимка просил что-нибудь, ну, скажем, перочинный ножик карандаш очинить, или перо, или решить трудную задачу, то всегда глядел в упор большими круглыми глазами и почему-то виновато улыбался. Он был трусом, но и трусость у него была особая. Не было Тимке большего страха, чем тот, который он испытывал при приближении инспектора или директора. Однажды во время урока пришел швейцар и сказал, что Тимку просят в учительскую. Тимка не мог сразу подняться с парты; потом обвел глазами весь класс, как бы спрашивая: «Да за что же? Ей-богу, ни в чем не виноват». Рябоватое лицо его приняло серый оттенок, и он неуверенно вышел за дверь.

На перемене мы узнали, что вызывали его не для заковывания в кандалы и отправления на каторгу и даже не для записи в кондуит, а просто чтобы он расписался за полученный в прошлом году бесплатно учебник арифметики.

Через два дня у нас начались занятия. В классах стоял шум и гомон. Каждый рассказывал о том, как он провел лето, сколько наловил рыбы, раков, ящериц, ежей. Один хвастался убитым ястребом, другой азартно рассказывал о грибах и землянике, третий божился, что поймал живую змею. Были у нас и такие, которые на лето ездили в Крым и на Кавказ — на курорты. Но их было немного. Эти держались особняком, про ежей и землянику не разговаривали, а солидно рассказывали о пальмах, о купаниях и лошадях.

Впервые в этом году нам объявили, что ввиду дороговизны попечитель разрешил взамен суконной формы носить форму из другой, более дешевой материи.

Мать сшила мне гимнастерку и штаны из какой-то материи, которая называлась «чертовой кожей».

Кожа эта действительно, должно быть, была содрана с черта, потому что когда однажды, убегая из монашеского сада от здоровенного инока, вооруженного дубиной, я зацепился за заборный гвоздь, то штаны не разорвались и я повис на заборе, благодаря чему инок успел влепить мне пару здоровых оплеух.

Было еще одно нововведение. К нам прикомандировали офицера, дали деревянные винтовки, которые с виду совсем походили на настоящие, и начали обучать военному строю.

После того письма, которое привез нам от отца безногий солдат, мы не получили ни одного. Каждый раз, когда Федькин отец проходил с сумкой по улице, моя маленькая сестренка, подолгу караулившая его появление, высовывала из окна голову и кричала тоненьким голосом:

— Дядя Сергей! Нам нету от папы?

И тот отвечал неизменно:

— Нету, дочка, нету сегодня! Завтра, должно быть, будет.

Но и завтра тоже ничего не было.

## *Глава седьмая*

Однажды, уже в сентябре, Федька засиделся у меня до позднего вечера. Мы вместе заучивали уроки.

Едва мы кончили и он сложил книги и тетради, собираясь бежать домой, как внезапно хлынул проливной дождь.

Я побежал закрывать окно, выходившее в сад.

Налетавшие порывы ветра со свистом поднимали с

земли целые груды засохших листьев; несколько крупных капель брызнуло мне в лицо.

Я с трудом притянул одну половину окна, высунулся за второй, как внезапно порядочной величины кусок глины упал на подоконник.

«Ну и ветер! — подумал я.— Этак и все деревья переломать можно».

Возвращаясь в соседнюю комнату, я сказал Федьке:

— Буря настоящая. Куда ты, дурак, собрался? Такой дождь хлещет! Смотри-ка, какой кусок земли в окно ветром зашвырнуло.

Федька посмотрел недоверчиво:

— Что ты врешь-то? Разве этакий ком зашвырнет?

— Ну вот еще! — обиделся я.— Я же тебе говорю: только я стал закрывать, как плюхнулось на подоконник.

Я посмотрел на ком глины. Не бросил ли кто, на самом деле, нарочно? Но тотчас же я одумался и сказал:

— Глупости какие! Некому бросать. Кого в этакую погоду в сад занесет? Конечно, ветер.

Мать сидела в соседней комнате и шила. Сестренка спала. Федька пробыл у меня еще полчаса. Небо прояснилось. Через мокрое окно заглянула в комнату луна; ветер начал стихать.

— Ну, я побегу,— сказал Федька.

— Ступай. Я не пойду за тобой дверь запирать. Ты захлопни ее покрепче, замок сам защелкнется.

Федька нахлобучил фуражку, всунул книги за пазуху, чтобы не промокли, и ушел. Я слышал, как гулко стукнула закрытая им дверь.

Я стал снимать ботинки, собираясь ложиться спать. Взглянув на пол, я увидел оброненную и позабытую

Федькой тетрадку. Это была та самая тетрадь, в которой мы решали задачи.

«Вот дурной-то! — подумал я.— Завтра у нас алгебра — первый урок... То-то хватится. Надо будет взять ее с собой».

Сбросив одежду, я скользнул под одеяло, но не успел еще перевернуться, как в передней раздался негромкий, осторожный звонок.

— Кого еще это несет? — спросила удивленная мать.— Уж не телеграмма ли от отца?.. Да нет, почтальон сильно за ручку дергает. Ну-ка, пойди отопри.

— Я, мам, разделся уже. Это, мам, наверное, не почтальон, а Федька, он у меня нужную тетрадку забыл, да, должно быть, по дороге спохватился.

— Вот еще идол! — рассердилась мать.— Что он, не мог утром забежать? Где тетрадь-то?

Она взяла тетрадь, надела на босу ногу туфли и ушла.

Мне слышно было, как туфли ее шлепали по ступенькам. Щелкнул замок. И тотчас же снизу до меня донесся заглушенный, сдавленный крик. Я вскочил. В первую минуту я подумал, что на мать напали грабители, и, схватив со стола подсвечник, хотел было разбить им окно и заорать на всю улицу. Но внизу раздался не то смех, не то поцелуй, оживленный, негромкий шепот. Затем зашаркали шаги двух пар ног, подымающихся наверх.

Распахнулась дверь, и я так и прилип к кровати раздетый и с подсвечником в руке.

В дверях, с полными слез глазами, стояла счастливая, смеющаяся мать, а рядом с нею — заросший щетиной, перепачканный в глине, промокший до нитки, самый дорогой для меня солдат — мой отец.

Один прыжок — и я уже был стиснут его крепкими, загрубелыми лапами.

За стеною в кровати зашевелилась потревоженная шумом сестренка. Я хотел броситься к ней и разбудить ее, но отец удержал меня и сказал вполголоса:

— Не надо, Борис... не буди ее... и не шумите очень.

При этом он обернулся к матери:

— Варюша, если девочка проснется, не говори ей, что я приехал. Пусть спит. Куда бы ее на эти три дня отправить?

Мать ответила:

— Мы отправим ее рано утром в Ивановское. Она давно просилась к бабушке. Небо прояснилось, кажется. Борис раненько утром отведет ее. Да ты, Алеша, не говори шепотом, она спит очень крепко. За мной иногда по ночам приходят из больницы, так что она привыкла.

Я стоял, раскрыв рот, и отказывался верить всему слышанному.

«Как?.. Маленькую лупоглазую Танюшку хотят чуть свет отправить к бабушке, чтобы она так и не увидела приехавшего на побывку отца? Что же это такое?.. Для чего же?»

— Боря! — сказала мне мать.— Ты ляжешь в моей комнате, а утречком, часов в шесть, соберешь Танюшку и отведешь к бабушке... Да не говори там никому, что папа приехал.

Я посмотрел на отца. Он крепко прижал меня к себе, хотел что-то сказать, но вместо этого еще крепче обнял и промолчал.

Я лег на мамину кровать, а отец и мать остались в столовой и закрыли за собой дверь. Долго я не мог уснуть. Ворочался с боку на бок, пробовал считать до пятидесяти, до ста — сон не приходил.

В голове у меня образовался какой-то хаос. Стоило мне только начать думать обо всем случившемся, как тотчас же противоречивые мысли сталкивались и несуразные предположения, одно другого нелепей, лезли в голову. Начинало слегка давить виски, так же как давит голову, когда долго кружишься на карусели.

Только поздно ночью я задремал. Проснулся я от легкого скрипа. В комнату вошел с зажженной свечой отец. Я чуть-чуть приоткрыл глаза. Отец был без сапог. Тихонько, в носках, он подошел к Танюшкиной кроватке и опустил свечу.

Так простоял он минуты три, рассматривая белокурые локоны и розовое лицо спящей девчурки. Потом наклонился к ней. В нем боролись два чувства: желание приласкать дочку и опасение разбудить ее. Второе одержало верх. Быстро выпрямился, повернулся и вышел.

Дверь еще раз скрипнула — свет в комнате погас.

...Часы пробили семь. Я открыл глаза. Сквозь желтые листья березы за окном блестело яркое солнце. Я быстро оделся и заглянул в соседнюю комнату. Там спали. Притворив дверь, я стал будить сестренку.

— А где мама? — спросила она, протирая глаза и уставившись на пустую кровать.

— Маму вызвали в больницу. Мама, когда уходила, сказала мне, чтобы я свел тебя в гости к бабушке.

Сестренка засмеялась и лукаво погрозила мне пальцем:

— Ой, врешь, Борька! Бабушка еще только вчера просила меня к себе, мама не пускала.

— Вчера не пускала, а сегодня передумала. Одевайся скорей... Смотри, какая погода хорошая. Бабушка возьмет тебя сегодня в лес рябину собирать.

Поверив, что я не шучу, сестренка быстро вскочила и, пока я помогал ей одеваться, защебетала:

— Так, значит, мама передумала? Ой, как я люблю, когда мама передумывает! Давай, Борька, возьмем с собой кошку Лизку... Ну, не хочешь кошку, тогда Жучка возьмем. Он веселей... Он меня как вчера лизнул в лицо! Только мама заругалась. Она не любит, чтобы лицо лизали. Жучок один раз лизнул ее, когда она в саду лежала, а она его хворостиной.

Сестренка соскочила с кровати и побежала к двери.

— Борька, открой мне дверь. У меня там платок в углу лежит и еще коляска.

Я оттащил ее и посадил на кровать.

— Туда нельзя, Танюша, там чужой дядя спит. Вечером приехал. Я сам тебе принесу платок.

— Какой дядя? — спросила она.— Как в прошлый раз?

— Да, как в прошлый.

— И с деревянной ногой?

— Нет, с железной.

— Ой, Борька! Я еще никогда не видала с железной. Дай я в щелочку посмотрю тихо-онечко... Я на цыпочках.

— Я вот тебе посмотрю! Сиди смирно.

Осторожно пробравшись в комнату, я достал платок и вернулся обратно.

— А коляску?

— Ну и выдумала еще! Зачем с коляской тащиться? Там тебя дядя Егор на настоящей телеге покатает.

Тропка в Ивановское проходила по берегу Теши. Сестренка бежала впереди, поминутно останавливаясь, то затем, чтобы поднять хворостинку, то посмотреть на гусей, барахтавшихся в воде, то еще зачем-нибудь.

Я шел потихоньку позади. Утренняя свежесть, желто-зеленая ширь осенних полей, монотонное позвякивание медных колокольчиков пасущегося стада — все это успокаивающе действовало на меня.

И теперь уже та назойливая мысль, которая так мучила меня ночью, прочно утвердилась в моей голове, и я уже не силился отделаться от нее.

Я вспомнил комок глины, брошенный на подоконник. Конечно, это не ветер бросил. Как мог ветер вырвать из грядки такой перепутанный корнями кусок? Это бросил отец, чтобы привлечь мое внимание. Это он в дождь и бурю прятался в саду, выжидая, пока уйдет от меня Федька. Он не хочет, чтобы сестренка видела его, потому что она маленькая и может проболтаться о его приезде. Солдаты, которые приезжают в отпуск, не прячутся и не скрываются ни от кого...

Сомнений больше не было: мой отец дезертир.

На обратном пути я неожиданно в упор столкнулся с училищным инспектором.

— Гориков,— сказал он строго,— это еще что такое?.. Почему вы во время уроков не в школе?

— Я болен,— ответил я машинально, не соображая всей нелепости своего ответа.

— Болен? — переспросил инспектор.— Что вы городите чушь? Больные лежат дома, а не шатаются по улицам.

— Я болен,— упрямо повторил я,— и у меня температура...

— У каждого человека температура,— ответил он сердито.— Не выдумывайте ерунды и марш со мной в школу...

«Вот тебе и на! — подумал я, шагая вслед за ним.— И зачем я соврал ему, что болен? Разве я не мог, не

называя настоящей причины своего отсутствия в школе, придумать какое-нибудь другое, более правдоподобное объяснение?»

Старичок, училищный доктор, приложил ладонь к моему лбу и, даже не измерив температуры, поставил вслух диагноз:

— Болен острым приступом лени. Вместо лекарства советую четверку за поведение и после уроков на два часа без обеда.

Инспектор с видом ученого аптекаря одобрил этот рецепт.

Он позвал сторожа Семена и приказал ему отвести меня в класс.

Несчастье одно за другим приходило ко мне в этот день.

Едва только я вошел, как немка Эльза Францисковна кончила спрашивать Торопыгина и, недовольная моим появлением среди урока, сказала:

— Гориков, коммэн зи хэр! Спрягайте мне глагол «иметь». Их хабэ,— начала она.

— Ду хаст,— подсказал мне Чижиков.

— Эр хат,— вспомнил я сам.— Вир...— Тут я опять запнулся. Ну, положительно мне сегодня было не до немецких глаголов.

— Хастус,— нарочно подсказал мне кто-то с задней парты.

— Хастус,— машинально повторил я.

— Что вы говорите? Где ваша голова? Надо думать, а не слушать, что глупый мальчишка подсказывает. Давайте вашу тетрадь.

— Я позабыл тетрадь, Эльза Францисковна, приготовил уроки, только позабыл все книги и тетради. Я принесу их вам на перемене.

— Как можно забывать все книги и тетради? — возмутилась немка.— Вы не забыли, а вы обманываете. Останетесь за это на час после уроков.

— Эльза Францисковна,— сказал я возмущенно,— меня и так уже сегодня инспектор на два часа оставил. Куда же еще на час? Что мне, до ночи сидеть, что ли?

В ответ учительница разразилась длиннейшей немецкой фразой, из которой я едва понял, что леность и ложь должны быть наказуемы, и хорошо понял, что третьего часа отсидки мне не избежать.

На перемене ко мне подошел Федька:

— Ты что же это без книг и почему тебя Семен в класс привел?

Я соврал ему что-то. Следующий, последний урок — географии — я провел в каком-то полусне. Что говорил учитель, что ему отвечали — все это прошло мимо моего сознания, и я очнулся, только когда задребезжал звонок.

Дежурный прочел молитву. Ребята, хлопая крышками парт, один за другим вылетели за двери. Класс опустел. Я остался один. «Боже мой,— подумал я с тоской,— еще три часа... целых три часа, когда дома отец, когда все так странно...»

Я спустился вниз. Там возле учительской стояла длинная, узкая, вся изрезанная перочинными ножами скамья. На ней уже сидели трое. Один первоклассник, оставленный на час за то, что запустил в товарища катышком из жеваной бумаги, другой — за драку, третий — за то, что с лестницы третьего этажа старался попасть плевком в макушку проходившего внизу ученика.

Я сел на лавку и задумался. Мимо, громыхая ключами, прошел сторож Семен.

Вышел дежурный надзиратель, время от времени

присматривавший за наказанными, и, лениво зевнув, скрылся.

Я тихонько поднялся и через дверь учительской заглянул на часы. Что такое? Прошло всего-навсего только полчаса, а я-то был уверен, что сижу уже не меньше часа.

Внезапно преступная мысль пришла мне в голову: «Что же это, на самом деле? Я не вор и не сижу под стражей. Дома у меня отец, которого я не видел два года и теперь должен увидеть при такой странной и загадочной обстановке, а я, как арестант, должен сидеть здесь только потому, что это взбрело на ум инспектору и немке?» Я встал, но тотчас же заколебался. Самовольно уйти, будучи оставленным,— это было у нас одним из тягчайших школьных преступлений.

«Нет, подожду уж»,— решил я и направился к скамье.

Но тут приступ непонятной злобы овладел мной. «Все равно,— подумал я,— вон отец с фронта убежал...— тут я криво усмехнулся,— а я отсюда боюсь».

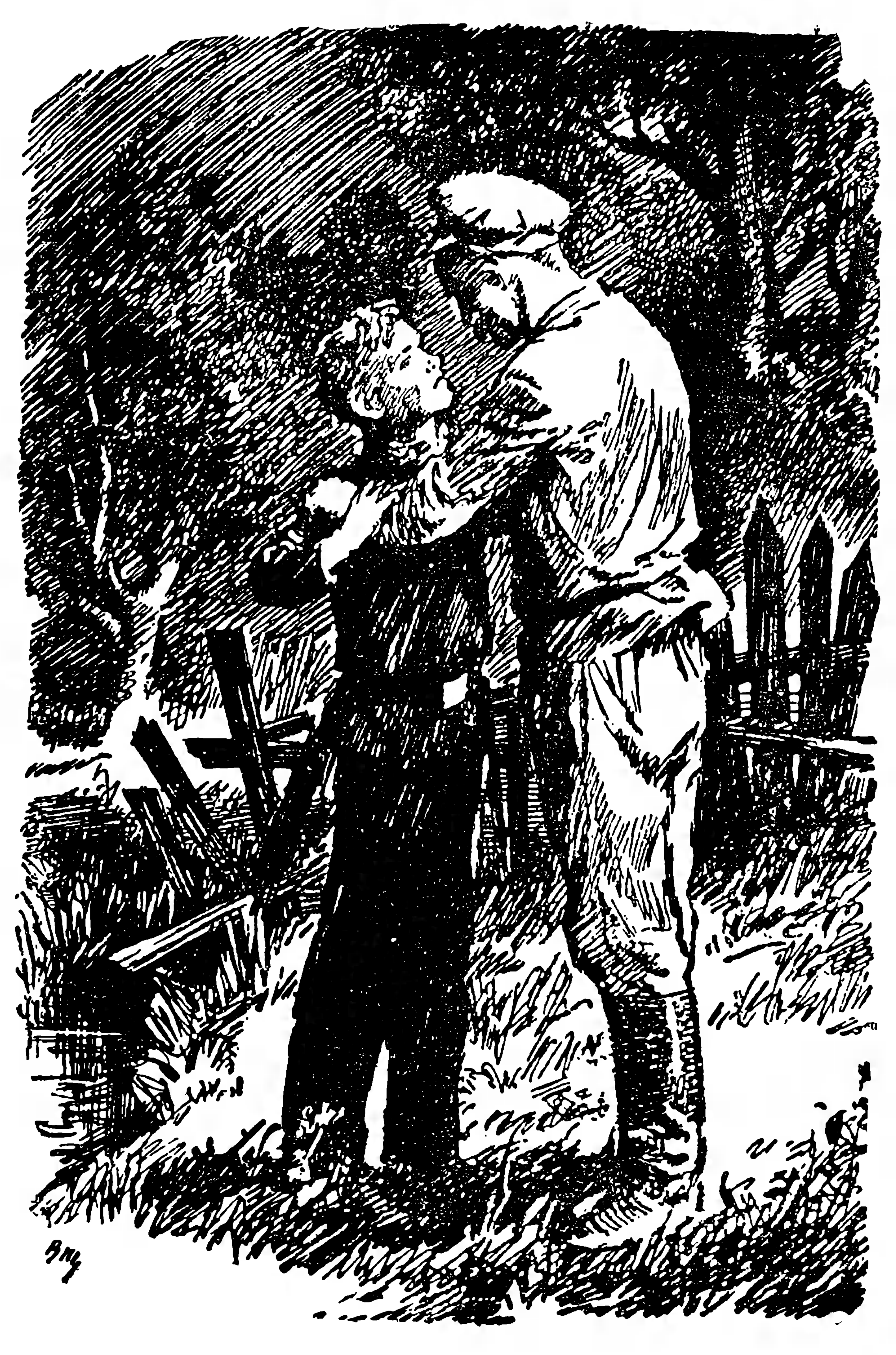
Я побежал к вешалке, кое-как накинул шинель и, тяжело хлопнув дверью, выскочил на улицу.

На многое в тот вечер старался раскрыть мне глаза отец.

— Папа,— спросил я,— а ведь, прежде чем бежать с фронта, ты был смелым, ты ведь не из страха убежал?

— Я и сейчас не трус.— Он сказал это спокойно, но я невольно повернул голову к окну и вздрогнул.

С противоположной стороны прямо к нашему дому шел полицейский. Шел он медленно, вперевалку. Дошел до середины улицы и свернул вправо, направившись к базарной площади, вдоль мостовой.



На многое в тот вечер старался раскрыть мне глаза отец.

— Он... не... к нам,— сказал я отрывисто, чуть не по слогам, и учащенно задышал.

На другой день вечером отец говорил мне:

— Борька, со дня на день к вам могут нагрянуть гости. Спрячь подальше игрушку, которую я тебе прислал. Держись крепче! Ты у меня вон уже какой взрослый. Если тебе будут в школе неприятности из-за меня, плюнь на все и не бойся ничего, следи внимательней за всем, что происходит вокруг, и ты поймешь тогда, о чем я тебе говорил.

— Мы увидимся еще, папа?

— Увидимся. Я буду здесь иногда бывать, только не у вас.

— А где же?

— Узнаешь. Когда надо будет, вам передадут.

Было уже совсем темно, но у ворот на лавочке сидел сапожник с гармоникой, а возле него гомонила целая куча девок и ребят.

— Мне бы пора уже,— сказал отец, заметно волнуясь,— как бы не опоздать.

— Они, папа, до поздней ночи, должно быть, не уйдут, потому что сегодня суббота.

Отец нахмурился.

— Вот еще беда-то. Нельзя ли, Борис, где-нибудь через забор или через чужой сад пролезть? Ну-ка подумай... Ты ведь должен все дыры знать.

— Нет,— ответил я,— через чужой сад нельзя. Слева, у Аглаковых, забор высоченный и с гвоздями, а справа можно бы, но там собака, как волк, злющая... Вот что. Если ты хочешь, то спустимся со мной к пруду, там у меня плот есть, я тебя перевезу задами прямо к оврагу. Сейчас темно, никто не разберет, и место там глухое.

Под грузной фигурой отца плот осел, и вода залила нам подошвы. Отец стоял не шевелясь. Плот бесшумно скользил по черной воде. Шест то и дело застревал в вязком, илистом дне. Я с трудом вытаскивал его из заплесневевшей воды.

Два раза я пробовал пристать к берегу, и все неудачно — дно оврага было низкое и мокрое. Тогда я взял правее и причалил к крайнему саду.

Сад этот был глух, никем не охранялся, и заборы его были поломаны.

Я проводил отца до первой дыры, через которую можно было выбраться в овраг. Здесь мы распрощались.

Я постоял еще несколько минут. Хруст веток под отцовскими тяжелыми шагами становился все тише и тише.

## *Глава восьмая*

Через три дня мать вызвали в полицию и сообщили ей, что ее муж дезертировал из части. С матери взяли подписку в том, что сведений «о его настоящем местонахождении она не имеет, а если будет иметь, то обязуется немедленно сообщить об этом властям».

Через сына полицмейстера в училище на другой же день стало известно, что мой отец — дезертир.

На уроке закона божьего отец Геннадий произнес небольшую поучительную проповедь о верности царю и отечеству и ненарушимости присяги. Кстати же он рассказал исторический случай, как во время японской войны один солдат, решившись спасти свою жизнь, убежал с поля битвы, однако вместо спасения обрел смерть от зубов хищного тигра.

Случай этот, по мнению отца Геннадия, несомненно

доказывал вмешательство провидения, которое достойно покарало беглеца, ибо тигр тот, вопреки обыкновению, не сожрал ни одного куска, а только разодрал солдата и удалился прочь.

На некоторых ребят проповедь эта произвела сильное впечатление. Во время перемены Христька Торопыгин высказал робкое предположение, что тигр тот, должно быть, вовсе был не тигр, а архангел Михаил, принявший образ тигра.

Однако Симка Горбушкин усомнился в том, чтобы это был Михаил, потому что у Михаила ухватки вовсе другие: он не зубами, а рубит мечом или колет копьем.

Большинство согласилось с этим, потому что на одной из священных картин, развешанных по стенам класса, была изображена битва ангелов с силами ада. На картине архангел Михаил был с копьем, на котором корчились уже четыре черта, а три других, задрав хвосты, во весь дух неслись к своим подземным убежищам.

Через два дня мне сообщили, что за самовольный побег из школы учительский совет решил поставить мне тройку за поведение.

Тройка обычно обозначала, что при первом же замечании ученик исключается из училища.

Через три дня мне вручили повестку, в которой говорилось о том, что моя мать должна немедленно полностью внести за меня плату за первое полугодие, от которой я был раньше освобожден наполовину как сын солдата.

Наступили тяжелые дни. Позорная кличка «дезертиров сын» крепко укрепилась за мной. Многие ученики перестали со мной дружить. Другие хотя и разговаривали и не чуждались, но как-то странно обращались

со мной, как будто мне отрезало ногу или у меня дома покойник. Постепенно я отдалился от всех, перестал ввязываться в игры, участвовать в набегах на соседние классы и бывать в гостях у товарищей.

Длинные осенние вечера я проводил у себя дома или у Тимки Штукина среди его птиц.

Я очень сдружился с Тимкой за это время. Его отец был ласков со мной. Только мне непонятно было, почему он иногда начнет сбоку пристально смотреть на меня, потом подойдет, погладит по голове и уйдет, позвякивая ключами, не сказав ни слова.

Наступило странное и оживленное время. В городе удвоилось население. Очереди у лавок растянулись на кварталы. Повсюду, на каждом углу, собирались кучки. Одна за другой тянулись процессии с чудотворными иконами. Внезапно возникали всевозможные нелепые слухи. То будто бы на озерах вверх по реке Сереже староверы уходят в лес. То будто бы внизу, у бугров, цыгане сбывают фальшивые деньги и оттого все так дорого, что расплодилась уйма фальшивых денег. А один раз пронеслось тревожное известие, что в ночь с пятницы на субботу будут «бить жидов», потому что война затягивается из-за их шпионажа и измен.

Невесть откуда появилось в городе много бродяг. Только и слышно стало, что там замок сбили, там квартиру очистили. Приехало на постой полсотни казаков. Когда казаки, хмурые, чубастые, с дикой, взвизгивающей и гикающей песней, плотными рядами ехали по улице, мать отшатнулась от окна и сказала:

— Давненько я их... с пятого года уже не видала. Опять орлами сидят, как в те времена.

От отца мы не имели никаких известий. Догадывался я, что он, должно быть, в Сормове, под Нижним

Новгородом, но эта догадка была основана у меня только на том, что перед уходом отец долго и подробно расспрашивал у матери о ее брате Николае, работавшем на вагоностроительном заводе.

Однажды, уже зимою, в школе ко мне подошел Тимка Штукин и тихонько поманил меня пальцем. Меня скорее удивила, чем заинтересовала его таинственность, и я равнодушно пошел за ним в угол.

Оглянувшись, Тимка сказал мне шепотом:

— Сегодня под вечер приходи к нам. Мой батька обязательно велел прийти.

— Зачем я ему нужен? Что ты еще выдумал?

— А вот и не выдумал. Приходи обязательно, тогда узнаешь.

Лицо у Тимки при этом было серьезное, казалось даже немного испуганным, и я поверил, что Тимка не шутит.

Вечером я отправился на кладбище. Кружила метель; тусклые фонари, залепленные снегом, почти вовсе не освещали улицы. Для того чтобы попасть к перелеску и на кладбище, надо было перейти небольшое поле. Острые снежинки покалывали лицо. Я глубже засунул голову в воротник и зашагал по заметенной тропке к зеленому огоньку лампадки, зажженной у ворот кладбища. Зацепившись ногой за могильную плиту, я упал и весь вывалялся в снегу. Дверь сторожки была заперта. Я постучал — открыли не сразу, мне пришлось постучаться вторично. За дверями послышались шаги.

— Кто там? — спросил меня строгий знакомый бас сторожа.

— Откройте, дядя Федор, это я.

— Ты, что ли, Борька?

— Да я же... Открывайте скорей.

Я вошел в тепло натопленную сторожку. На столе стоял самовар, блюдце с медом и лежала коврига хлеба. Тимка как ни в чем не бывало чинил клетку.

— Вьюга? — спросил он, увидев мое красное, мокрое лицо.

— Да еще какая! — ответил я.— Ногу я себе расшиб. Ничего не видно.

Тимка рассмеялся. Мне было непонятно, чему он смеется, и я удивленно посмотрел на него. Тимка рассмеялся еще звонче, и по его взгляду я понял, что он смеется не надо мною, а над чем-то, что находится позади меня. Обернувшись, я увидел сторожа, дядю Федора, и своего отца.

— Он уже у нас два дня,— сказал Тимка, когда мы сели за чай.

— Два дня... И ты ничего не сказал мне раньше! Какой же ты после этого товарищ, Тимка?

Тимка виновато посмотрел сначала на своего, потом на моего отца, как бы ища у них поддержки.

— Камень,— сказал сторож, тяжелой рукой хлопая сына по плечу.— Ты не смотри, что он такой невидный, на него положиться можно.

Отец был в штатском. Он был весел, оживлен. Расспрашивал меня о моих училищных делах, поминутно смеялся и говорил мне:

— Ничего... ничего... плюнь на все. Время-то, брат, какое подходит, чувствуешь?

Я сказал ему, что чувствую, как при первом же замечании меня вышибут из школы.

— Ну и вышибут,— хладнокровно заявил он,— велика важность! Было бы желание да голова, тогда и без школы дураком не останешься.

— Папа,— спросил я его,— отчего ты такой веселый и гогочешь? Тут про тебя и батюшка проповедь читал, и все-то тебя как за покойника считают, а ты вон какой!

С тех пор как я стал невольным сообщником отца, я и разговаривал с ним по-другому: как со старшим, но равным. Я видел, что отцу это нравится.

— Оттого веселый, что времена такие веселые подходят. Хватит, поплакали!.. Ну ладно. Кати теперь домой! Скоро опять увидимся.

Было поздно. Я попрощался, надел шинель и выскочил на крыльцо. Не успел еще сторож спуститься и закрыть за мной засов, как я почувствовал, что кто-то отшвырнул меня в сторону с такой силой, что я полетел головой в сугроб. Тотчас же в сенях раздался топот, свистки, крики. Я вскочил и увидел перед собой городового Евграфа Тимофеевича, сын которого, Пашка, учился со мной еще в приходском.

— Постой,— сказал он, узнав меня и удерживая за руку.— Куда ты? Там и без тебя обойдутся. Возьми-ка у меня конец башлыка да оботри лицо. Ты уж, упаси бог, не ушибся ли головой?

— Нет, Евграф Тимофеевич, не ушибся,— прошептал я.— А как же папа?

— Что же папа? Против закона никто не велел ему идти. Разве же против закона можно?

Из сторожки вывели связанного отца и сторожа. Позади них с шинелью, накинутой на плечи, но без шапки, плелся Тимка. Он не плакал, а только как-то странно вздрагивал.

— Тимка,— строго сказал сторож,— переночуешь у крестного, да скажи ему, чтобы он за домом посмотрел, как бы после обыска чего не пропало.

Отец шел молча и низко наклонив голову. Руки его были связаны за спиной. Заметив меня, он выпрямился и крикнул мне подбадривающе:

— Ничего, сынка! Прощай пока! Мать поцелуй и Танюшку. Да не горюй очень: время, брат, идет... веселое!

## II. ВЕСЕЛОЕ ВРЕМЯ

### *Глава первая*

Двадцать второго февраля 1917 года военный суд шестого армейского корпуса приговорил рядового 12-го Сибирского стрелкового полка Алексея Горикова за побег с театра военных действий и за вредную, антиправительственную пропаганду к расстрелу.

Двадцать пятого февраля приговор был приведен в исполнение. А второго марта из Петрограда пришла телеграмма о том, что восставшим народом самодержавие свергнуто.

Первым хорошо видимым заревом разгорающейся революции было для меня зарево от пожара барской усадьбы Полутиных. С чердака дома я до полуночи глядел на огненные языки, дразнившие свежий весенний ветер. Тихонько поглаживая нагревшуюся в кармане рукоятку маузера, самую дорогую память от отца, я улыбался сквозь слезы, еще не высохшие после тяжелой утраты, радуясь, что «веселое время» подходит.

В первые дни Февральской революции школа была похожа на муравьиную кучу, в которую бросили горящую головешку. После молитвы о даровании победы часть ученического хора начала было, как и всегда,

гимн «Боже, царя храни», однако другая половина заорала «долой», засвистела, загикала. Поднялся шум, ряды учащихся смешались, кто-то запустил булкой в портрет царицы, а первоклассники, обрадовавшись возможности безнаказанно пошуметь, дико завыли котами и заблеяли козами.

Тщетно пытался растерявшийся инспектор перекричать толпу. Визг и крики не умолкали до тех пор, пока сторож Семен не снял царские портреты. С визгом и топотом разбегались взволнованные ребята по классам. Откуда-то появились красные банты. Старшеклассники демонстративно заправили брюки в сапоги (что раньше не разрешалось) и, собравшись возле уборной, нарочно, на глазах у классных наставников, закуривали. К ним подошел преподаватель гимнастики офицер Балагушин. Его тоже угостили папиросой. Он не отказался. При виде такого, доселе небывалого, объединения начальства с учащимися окружающие закричали «ура».

Однако из всего происходившего поняли сначала только одно: царя свергли и начинается революция. Но почему надо было радоваться революции, что хорошего в том, что свергли царя, перед портретом которого еще только несколько дней тому назад хор с воодушевлением распевал гимны,— этого большинство ребят, а особенно из младших классов, не понимало.

В первые дни уроков почти не было. Старшеклассники записывались в милицию. Им выдавали винтовки, красные повязки, и они гордо расхаживали по улицам, наблюдая за порядком. Впрочем, порядка никто нарушать и не думал. Колокола тридцати церквей гудели пасхальными перезвонами. Священники в блестящих ризах принимали присягу Временному правительству.

Появились люди в красных рубахах. Сын попа Ионы, семинарист Архангельский, два сельских учителя и еще трое, незнакомых мне, называли себя эсерами. Появились люди и в черных рубахах, в большинстве воспитанники старших классов учительской и духовной семинарий, называвшие себя анархистами.

Большинство обывателей в городе сразу примкнуло к эсерам. Немало этому способствовало то, что во время всенародной проповеди после многолетия Временному правительству соборный священник отец Павел объявил, что Иисус Христос тоже был и социалистом и революционером. А так как в городе у нас проживали люди благочестивые, преимущественно купцы, ремесленники, монахи и божьи странники, то, услышав такую интересную новость про Иисуса, они сразу же прониклись сочувствием к эсерам, тем более что эсеры насчет религии не особенно распространялись, а говорили больше про свободу и про необходимость с новыми силами продолжать войну. Анархисты хотя насчет войны говорили то же самое, но о боге отзывались плохо. Так, например, семинарист Великанов прямо заявил с трибуны, что бога нет, а если есть бог, то пусть он примет его, Великанова, вызов и покажет свое могущество. При этих словах Великанов задрал голову и плюнул прямо в небо. Толпа ахнула, ожидая, что вот-вот разверзнутся небеса и грянет гром на голову нечестивца. Но так как небеса не разверзлись, то из толпы послышались голоса, что не лучше ли, не дожидаясь небесных кар, своими силами набить морду анархисту. Услышав такие разговоры, Великанов быстро смылся с трибуны и благоразумно скрылся, получив всего только один толчок от богомолки Маремьяны Сергеевны, ехидной старушонки, продававшей целеб-

ное масло из лампад иконы Саровской божьей матери и сухарики, которыми пресвятой угодник Серафим Саровский собственноручно кормил диких медведей и волков.

В общем, меня поразило, как удивительно много революционеров оказалось в Арзамасе. Ну, положительно все были революционерами. Даже бывший земский начальник Захаров нацепил огромный красный бант, сшитый из шелка. В Петрограде и в Москве хоть бои были, полицейские с крыш стреляли в народ, а у нас полицейские добровольно отдали оружие и, одевшись в штатское, мирно ходили по улицам.

Однажды в толпе на митинге я встретился с Евграфом Тимофеевичем, тем самым городовым, который участвовал в аресте моего отца.

В руках у него была корзина, из который выглядывала бутылка постного масла и кочан капусты. Он стоял и слушал, о чем говорят социалисты. Заметив меня, приложил руку к козырьку и вежливо поклонился.

— Как живы-здоровы? — спросил он.— Что... тоже послушать пришли? Послушайте, послушайте... Ваше дело еще молодое! Нам, старикам, и то интересно... Вишь ты, как дело обернулось!

Я сказал ему:

— Помните, Евграф Тимофеевич, как вы приходили папу арестовывать? Вы тогда говорили, что закон, что против закона нельзя идти. А теперь где же ваш закон? Нету вашего закона, и всем вам, полицейским, тоже суд будет.

Он добродушно засмеялся, и масло в горлышке бутылки заколыхалось.

— И раньше был закон, и теперь тоже будет. А без закона, молодой человек, нельзя. А что судить нас бу-

дут, так это — пускай судят. Повесить — не повесят. Начальников наших и то не вешают... Сам государь император и то только под домашним арестом, а уж чего же с нас спрашивать!.. Вон, слышите? Оратор говорит, что не нужно никакой мести, что люди должны быть братьями и теперь, в свободной России, не должно быть ни тюрем, ни казней. Значит, и нам не будет ни тюрем, ни казней.

И ушел вперевалку.

Я посмотрел ему вслед и подумал: «Как же так не нужно?.. Неужели же, если бы отец вырвался из тюрьмы, он позволил бы спокойно расхаживать своему тюремщику и не тронул бы его только потому, что все люди должны быть братьями?»

Я спросил об этом Федьку.

— При чем тут твой отец? — сказал он.— Твой отец был дезертиром, и на нем все равно осталось пятно. Дезертиров и сейчас ловят. Дезертир — не революционер, а просто беглец, который не хочет защищать родину.

— Мой отец не был трусом,— ответил я бледнея.— Ты врешь, Федька! Моего отца расстреляли и за побег и за пропаганду. У нас дома есть приговор.

Федька смутился и ответил примирительно:

— Так что же, это я сам выдумал? Об этом во всех газетах пишут. Прочитай в «Русском слове» речь Керенского. Хорошая речь... Еще когда на общем собрании в женской гимназии читали, так ползáла плакало. Там про войну говорится, что надо напрягать все силы, что дезертиры — позор армии и что «над могилами павших в борьбе с немцами свободная Россия воздвигнет памятник неугасаемой славы». Так прямо сказано — «неугасаемой»! А ты еще споришь!

На трибуну один за другим выходили ораторы.

Охрипшими голосами они рассказывали о социализме. Тут же записывали желающих в партию и добровольцев на фронт. Были такие ораторы, которые, взобравшись на трибуну, говорили до тех пор, пока их не стаскивали. На их место выталкивали новых ораторов.

Я все слушал, слушал, и казалось мне, что от всего услышанного голова раздувается, как пустой бычий пузырь. Перепутывались речи отдельных ораторов. И никак я не мог понять, чем отличить эсера от кадета, кадета от народного социалиста, трудовика от анархиста, и из всех речей оставалось в памяти только одно слово:

— Свобода... свобода... свобода...

— Гориков,— услышал я позади себя и почувствовал, как кто-то положил мне руку на плечо.

Около меня стоял неизвестно откуда появившийся ремесленный учитель Галка.

— Откуда вы? — спросил я, искренне обрадовавшись.

— Из Нижнего, из тюрьмы. Идем, милый, ко мне. Я здесь неподалеку комнату снял. Будем чай пить, у меня есть булка и мед. Я так рад, что тебя увидел! Я только вчера приехал и сегодня хотел нарочно к вам зайти.

Он взял меня за руку, и мы стали проталкиваться через гомонливую толпу. На соседней площади мы наткнулись на новую толчею. Здесь горели костры, и вокруг них толпились любопытные.

— Что это такое?

— А, пустое,— ответил, улыбнувшись, Галка.— Анархисты царские флаги жгут. Лучше бы разодрали ситец да роздали, а то мужики ругаются. Сам знаешь, каждая тряпка теперь дорога.

Руки у Галки были худые и длинные. Заваривая чай, он говорил быстро, то и дело улыбаясь:

— Отец твой погиб рано. Мы с ним вместе сидели, пока его не отправили в корпусной суд.

— Семен Иванович,— спросил я за чаем,— вот вы говорите, что с отцом товарищами по партии были. Разве же он был в партии? Он мне про это никогда не говорил.

— Нельзя было говорить, вот и не говорил.

— И вы тоже не говорили. Когда вас арестовали, то про вас Петька Золотухин рассказывал, что вы шпион.

Галка засмеялся:

— Шпион! Ха-ха-ха! Петька Золотухин? Ха-ха! Золотухину простительно, он глупый мальчишка, а вот когда теперь про нас большие дураки распускают слухи, что мы шпионы,— это, брат, еще смешнее.

— Про кого это про вас, Семен Иванович?

— А про нас, про большевиков.

Я покосился на него.

— Так вы разве большевики, то есть, я хочу сказать, значит, и отец тоже был большевиком?

— Тоже.

— И что это с отцом все не по-людски выходит? — огорченно спросил я, немного подумав.

— Как не по-людски?

— А так. Другие солдаты как солдаты, революционеры так уж революционеры, никто про них ничего плохого не говорит, все их уважают. А отец — то дезертиром был, то вдруг оказывается большевиком. Почему большевиком, а не настоящим революционером, ну, хотя бы эсером или анархистом? А вот, как назло, большевиком. То хоть бы я мог сказать в ответ всем,

что моего отца расстреляли за то, что он был революционером, и все бы заткнули рты и никто бы не тыкал в меня пальцем, а то я если скажу, что расстреляли отца как большевика, так каждый скажет — туда ему и дорога, потому что во всех газетах напечатано, что большевики — немецкие наемники и ихний Ленин у Вильгельма на службе.

— Да кто «каждый»-то скажет? — спросил Галка, во время моей горячей речи смотревший на меня смеющимися глазами.

— Да каждый. Кто ни попадется. Все соседи и батюшка на проповеди, вот и ораторы...

— Соседи!.. Ораторы!..— перебил меня Галка.— Глупый! Да отец твой был в десять раз более настоящим революционером, чем все эти ораторы и соседи. Какие у тебя соседи? Монахи, выездновские лабазники, купцы, божьи странники, базарные мясники да мелкие обыватели. Ведь в том-то и беда, что среди соседей твоих редко-редко сто́ящего человека найдешь. Мы всю эту ораву и не агитируем даже. Пусть перед ними эти краснорубахие пустозвоны рассыпаются. Нам здесь времени терять нечего, потому что монахи да лабазники все равно нашими помощниками не будут! Ты погоди, вот я тебя сведу, куда мы на митинги ходим. В бараки к раненым, в казармы к солдатам, на вокзал, в деревни. Ты вот там послушай! А тут — нашел судей... Соседи!

Галка рассмеялся.

Отца Тимки Штукина освободили еще в начале революции, но прежнего места ему не возвратили, и церковный староста Синюгин приказал ему немедленно освободить сторожку для вновь нанятого человека.

Никто из купцов не хотел принимать сторожа на работу. Ткнулся он к одному, к другому — нет ли места истопника или дворника,— ничего не вышло.

Синюгин, так тот прямо заявил:

— Я русской армии помогаю. Тысячу рублей на Красный Крест пожертвовал да одних подарков, флажков и портретов Александра Федоровича Керенского больше чем на две сотни в лазареты роздал, а ты дезертиров разводишь. Нет у меня для тебя места.

Не стерпел сторож и ответил:

— Покорно вас благодарю за такие слова. А только дозвольте вам заметить, что ни флажками, ни портретами вы не откупитесь, придет и на вас управа. И ты на меня не гикай! — рассердился внезапно дядя Федор.— Ты думаешь, пузо нарастил, телескоп завел, крокодила говядиной кормишь — так царь и бог? Погоди, послушай-ка лучше, что на твоих фабриках народ поговаривает. Ударили, мол, да мало, не дать ли подбавки?

— Я тебя... я тебя упеку! — забормотал ошеломленный Синюгин.— Вот оно что!.. Я на тебя жалобу... У меня завод на армию работает. Меня и теперешнее начальство ценит, а ты... Пошел вон отсюда!

Сторож надел шапку и вышел.

— Революцию устроили... Вся сволочь на прежнем месте. И упечет еще, когда он и с воинским начальником и в городской думе. На них с гвоздями надо, чтобы продрало. Патриот...— бурчал он, шагая по улицам.— На гнилых сапогах тысячи нажил. Сына-то своего откупил от службы. Воинскому триста сунул да госпитальному доктору пятьсот — сам, пьяный, хвастался. Все вы хороши чужими руками воевать. Портреты Александра Федоровича купил. Взять бы вас с

вашим Александром Федоровичем — на одну осину! Дождались свободы... С праздничком вас Христовым!

Все точно перебесились. Только и было слышно: «Керенский, Керенский...»

В каждом номере газеты помещались его портреты: «Керенский говорит речь», «Население устилает путь Керенского цветами», «Восторженная толпа женщин несет Керенского на руках». Член арзамасской городской думы Феофанов ездил по делам в Москву и за руку поздоровался с Керенским. За Феофановым табунами бегали.

— Да неужели же так и поздоровался?

— Так и поздоровался,— гордо отвечал Феофанов.

— Прямо за руку?

— Прямо за правую руку, да потряс еще.

— Вот! — раздавался кругом взволнованный шепот.— Царь бы ни за что не поздоровался, а Керенский поздоровался. К нему тысячи людей за день приходят, и со всеми он за руку, а раньше бы...

— Раньше был царизм.

— Ясно. А теперь свобода.

— Ура! Ура! Да здравствует свобода!.. Да здравствует Керенский!.. Послать ему приветственную телеграмму.

Надо сказать, что к этому времени каждая десятая телеграмма, проходившая через почтовую контору, была приветственной и адресованной Керенскому. Посылали с митингов, с училищных собраний, с заседаний церковного совета, от думы, от общества хоругвеносцев — ну, положительно отовсюду, где собиралось несколько человек, посылалась приветственная телеграмма.

Однажды пошли слухи о том, что от арзамасского общества любителей куроводства «дорогому вождю» не было послано ни одной телеграммы. В местной еженедельной газетке появилось негодующее опровержение председателя общества Офендулина. Офендулин прямо утверждал, что слухи эти — злостная клевета. Было послано целых две телеграммы, причем в особой сноске редакция удостоверяла, что в подтверждение своего опровержения уважаемый М. Я. Офендулин представил «оказавшиеся в надлежащем порядке квитанции почтово-телеграфной конторы».

## *Глава вторая*

Прошло несколько месяцев с тех пор, как я встретился с Галкой.

На Сальниковой улице, рядом с огромным зданием духовного училища, стоял маленький, окруженный садиком домик. Обыватели, проходя мимо его распахнутых окон, через которые виднелись окутанные махорочным дымом лица, прибавляли шагу и, удалившись на квартал, злобно сплевывали:

— Здесь заседают провокаторы!

Здесь находился клуб большевиков. Большевиков в городе было всего человек двадцать, но домик всегда был набит до отказа. Вход в него был открыт для всех, но главными завсегдатаями здесь были солдаты из госпиталя, пленные австрийцы и рабочие кожевенной и кошмовальной фабрик.

Почти все свободное время проводил там и я. Сначала я ходил туда с Галкой из любопытства, потом по привычке, потом втянуло, завертело и ошарашило. Точно очистки картофеля под острым ножом, выле-

тала вся шелуха, которой до сих пор была забита моя голова.

Наши большевики не выступали на церковных диспутах и на митингах среди краснорядцев — они собирали толпы у бараков, за городом и в измученных войной деревнях.

Помню, однажды в Каменке был митинг.

— Пойдем обязательно! Схватка будет. От эсеров сам Кругликов выступает. А знаешь, как он поет,— заслушаешься,— сказал мне Галка.— В Ивановском после его речи нам, не разобравшись, сначала чуть было по шее мужики не наклали.

— Пойдемте,— обрадовался я.— Вы чего, Семен Иванович, никогда с собой свой револьвер не берете? Всегда он у вас где попало: то в табак засунете, а вчера я его у вас в хлебнице видел. У меня мой так всегда со мной. Я даже, когда спать ложусь, под подушку его кладу.

Галка засмеялся, и борода его, засыпанная махоркой, заколыхалась.

— Мальчуган! — сказал он.— Ежели теперь в случае неудачи мне просто шею набьют, то попробуй вынуть револьвер, тогда, пожалуй, и костей не соберешь. Придет время, и мы возьмемся за револьверы, а пока наше лучшее оружие — слово. Баскаков сегодня от наших выступать будет.

— Что вы! — удивился я.— Баскаков вовсе плохо говорит. Он и фразы-то с трудом подбирает. У него от слова до слова пообедать можно.

— Это он здесь, а ты послушай, как он на митингах разговаривает.

Дорога в Каменку пролегала через старый, подгнивший мост, мимо покрытых еще не скошенной тра-

вой заливных лугов и мимо мелких протоков, заросших высоким густым камышом. Тянулись из города крестьянские подводы. Шли с базара босоногие бабы с пустыми кринками из-под молока. Мы не торопились, но, когда нас обогнала пролетка, до отказа набитая эсерами, мы прибавили шагу.

По широким улицам со всех концов двигались к площади кучки мужиков из соседних селений. Митинг еще не начинался, но гомон и шум слышны были издалека.

В толпе я увидел Федьку. Он шнырял взад-вперед и совал проходившим какие-то листовки. Заметив меня, он подбежал:

— Эгей! И ты пришел... Ух, сегодня и весело будет! Нá вот, возьми пачку и помогай раздавать.

Он сунул мне десяток листовок. Я развернул одну — листовки были эсеровские, за войну до победы и против дезертирства. Я протянул пачку обратно:

— Нет, Федька, я не буду раздавать такие листовки. Раздавай сам, когда хочешь.

Федька плюнул:

— Дурак ты... Ты что, тоже с ними? — И он мотнул головой в сторону проходивших Галки и Баскакова.— Тоже хорош... Нечего сказать. А я-то еще на тебя надеялся!

И, презрительно пожав плечами, Федька исчез в толпе.

«Он на меня надеялся,— усмехнулся я.— Что, у меня своей головы, что ли, нет?»

— До победы...— услышал я рядом с собой негромкий голос.

Обернувшись, я увидел рябого мужика без шапки. Он был босиком, в одной руке держал листовку, в другой — разорванную уздечку. Должно быть, он был за-

нят починкой и вышел из избы послушать, о чем будет говорить народ.

— До победы... ишь ты! — как бы с удивлением повторил он и обвел толпу недоумевающим взглядом.

Покачал головой, сел на завалинку и, тыкая пальцем в листовку, прокричал на ухо сидевшему рядом глухому старику:

— Опять до победы... С четырнадцатого года — и все до победы. Как это выходит, дедушка Прохор?

Выкатили на середину площади телегу. Влез неизвестно кем выбранный председатель — маленький, вертлявый человечек — и прокричал:

— Граждане! Объявляю митинг открытым. Слово для доклада о Временном правительстве, о войне и текущем моменте предоставляется социалисту-революционеру товарищу Кругликову...

Председатель соскочил с телеги. С минуту на «трибуне» никого не было. Вдруг разом вскочил, стал во весь рост и поднял руку Кругликов. Гул умолк.

— Граждане великой свободной России! От имени партии социалистов-революционеров передаю вам пламенный привет.

Кругликов заговорил. Я слушал его, стараясь не проронить ни слова.

Он говорил о тех тяжелых условиях, в которых приходится работать Временному правительству. Германцы напирают, фронт, темные силы — немецкие шпионы и большевики — ведут агитацию в пользу Вильгельма.

— Был царь Николай, будет Вильгельм. Хотите ли вы опять царя? — спрашивал он.

— Нет, хватит! — сотнями голосов откликнулась толпа.



Кругликов заговорил. Я слушал его, стараясь не проронить ни слова.

— Мы устали от войны,— продолжал Кругликов.— Разве нам не надоела война? Разве же не пора ее окончить?

— Пора! — еще единодушней отозвалась толпа.

— Что он говорит по чужой программе? — возмущенно зашептал я Галке.— Разве они тоже за конец войны?

Галка ткнул меня легонько в бок: «Помалкивай и слушай».

— Пора! Ну, так вот видите,—продолжал эсер,— вы все, как один, говорите это. А большевики не позволяют измученной стране скорее, с победой, окончить войну. Они разлагают армию, и армия становится небоеспособной. Если бы у нас была боеспособная армия, мы бы одним решительным ударом победили врага и заключили мир. А теперь мы не можем заключить мир. Кто виноват в этом? Кто виноват в том, что ваши сыновья, братья, мужья и отцы гниют в окопах, вместо того чтобы вернуться к мирному труду? Кто отдаляет победу и удлиняет войну? Мы, социалисты-революционеры, во всеуслышание заявляем: да здравствует последний, решительный удар по врагу, да здравствует победа революционной армии над полчищами немца, и после этого — долой войну и да здравствует мир!

Толпа тяжело дышала клубами махорки; слышались отдельные одобрительные возгласы.

Кругликов заговорил об Учредительном собрании, которое должно быть хозяином земли, о вреде самочинных захватов помещичьих земель, о необходимости соблюдать порядок и исполнять приказы Временного правительства. Тонкой искусной паутиной он оплетал головы слушателей. Сначала он брал сторону крестьян-

ства, напоминал ему о его нуждах. Когда толпа начинала сочувственно выкрикивать: «Правильно!», «Верно говоришь», «Хуже уж некуда!», Кругликов начинал незаметно поворачивать. Внезапно оказывалось, что толпа, которая только что соглашалась с ним в том, что без земли крестьянину нет никакой свободы, приходила к выводу, что в свободной стране нельзя захватом отбирать у помещиков землю.

Свою полуторачасовую речь он кончил под громкий гул аплодисментов и ругательств по адресу шпионов и большевиков.

«Ну,— подумал я,— куда Баскакову с Кругликовым тягаться! Вон как все расходились».

К моему удивлению, Баскаков стоял рядом, пыхтел трубкой и не обнаруживал ни малейшего намерения влезать на трибуну.

Столпившиеся возле телеги эсеры тоже были несколько озадачены поведением большевиков. Посовещавшись, они решили, что большевики поджидают еще кого-то, и потому выпустили нового оратора. Оратор этот был намного слабее Кругликова. Говорил он запинаясь, тихо и, главное, повторял уже сказанное. Когда он слез, хлопков ему было меньше.

Баскаков все стоял и продолжал курить. Его узкие, продолговатые глаза были прищурены, а лицо имело добродушно-простоватый вид и как бы говорило: «Пусть их там болтают. Мне-то какое до этого дело! Я себе покуриваю и никому не мешаю».

Третий оратор был не сильнее второго, и, когда он сходил, большинство слушателей засвистело, загикало и заорало:

— Эй, там... председатель!

— Ты, чертова башка! Давай других ораторов!

— Подавай сюда этих большевиков! Что ты им слова не даешь?

В ответ на такое обвинение председатель возмущенно заявил, что слово он дает всем желающим, а большевики сами не просят слова, потому что боятся, должно быть, и он не может их заставить силой говорить.

— Ты не можешь, так мы сможем!

— Наблудили и хоронятся!

— Тащи их за ворот на телегу! Пусть при народе выкладывают всё начистоту...

Рев толпы испугал меня. Я взглянул на Галку. Он улыбался, но был бледен.

— Баскаков,— проговорил он,— хватит. А то плохо кончиться может.

Баскаков кашлянул, как будто у него в горле разорвалось что-то, сунул трубку в карман и вперевалку мимо расступающейся озлобленной толпы пошел к телеге.

Говорить он начал не сразу. Равнодушно посмотрев на толпившихся возле телеги эсеров, он вытер ладонью лоб, потом обвел глазами толпу, сложил огромный кулак дулею, выставил его так, чтобы всем он был виден, и спросил спокойно, громко и с издевкою:

— А этого вы не видали?

Такое необычайное начало речи смутило меня. Удивило оно сразу и мужиков.

Почти тотчас же раздались негодующие выкрики:

— Это штой-то?

— Ты што людям кукиш выставил?

— Ты, пес тебя возьми, словами отвечай, а не фигой, а то по шее получишь!

— Этого не видали? — начал опять Баскаков.—Ну, так не горюйте. Они...— тут Баскаков мотнул головой

на эсеров,— они вам почище покажут. Па-а-ду-маешь!..— протянул Баскаков, сощуривая глаза и качая головой.— Па-адумаешь!.. Развесили уши граждане свободной России. А скажите мне, граждане, какая вам есть польза от этой революции? Война была — война есть. Земли не было — земли нет. Помещик жил рядом — жил. А сейчас живет? Живет, живет. Что ему сделается? Вы не гикайте, не храбритесь. Помещика и это правительство в обиду не даст. Вон спросите-ка у водоватовских: пробовали было они до барской земли сунуться, а там отряд. Покрутились, покрутились около — хоть и хороша землица, да не укусишь. Триста лет, говорите, терпели, так еще мало, еще терпеть захотели? Что ж, терпите. Господь терпеливых любит. Дожидайтесь, пока помещик сам к вам придет и поклонится: «А не надо ли вам землицы? Возьмите Христа ради». Ой, дождетесь ли только? А слыхали ли вы, что в Учредительном собрании, когда оно соберется, обсуждать вопрос будут: «Как отдать землю крестьянину — без выкупа либо с выкупом?» А ну-ка, придете домой, посчитайте у себя деньжата, хватит ли выкупить? На то, по-вашему, революция произошла, чтобы свою землю у помещиков выкупать? Да на кой пес, я вас спрашиваю, такая революция нужна была? Разве же без нее нельзя было за свои деньги земли купить?

— Какой еще выкуп! — послышались из толпы рассерженные и встревоженные голоса.

— А вот какой...— Тут Баскаков вынул из кармана смятую листовку и прочел:—«Справедливость требует, чтобы за земли, переходящие от помещиков к крестьянам, землевладельцы получили вознаграждение». Вот какой выкуп. Пишут это от партии кадетов, а она тоже будет заседать в Учредительном. Она тоже своего доби-

ваться будет. А вот как мы, большевики, по-простому говорим: неча нам ждать Учредительного, а давай землю сейчас, чтобы никакого обсуждения не было, никакой оттяжки и никакого выкупа! Хватит... выкупили.

— Вы-икупили!..— сотнями голосов ахнула толпа.

— Какие еще могут быть обсуждения? Этак, может, и опять ничего не достанется.

— Да замолчите вы, окаянные!.. Хай большевик говорит! Может, он еще что-нибудь этакое скажет.

Раскрыв рот, я стоял возле Галки. Внезапный прилив радости и гордости за Баскакова нахлынул на меня.

— Семен Иванович! — крикнул я, дергая Галку за рукав.— А я-то думал... Как он с ними... Он даже не речь держит, а просто разговаривает.

«Ой, какой хороший и какой умный Баскаков!» — думал я, слушая, как падают его спокойные, тяжелые слова в гущу взволнованной толпы.

— Мир после победы? — говорил Баскаков.— Что же, дело хорошее. Завоюем Константинополь. Ну прямо как до зарезу нужен нам этот Константинополь! А то еще и Берлин завоюем. Я тебя спрашиваю,— тут Баскаков ткнул пальцем в рябого мужичка с уздечкой, пробравшегося к трибуне,— я спрашиваю: что у тебя немец либо турок взаймы, что ли, взяли и не отдают? Ну, скажи мне на милость, дорогой человек, какие у тебя дела могут быть в Константинополе? Что ты, картошку туда на базар продавать повезешь? Чего же молчишь?

Рябой мужичок покраснел, заморгал и, разводя руками, ответил негодующим голосом:

— Да мне же вовсе и не нужен... Да зачем же он мне сдался?

— Тебе не нужен, ну и мне не нужен и им, никому не нужен! А нужен он купцам, чтобы торговать им, видишь, прибыльней было. Так им нужен, пускай они и завоевывают. А мужик тут при чем? Зачем у вас полдеревни на фронт угнали? Затем, чтобы купцы прибыль огребали! Дурни вы, дурни! Большие, бородатые, а всякий вас вокруг пальца окрутить может.

— А ей-богу же, может! — хлопая себя руками, прошептал рябой мужик.—Ей-богу, может.—И, вздохнув глубоко, он понуро опустил голову.

— Так вот мы и говорим вам,— заканчивал Баскаков,— чтобы мир не после победы, не после дождичка в четверг, не после того, когда будут изувечены еще тысячи рабочих и мужиков, а давайте нам мир сейчас, без всяких побед. Мы еще и на своей земле помещика не победили. Так я говорю, братцы, или нет? Ну, а теперь пусть, кто не согласен, выйдет на это место и скажет, что я соврал, что я неправду сказал, а мне вам говорить больше нечего!

Помню: заревело, застонало. Выскочил побледневший эсер Кругликов, замахал руками, пытаясь что-то сказать. Спихнули его с телеги. Баскаков стоял рядом и закуривал трубку, а рябой мужик, тот, у которого Баскаков спрашивал, зачем ему нужен Константинополь, тянул его за рукав, зазывая в избу чай пить.

— С медом! — каким-то почти умоляющим голосом говорил он.— Осталось маненько. Не обидь же, товарищ! И они, ваши, пускай тоже идут.

Пили кипяток, заваренный сушеной малиной. В избе вкусно пахло сотами.

Мимо окон по пыльной дороге прокатила обратно бричка, набитая эсерами. Наступал сухой, душный

вечер. Далеко в городе гудели колокола. Черные монахи тридцати церквей возносили молитвы об успокоении бунтующейся земли.

### *Глава третья*

Я пошел на кладбище проститься с Тимкой Штукиным. Вместе с отцом он уезжал на Украину, к своему дяде, у которого был где-то возле Житомира небольшой хутор.

Вещи были сложены. Отец ушел за подводой. Тимка казался веселым. Он не мог стоять на месте, поминутно бросался то в один, то в другой угол, точно хотел напоследок еще раз осмотреть стены сторожки, в которой он вырос.

Но мне казалось, что Тимка не по-настоящему веселый и с трудом удерживается, чтобы не расплакаться. Птиц своих он распустил.

— Всех... Все разлетелись,— говорил Тимка.— И малиновка, и синицы, и щеглы, и чиж. Я, Борька, знаешь, больше всего чижа любил. Он у меня совсем ручной был. Я открыл дверку клетки, а он не вылетает. Я шугнул его палочкой... Взметнулся он на ветку тополя да как запоет, как запоет!.. Я сел под дерево, клетку на сучок повесил. Сижу, а сам про все думаю: и как мы жили, и про птиц, и про кладбище, и про школу, как все кончилось и уезжать приходится. Долго сидел думал, потом встаю, хочу взять клетку. Гляжу, а на ней мой чижик сидит. Спустился, значит, сел и не хочет улетать. И мне вдруг так жалко всего стало, что я... я чуть не заплакал, Борька.

— Ты врешь, Тимка,— взволнованно сказал я.— Ты, наверное, и на самом деле заплакал.

— И на самом деле,— дрогнувшим голосом сознался Тимка.— Я, знаешь, Борька, привык. Мне так жаль, что нас отсюда выгнали! Знаешь, я даже тайком от отца к старосте Синюгину ходил проситься, чтобы оставили. Так нет,— Тимка вздохнул и отвернулся,— не вышло. Ему что?.. У него вон какой свой дом...

Последние слова Тимка договорил почти шепотом и быстро вышел в соседнюю комнату. Когда через минуту я зашел к нему, то увидел, что Тимка, крепко уткнувшись лицом в большой узел с подушками, плачет.

На вокзале, подхваченные людской массой, ринувшейся к вагонам подошедшего поезда, Тимка с отцом исчезли.

«Раздавят еще Тимку,— забеспокоился я.— И куда это такая прорва народу едет?»

Перрон был набит до отказа. Солдаты, офицеры, матросы. «Ну, эти-то хоть привыкли и у них служба, а вот те куда едут?» — подумал я, оглядывая кучки расположившихся среди вороха коробок, корзин и чемоданов. Штатские ехали целыми семьями. Бритые озлобленные мужчины с потными от беготни и волнения лбами. Женщины с тонкими чертами лица и растерянно-усталым блеском глаз. Какие-то старинные мамаши в замысловатых шляпках, ошарашенные сутолокой, упрямые и раздраженные.

Слева от меня на огромном чемодане сидела, придерживая одной рукой перетянутую ремнями постель, другой — клетку с попугаем, какая-то старуха, похожая на одну из тех старых благородных графинь, которых показывают в кино.

Она кричала что-то молодому морскому офицеру, пытавшемуся сдвинуть с перрона тяжелый кованый сундук.

— Оставьте,— отвечал он,— какой тут еще вам носильщик! О черт!.. Слушай! — крикнул он, бросая сундук и поворачиваясь к проходившему мимо солдату.— Эй, ты!.. Ну-ка, помоги втащить вещи в вагон.

Врасплох захваченный солдат, подчиняясь начальственному тону, быстро остановился, опустив руки по швам, но почти тотчас же, как будто устыдившись своей поспешности, под насмешливыми взглядами товарищей ослабил вытяжку, неторопливо заложил руку за ремень и, чуть прищурив глаз, хитро посмотрел на офицера.

— Тебе говорят! — повторил офицер.— Ты оглох, что ли?

— Никак нет, не оглох, господин лейтенант, а не мое это дело — ваши гардеробы перетаскивать.

Солдат повернулся и неторопливо, вразвалку пошел вдоль поезда.

— Грегуар!..— выкатив выцветшие глаза, крикнула старуха.— Грегуар, найди жандарма, пусть он арестует, пусть отдаст под суд грубияна!

Но офицер безнадежно махнул рукой и, обозлившись, внезапно ответил ей резко:

— Вы-то еще чего лезете? Что вы понимаете? Какого вам жандарма — с того света, что ли? Сидите да помалкивайте!

Тимка неожиданно высунулся из окошка:

— Эгей! Борька, мы здесь!

— Ну, как вы там?

— Ничего... Мы хорошо устроились. Отец на вещах сидит, а меня матрос к себе на верхнюю полку в ноги пустил. «Только,— говорит,— не дрыгайся, а то сгоню».

Вспугнутая вторым звонком толпа загомонила еще громче. Отборная ругань смешивалась с французской речью, запах духов — с запахом пота, переливы гармоники — с чьим-то плачем, и все это разом покрыл гудок паровоза.

— Прощай, Тим-ка!

— Прощай, Борь-ка! — ответил он, высовывая вихор и махая мне рукой.

Поезд скрылся, увозя с собой сотни разношерстного, разноязычного народа, но казалось, что вокзал не освободился нисколько.

— Ух, и прет же! — услышал я рядом с собой голос.— И все на юг, все на юг. На Ростов, на Дон. Как на север поезд, то одни солдаты да служивый народ, а как на юг, то господа так и прут.

— На курорт едут, что ли?

— На курорт...— послышалось насмешливое.— Полечиться от страха, нынче страхом господа больны.

Мимо ящиков, сундуков, мешков, мимо людей, пивших чай, щелкавших семечки, спавших, смеявшихся и переругивавшихся, я пошел к выходу.

Хромой газетчик Семен Яковлевич выскочил откуда-то и, пробегая с необычной для его деревянной ноги прытью, заорал тонким, скрипучим голосом:

— Свежие газеты!.. «Русское слово»!.. Потрясающие подробности о выступлении большевиков! Правительство разогнало большевистскую демонстрацию! Есть убитые и раненые. Безуспешные поиски главного большевика Ленина!..

Газету рвали из рук — сдачу не спрашивали.

Возвращаясь, я взял чуть правее шоссе и направился по узкой тропке, пролегавшей меж колосьев спелой ржи. Спускаясь в овраг, я заметил на противополож-

ном склоне шагавшего навстречу человека, согнувшегося под тяжестью ноши. Без труда я узнал Галку.

— Борис,— крикнул он мне,— ты что здесь делаешь? Ты с вокзала?

— С вокзала. А вы-то куда? Уж не на поезд ли? Тогда фьють... опоздали, Семен Иванович, поезд только что ушел.

Ремесленный учитель Галка остановился, бухнул тяжелую ношу на траву и, опускаясь на землю, проговорил огорченно:

— Ну и ну! Что же теперь делать мне с этим? — И он ткнул ногой в завязанный узел.

— А тут что такое? — полюбопытствовал я.

— Разное... литература... Да и так еще кое-что.

— Тогда давайте. Я вам обратно помогу донести. Вы в клубе оставите, а завтра поедете.

Галка затряс своей черной и, как всегда, обсыпанной махоркой бородой:

— В том-то, брат, и дело, что в клуб нельзя. Клуб-то, брат, у нас тю-тю. Нету больше клуба.

— Как нету? — чуть не подпрыгнул я.— Сгорел, что ли? Да я же только утром, как сюда идти, проходил мимо...

— Не сгорел, брат, а закрыли его. Хорошо, что нас свои люди успели предупредить. Там сейчас обыск идет.

— Семен Иванович,— спросил я недоумевая,— да как же это? Кто же это может закрыть клуб? Разве теперь старый режим?.. Теперь свобода. Ведь у эсеров есть клуб, и у меньшевиков, и у кадетов, а анархисты всегда пьяные и вдобавок еще окна у себя снаружи досками заколотили, и то им ничего. А у нас все спокойно, и вдруг закрыли!

— Свобода! — улыбнулся Галка.— Кому, брат, свобода, а кому и нет. Вот что мне с узлом-то делать? Спрятать бы пока до завтра надо, а то назад в город тащить неудобно, отберут еще, пожалуй.

— А давайте спрячем, Семен Иванович! Я место тут неподалеку знаю. Тут, если оврагом немного пройти, пруд будет, а еще сбоку этакая выемка, там раньше глину для кирпичей рыли и в стенках ям много. Туда не только что узел, а телегу с конем спрятать можно. Только говорят, что змеюки там попадаются, а я босиком. Ну, вам-то, в ботинках, можно. Да они если и укусят, то ничего — не помрешь, а только как бы обалдеешь.

Последнее добавление не понравилось Галке, и он спросил, нет ли где поблизости другого укромного местечка, но чтобы без змеюк.

Я ответил, что другого такого места поблизости нету и кругом народ бывает: либо стадо пасется, либо картошку перепалывают, либо мальчишки возле чужих огородов околачиваются.

Тогда Галка взвалил узел на плечо, и мы пошли по берегу ручья. Узел спрятали надежно.

— Беги теперь в город,— сказал Галка.—Я завтра сам заберу его отсюда. Да если увидишь кого из комитетчиков, то передай, что я еще не уехал. Постой...— остановил он меня, заглядывая мне в лицо.— Постой! А ты, брат, не того...— тут он покрутил пальцем перед моим лицом,— не сболтнешь?

— Что вы, Семен Иванович! — забормотал я, съежившись от обидного подозрения.— Что вы! Разве я о ком-нибудь хоть что... когда-нибудь? Да я в школе ни о ком ничего никогда, когда даже в игре, а ведь это же всерьез, а вы еще...

Не дав договорить, Галка потрепал меня по плечу худою цепкою пятерней и сказал, улыбаясь:

— Ну ладно, ладно... Кати... Эх ты, заговорщик!

## *Глава четвертая*

За лето Федька вырос и возмужал. Он отпустил длинные волосы, завел черную рубаху-косоворотку и папку. С этой папкой, набитой газетами, он носился по училищным митингам и собраниям. Федька — председатель классного комитета. Федька — делегат от реального в женскую гимназию. Федька — выбранный на родительские заседания. Навострился он такие речи заворачивать — прямо второй Кругликов. Влезет на парту на диспутах: «Должны ли учащиеся отвечать учителям сидя или обязаны стоять?», «Допустима ли в свободной стране игра в карты во время уроков закона божьего?» Выставит ногу вперед, руку за пояс и начнет: «Граждане, мы призываем... обстановка обязывает... мы несем ответственность за судьбу революции...» И пошел, и пошел.

С Федькой у нас что-то не ладилось. До открытой ссоры дело еще не доходило, но отношения портились с каждым днем.

Я опять стал на отшибе.

Только что начала забываться история с моим отцом, только что начал таять холодок между мной и некоторыми из прежних товарищей, как подул новый ветер из столицы; обозлились обитатели города на большевиков и закрыли клуб. Арестовала думская милиция Баскакова, и тут опять я очутился виноватым: зачем с большевиками околачивался, зачем к 1 Мая над ихним клубом на крыше флаг вывешивал, почему

на митинге отказался помогать Федьке раздавать листовки за войну до победы?

Листовки у нас все раздавали. Иной нахватает и кадетских, и анархистских, и христианских социалистов, и большевистских — бежит и какая попала под руку, ту и сует прохожему. И этаким все ничего, как будто так и надо!

Как же мог я взять у Федьки эсеровские листовки, когда мне Баскаков только что полную груду своих прокламаций дал? Как же можно раздавать и те и другие? Ну, хоть бы сходные листовки были, а то в одной — «Да здравствует победа над немцами», в другой — «Долой грабительскую войну». В одной — «Поддерживайте Временное правительство», в другой — «Долой десять министров-капиталистов». Как же можно сваливать их в одну кучу, когда одна листовка другую сожрать готова?

Учеба в это время была плохая. Преподаватели заседали по клубам, явные монархисты подали в отставку. Половину школы заняли под Красный Крест.

— Я, мать, уйду из школы,— говаривал я иногда.— Учебы все равно никакой, со всеми я на ножах. Вчера, например, Коренев собирал с кружкой в пользу раненых; было у меня двадцать копеек, опустил и я, а он перекосился и говорит: «Родина в подачках авантюристов не нуждается». Я аж губы закусил. Это при всех-то! Говорю ему: «Если я сын дезертира, то ты сын вора. Отец твой, подрядчик, на поставках армию грабил, и ты, вероятно, на сборах раненым подзаработать не прочь». Чуть дело до драки не дошло. На днях товарищеский суд будет. Плевал я только на суд. Тоже... судьи какие нашлись!

С маузером, который подарил мне отец, я не рас-

ставался никогда. Маузер был небольшой, удобный, в мягкой замшевой кобуре. Я носил его не для самозащиты. На меня никто еще не собирался нападать, но он дорог мне был как память об отце, его подарок — единственная ценная вещь, имевшаяся у меня. И еще потому любил я маузер, что всегда испытывал какое-то приятное волнение и гордость, когда чувствовал его с собой. Кроме того, мне было тогда пятнадцать лет, и я не знал да и до сих пор не знаю ни одного мальчугана этого возраста, который отказался бы иметь настоящий револьвер. Об этом маузере знал только Федька. Еще в дни дружбы я показал ему его. Я видел, с какой завистью осторожно рассматривал он тогда отцовский подарок.

На другой день после истории с Кореневым я вошел в класс, как и всегда в последнее время, ни с кем не здороваясь, ни на кого не обращая внимания.

Первым уроком была география. Рассказав немного о западном Китае, учитель остановился и начал делиться последними газетными новостями. Пока споры да разговоры, я заметил, что Федька пишет какие-то записки и рассылает их по партам. Через плечо соседа в начале одной из записок я успел прочесть свою фамилию. Я насторожился.

После звонка, внимательно наблюдая за окружающими, я встал, направился к двери и тотчас же заметил, что от двери я отгорожен кучкой наиболее крепких одноклассников. Около меня образовалось полукольцо; из середины его вышел Федька и направился ко мне.

— Что тебе надо? — спросил я.

— Сдай револьвер,— нагло заявил он.— Классный комитет постановил, чтобы ты сдал револьвер в комис-

сариат думской милиции. Сдай его сейчас же комитету, и завтра ты получишь от милиции расписку.

— Какой еще револьвер? — отступая к окну и стараясь, насколько хватало сил, казаться спокойным, переспросил я.

— Не запирайся, пожалуйста! Я знаю, что ты всегда носишь маузер с собой. И сейчас он у тебя в правом кармане. Сдай лучше добровольно, или мы вызовем милицию. Давай! — И он протянул руку.

— Маузер?

— Да.

— А этого не хочешь? — резко выкрикнул я, показывая ему фигу.— Ты мне его давал? Нет. Ну, так и катись к черту, пока не получил по морде!

Быстро повернув голову, я увидел, что за моей спиной стоят четверо, готовых схватить меня сзади. Тогда я прыгнул вперед, пытаясь прорваться к двери. Федька рванул меня за плечи. Я ударил его кулаком, и тотчас же меня схватили за плечи и поперек груди. Кто-то пытался вытолкнуть мою руку из кармана. Не вынимая руки, я крепко впился в рукоятку револьвера.

«Отберут... Сейчас отберут...»

Тогда, как пойманный в капкан звереныш, я взвизгнул. Я вынул маузер, большим пальцем вздернул предохранитель и нажал спуск.

Четыре пары рук, державших меня, мгновенно разжались. Я вскочил на подоконник. Оттуда я успел разглядеть белые, будто ватные лица учеников, желтую плиту каменного пола, разбитую выстрелом, и превратившегося в библейский соляной столб застрявшего в дверях отца Геннадия. Не раздумывая, я спрыгнул с высоты второго этажа на клумбы ярко-красных георгин.

Поздно вечером по водосточной трубе, со стороны сада, я пробирался к окну своей квартиры. Старался лезть потихоньку, чтобы не испугать домашних, но мать услышала шорох, подошла и спросила тихонько:

— Кто там? Это ты, Борис?

— Я, мама.

— Не ползи по трубе... сорвешься еще. Иди, я тебе дверь открою.

— Не надо, мама... Пустяки, я и так...

Спрыгнув с подоконника, я остановился, приготовившись выслушать ее упреки и жалобы.

— Есть хочешь? — все так же тихо спросила мать.— Садись, я тебе супу достану, он теплый еще.

Тогда, решив, что мать ничего не знает, я поцеловал ее и, усевшись за стол, стал обдумывать, как передать ей обо всем случившемся.

Рассеянно черпая ложкой перепрелый суп, я почувствовал, что мать сбоку пристально смотрит на меня. От этого мне стало неловко, и я опустил ложку на край тарелки.

— Был инспектор,— сказала мать,— говорил, что из школы тебя исключают и что если завтра к двенадцати часам ты не сдашь свой револьвер в милицию, то они сообщат туда об этом, и у тебя отберут его силой. Сдай, Борис!

— Не сдам,— упрямо и не глядя на нее, ответил я.— Это папин.

— Мало ли что папин! Зачем он тебе? Ты потом себе другой достанешь. Ты и без маузера за последние месяцы какой-то шальной стал, еще застрелишь кого-нибудь! Отнеси завтра и сдай.

— Нет,— быстро заговорил я, отодвигая тарелку.— Я не хочу другого, я хочу этот! Это папин. Я не



Я вскочил на подоконник. Оттуда я успел разглядеть белые, будто ватные лица учеников...

шальной, я никого не задеваю. Они сами лезут. Мне наплевать на то, что исключили, я бы и сам ушел. Я спрячу его и не отдам.

— Бог ты мой! — уже раздраженно начала мать.— Ну, тогда тебя посадят и будут держать, пока не отдашь!

— Ну и пусть посадят,— обозлился я.— Вон и Баскакова посадили... Ну что ж, и буду сидеть, все равно не отдам... Не отдам! — после небольшого молчания крикнул я так громко, что мать отшатнулась.

— Ну, ну, не отдавай,— уже мягче проговорила она.— Мне-то что? — Она помолчала, над чем-то раздумывая, встала и добавила с горечью, выходя за дверь: — И сколько жизни вы у меня раньше времени посожжете!

Меня удивила уступчивость матери. Это было не похоже на нее. Мать редко вмешивалась в мои дела, но зато уже когда заладит что-нибудь, то не успокоится до тех пор, пока не добьется своего.

Спал крепко. Во сне пришел ко мне Тимка и принес в подарок кукушку. «Зачем, Тимка, мне кукушка?» Тимка молчал. «Кукушка, кукушка, сколько мне лет?» И она прокуковала — семнадцать. «Неправда,— сказал я,— мне только пятнадцать».— «Нет,— замотал Тимка головой.— Тебя мать обманула».— «Зачем матери меня обманывать?» Но тут я увидел, что Тимка вовсе не Тимка, а Федька — стоит и усмехается.

Проснулся, соскочил с кровати и заглянул в соседнюю комнату — без пяти семь. Матери не было. Нужно было торопиться и спрятать незаметно в саду маузер.

Накинул рубаху, сдернул со стула штаны — и внезапный холодок разошелся по телу: штаны были подо-

зрительно легкими. Тогда осторожно, как бы боясь обжечься, я протянул руку к карману. Так и есть — маузера там не было: пока я спал, мать вытащила его. «Ах, вот оно... вот оно что!.. И она тоже против меня. А я-то поверил ей вчера. То-то она так легко перестала уговаривать меня... Она, должно быть, понесла его в милицию».

Я хотел уже броситься догонять ее.

«Стой!.. Стой!.. Стой!..» — протяжно запели, отбивая время, часы. Я остановился и взглянул на циферблат. Что же это я, на самом деле? Ведь всего только еще семь часов. Куда же она могла уйти? Оглядевшись по углам, я заметил, что большой плетеной корзины нет, и догадался, что мать ушла на базар.

Но если ушла на базар, то не взяла же она с собой маузер? Значит, она спрятала его пока дома. Куда? И тотчас же решил: в верхний ящик шкафа, потому что это был единственный ящик, который запирался на ключ.

И тут я вспомнил, что когда-то, давно еще, мать принесла из аптеки розовые шарики сулемы и для безопасности заперла их в этот ящик. А мы с Федькой хотели сгубить у Симаковых рыжего кота за то, что Симаковы перешибли лапу нашей собачонке. Порывшись в железном хламе, мы тогда подобрали ключ, вытащили один шарик и, кажется, бросили ключ на прежнее место.

Я вышел в чулан и выдвинул тяжелый ящик. Разбрасывая ненужные обломки, гайки, винты, я принялся за поиски.

Обрезал руку куском жести и нашел сразу три заржавленных ключа. Из них какой-то подходит... Должно быть, вот этот.

Вернулся к шкафу. Ключ входил туго... Крак! Замок щелкнул. Потянул за ручку. Есть... маузер... Кобура лежит отдельно. Схватил и то и другое. Запер ящик, ключ через окно выбросил в сад и выбежал на улицу. Оглядевшись по сторонам, я заметил возвращавшуюся с базара мать. Тогда я завернул за угол и побежал по направлению к кладбищу.

На опушке перелеска остановился передохнуть. Бухнулся на ворох сухих листьев и тяжело задышал, то и дело оглядываясь по сторонам, точно опасаясь погони. Рядом протекал тихий, безмолвный ручеек. Вода была чистая, но теплая и пахла водорослями. Не поднимаясь, я зачерпнул горсть воды и выпил, потом положил голову на руки и задумался.

Что же теперь делать? Домой возвращаться нельзя, в школу нельзя. Впрочем, домой можно... Спрятать маузер и вернуться. Мать посердится и перестанет когда-нибудь. Сама же виновата — зачем тайком вытащила? А из милиции придут? Сказать, что потерял,— не поверят. Сказать, что чужой,— спросят, чей. Ничего не говорить — как бы еще на самом деле не посадили! Подлец Федька... Подлец!

Сквозь редкие деревья опушки виднелся вокзал.

У-у-у-у-у! — донеслось оттуда эхо далекого паровозного гудка. Над полотном протянулась волнистая полоса белого пара, и черный, отсюда похожий на жука паровоз медленно выкатился из-за поворота.

У-у-у-у-у! — заревел он опять, здороваясь с дружески протянутой лапой семафора.

«А что, если...»

Я тихонько приподнялся и задумался.

И чем больше я думал, тем сильнее и сильнее манил меня вокзал. Звал ревом гудков, протяжно-певу-

чими сигналами путевых будок, почти что ощутимым запахом горящей нефти и глубиной далекого пути, убегающего к чужим, незнакомым горизонтам.

«Уеду в Нижний,— подумал я.— Там найду Галку. Он в Сормове. Он будет рад и оставит меня пока у себя, а дальше будет видно. Все утихнет, и тогда вернусь. А может быть...— и тут что-то изнутри подсказало мне: — может быть, и не вернусь».

«Будет так»,— с неожиданной для самого себя твердостью решил я и, сознавая всю важность принятого решения, встал, почувствовав себя крепким, большим, сильным.

## *Глава пятая*

В Нижний Новгород поезд пришел ночью. Сразу же у вокзала я очутился на большой площади. Под огнями фонарей поблескивали штыки новеньких винтовок, отсвечивали повсюду погоны.

С трибуны рыжий бородатый человек говорил солдатам речь о необходимости защищать родину, уверял в неизбежности скорого поражения «проклятых империалистов-немцев».

Он поминутно оборачивался в сторону своего соседа — старенького, седого полковника, который каждый раз, как бы удостоверяя правильность заключений рыжего оратора, одобрительно кивал круглой лысой головой.

Вид у оратора был измученный, он бил себя растопыренной ладонью, поднимал вверх поочередно то одну, то обе руки. Он обращался к сознательности и совести солдат. Под конец, когда ему показалось, что речь его проникла в гущу серой массы, он взмахнул рукой, так что едва не заехал в ухо испуганно отшат-

нувшемуся полковнику, и громко запел марсельезу. Несколько десятков разрозненных голосов подхватили мотив, но вся солдатская колонна молчала.

Тогда рыжий оратор оборвал на полуслове песню и, бросив шапку оземь, стал слезать с трибуны.

Старик полковник постоял еще немного, беспомощно развел руками и, наклонив голову, придерживаясь за перила, полез вниз.

Оказывается, маршевый батальон отправляли на германский фронт.

До вокзала солдаты шли с песнями, их закидывали цветами и подарками. Все было благополучно. И уже здесь, на станции, воспользовавшись тем, что благодаря чьей-то нераспорядительности не хватило кипятку в баках и в нескольких вагонах недоставало деревянных нар, солдаты затеяли митинг.

Появились не приглашенные командованием ораторы, и, начав с недостачи кипятку, батальон неожиданно пришел к заключению: «Хватит, повоевали, дома хозяйство рушится, помещичья земля не поделена, на фронт идти не хотим!»

Загорелись костры, запахло смолой расщепленных досок, махоркой, сушеной рыбой, сваленной штабелями на соседних пристанях, и свежим волжским ветром.

Так, мимо огней, мимо винтовок, мимо возбужденных солдат, кричавших ораторов, растерянно-озлобленных офицеров, я, взволнованный и радостный, зашагал в темноту незнакомых привокзальных улиц.

Первый же прохожий, которого я спросил о том, как пройти в Сормово, ответил мне удивленно:

— В Сормово, милый человек, отсюда никак пройти невозможно. В Сормово отсюда на пароходах ездят.

Заплатил полтинник — и садись, а сейчас до утра никаких пароходов нету.

Тогда, побродив еще немного, я забрался в один из пустых ящиков, сваленных грудами у какого-то забора, и решил переждать до рассвета. Вскоре заснул.

Разбудила меня песня. Работали грузчики — поднимали скопом что-то тяжелое.

Эх-эй, ребятушки, да дружно! —

заводил запевала надорванным, но приятным тенором.

Остальные враз подхватывали резкими, тоже надорванными голосами:

По-оста́-раться еще нужно.

Что-то сдвинулось, треснуло и заскрипело.

И-э-эх... начать-то мы нача́ли,
А всю сволочь не скачали.

Я высунул голову. Как муравьи, облепившие кусок ржаного хлеба, со всех сторон окружили грузчики огромную ржавую лебедку и по положенным наискось рельсам втаскивали ее на платформу. Опять невидимый в куче запевала завел:

И-э-эх... прогнали мы Николку,
И-э-эх... да что-то мало толку!

Опять хрустнуло.

А не подняться ли народу,
Чтоб Сашку за ноги да в воду!

Лязгнуло, грохнуло. Лебедка тяжело села на крякнувшую платформу. Песня оборвалась, послышались крики, говор и ругательства.

«Ну и песня! — подумал я.— Про какого же это

Сашку? Да ведь это же про Керенского!.. У нас бы в Арзамасе за такую песню живо сгребли, а здесь милиционер рядом стоит, отвернулся и как будто бы не слышит».

Маленький грязный пароходик давно уже причалил к пристани. Полтинника на билет у меня не было, а возле узкого трапа стояли рыжий контролер и матрос с винтовкой.

Я грыз ногти и уныло посматривал на узенькую полоску маслянистой воды, журчавшей между пристанью и бортом парохода. По воде плыли арбузные корки, щепки, обрывки газет и прочая дрянь.

«Пойти разве попроситься у контролера? — подумал я.— Совру ему что-нибудь. Вот, мол, скажу, сирота. Приехал к больной бабушке. Пропустите, пожалуйста, проехать до старушки».

Маслянистая поверхность мутной воды отразила мое загорелое лицо, подстриженную ежиком крупную голову и крепкую, поблескивавшую медными пуговицами ученическую гимнастерку.

Вздохнув, я решил, что сироту надо оставить в покое, потому что сироты с этакими здоровыми физиономиями доверия не внушают.

Читал я в книгах, что некоторые юноши, не имея денег на билет, нанимались на пароход юнгами. Но и этот способ не мог пригодиться здесь, когда всего-то-навсего надо мне было попасть на противоположный берег реки.

— Чего стоишь? Подвинься! — услышал я задорный вопрос и увидел невысокого рябого мальчугана.

Мальчуган небрежно швырнул на ящик пачку каких-то листовок и быстро вытащил из-под моих ног толстый грязный окурок.

— Эх ты, ворона! — сказал он снисходительно.— Окурок-то какой проглядел!

Я ответил ему, что на окурки мне наплевать, потому что я не курю, и, в свою очередь, спросил его, что он тут делает.

— Я-то? — Тут мальчуган ловко сплюнул, попав прямо в середину проплывавшего мимо полена.— Я листовки раздаю от нашего комитета.

— От какого комитета?

— Ясно, от какого... от рабочего. Хочешь, помогай раздавать.

— Я бы помог,— ответил я,— да мне вот на пароход надо в Сормово, а билета нет.

— А что тебе в Сормове?

— К дяде приехал. Дядя на заводе работает.

— Как же это ты,— укоризненно спросил мальчуган,— едешь к дяде, а полтинником не запасся?

— Запасаются загодя,— искренне вырвалось у меня,— а я вот нечаянно собрался и убежал из дому.

— Убежа-ал? — Глаза мальчугана с недоверчивым любопытством скользнули по мне. Тут он шмыгнул носом и добавил сочувственно: — То-то, когда вернешься, отец выдерет.

— А я не вернусь. И потом, у меня нет отца. Отца у меня еще в царское время убили. У меня отец большевик был.

— И у меня большевик,— быстро заговорил мальчуган,— только у меня живой. У меня, брат, такой отец, что на все Сормово первый человек! Хоть кого хочешь спроси: «Где живет Павел Корчагин?» — всякий тебе ответит: «А это в комитете... На Варихе, на заводе Тер-Акопова». Вот какой у меня человек отец!

Тут мальчуган отшвырнул окурок и, поддернув сползавшие штаны, нырнул куда-то в толпу, оставив листовки возле меня.

Я поднял одну.

В листовке было написано, что Керенский — изменник, готовит соглашение с контрреволюционным генералом Корниловым. Листовка открыто призывала свергнуть Временное правительство и провозгласить советскую власть.

Резкий тон листовки поразил меня еще больше, чем озорная песня грузчиков. Откуда-то из-за бочек с селедками вынырнул запыхавшийся мальчуган и еще на бегу крикнул мне:

— Нету, брат!

— Кого нету? — не понял я.

— Полтинника нету. Тут Симона Котылкина из наших увидал. Нету, говорит.

— Да зачем тебе полтинник?

— А тебе-то! — Он с удивлением посмотрел на меня.— Ты бы купил билет, а в Сормове взял у дяди и отдал бы: я, чай, тоже сормовский.

Он повертелся, опять исчез куда-то и опять вскоре вернулся.

— Ну, брат, мы и так обойдемся. Возьми вот мои листовки и кати прямо на пароход. Видишь, там матрос стоит с винтовкой? Это Сурков Пашка. Ты, когда проходить по сходням будешь, повернись к матросу и скажи: с листовками, мол, от комитета, а с контролером и не разговаривай. При́ себе прямо. Матрос свой, он в случае чего заступится.

— А ты?

— Я-то, брат, везде пройду. Я здесь не чужой.

Старенький пароходик, замызганный шелухой и

огрызками яблок, давно уже отчалил от берега, а моего товарища все еще не было видно.

Я примостился на груде ржавых якорных цепей и, вдыхая пахнущий яблоками, нефтью и рыбой прохладный воздух, с любопытством разглядывал пассажиров. Рядом со мной сидел не то дьякон, не то монах, притихший и, очевидно, старавшийся быть как можно менее заметным. Он украдкой озирался по сторонам, грыз ломоть арбуза, аккуратно выплевывая косточки в ладонь.

Кроме монаха и нескольких баб с бидонами из-под молока, на пароходе ехали два офицера, четыре милиционера, державшихся поодаль, возле штатского с красной повязкой на рукаве.

Все же остальные пассажиры были рабочие. Сгрудившись кучками, они громко разговаривали, спорили, переругивались, смеялись, читали вслух газеты. Было похоже на то, что все они между собой знакомы, потому что многие из них бесцеремонно вмешивались в чужие споры; замечания и шутки летели от одного борта к другому.

Впереди вырисовывалось Сормово. Было безветренное утро. Фабричный дым, собираясь нетающими клубами, казался отсюда черными щупальцами ветвей, раскинувшихся над каменными стволами гигантских труб.

— Эгей! — услышал я позади себя знакомый голос рябого мальчугана.

Я обрадовался ему, потому что не знал, что делать с листовками.

Он сел рядом на свернутый канат и, вынув из кармана яблоко, протянул его мне:

— Возьми. Мне грузчики полный картуз насыпали,

потому что как новая листовка или газета, так я им всегда первым. Вчера целую связку воблы подарили. Им что! Сунул руку в мешок — только-то и делов. А я три воблы сам съел да две домой притащил: одну Аньке, другую Маньке. Сестры это у меня,— пояснил он и снисходительно добавил: — Дуры еще девчонки... Им только жрать подавай.

Оживленные разговоры внезапно умолкли, потому что штатский с красной повязкой, сопровождаемый милиционерами, принялся неожиданно проверять документы. Рабочие, молча доставая измятые, замусоленные бумажки, провожали штатского враждебно-холодными замечаниями.

— Кого ищут-то?

— А пес их знает.

— К нам бы в Сормово пришли, там поискали бы!

Милиционеры шли как бы нехотя; видно было, что им неловко чувствовать на себе десятки подозрительно настороженных взглядов.

Не обращая внимания на общее сдержанное недовольство, штатский вызывающе дернул бровями и подошел к монаху. Монах еще больше съежился и, огорченно разведя руками, показал на висевшую у живота кружку с надписью: «Милосердные христиане, пожертвуйте на восстановление разрушенных германцами храмов».

Штатский брезгливо усмехнулся и, отворачиваясь от монаха, довольно бесцеремонно потянул за плечи моего соседа — мальчугана.

— Документ?

— Еще подрасту, тогда запасу,— сердито ответил тот.

Пытаясь высвободиться из-под цепкой руки штат-

ского, мальчуган дернулся, потерял равновесие и выронил кипу листовок.

Штатский поднял одну из бумажек, торопливо просмотрел ее и тихо, но зло сказал:

— Документы мал носить, а прокламации — вырос? А ну-ка, захватите его!

Но не только один штатский прочел листовку. Ветер вырвал из рассыпанной пачки десяток беленьких бумажек и разметал их по переполненной людьми палубе. Не успели еще вялые, смущенные милиционеры подойти к рябому мальчугану, как зажужжала, загомонила вся палуба:

— Корнилова бы лучше поискали!

— Монах без документа ничего, а к мальчишке привязался!

— Тут тебе не город, а Сормово!

— Ну, ну, тише вы! — огрызнулся штатский, растерянно глядя на милиционеров.

— Не нукай, не запряг! Жандарм переодетый! Видали, как он за листовками кинулся?

Огрызок свежего огурца пролетел мимо фуражки штатского.

Стиснутые со всех сторон повскакавшими пассажирами, милиционеры растерянно оглядывались и встревоженно уговаривали:

— Не налезай, не налезай. Граждане, тише!

Внезапно заревела сирена, и с капитанского мостика кто-то отчаянно заорал:

— От левого борта... от левого борта... пароход опрокинете!

По накренившейся палубе толпа шарахнулась в противоположную сторону. Воспользовавшись этим, штатский зло выругал милиционеров и проскользнул

к лестнице капитанского мостика, возле которого стояли два побледневших, взволнованных офицера.

Пароход причалил, рабочие торопливо сходили на пристань. Возле меня опять очутился рябой мальчуган. Глаза его горели, в растопыренных руках он цепко держал измятый ворох подобранных листовок.

— Приходи! — крикнул он мне.— Прямо на Вариху! Ваську Корчагина спросишь, тебе всякий покажет.

## *Глава шестая*

С удивлением и любопытством поглядывал я на серые от копоти домики, на каменные стены заводов, через черные окна которых поблескивали языки яркого пламени и доносилось глухое рычание запертых машин.

Был обеденный перерыв. Мимо меня прямо через улицу, пáром распугивая бродячих собак, покатил паровоз, тащивший платформы, нагруженные колесами. Разноголосо хрипели гудки. Из ворот выходили толпы потных, усталых рабочих.

Навстречу им неслись стайки босоногих задирчивых ребятишек, тащивших небольшие узелки с мисками и тарелками, от которых пахло луком, кислой капустой и паром.

Кривыми уличками добрался я наконец до переулка, где была квартира Галки.

Я постучал в окно небольшого деревянного домика. Тощая седая старуха, оторвавшись от корыта с бельем, высунула красное, распаренное лицо и сердито спросила, кого мне надо.

Я сказал.

— Нету такого,— ответила она, захлопывая окно.— Жил когда-то, теперь давно уже нету.

Ошеломленный таким сообщением, я отошел за угол и, остановившись возле груды наваленного булыжника, почувствовал, как я устал, как мне хочется есть и спать.

Кроме Галки, в Сормове жил дядя Николай, брат моей матери. Но я совсем не знал, где он живет, где работает и как примет меня.

Несколько часов я шатался по улицам, с тупым упрямством заглядывая в лица проходивших рабочих. Дядю я, конечно, не встретил.

Вконец отчаявшись и почувствовав себя одиноким, никому не нужным, я опустился на небольшую чахлую лужайку, замусоренную рыбьей кожурой и кусками пожелтевшей от дождей известки. Тут я прилег и, закрыв глаза, стал думать о своей горькой судьбе, о своих неудачах.

И чем больше я думал, тем горше становилось мне, тем бессмысленнее представлялся мой побег из дома.

Но даже сейчас я отгонял мысль о том, чтобы вернуться в Арзамас. Мне казалось, что теперь в Арзамасе я буду еще более одинок; надо мной будут презрительно смеяться, как когда-то над Тупиковым. Мать будет тихонько страдать и еще, чего доброго, пойдет в школу просить за меня директора.

А я был упрям. Еще в Арзамасе я видел, как мимо города вместе с дышавшими искрами и сверкавшими огнями поездами летит настоящая, крепкая жизнь. Мне казалось, что нужно только суметь вскочить на одну из ступенек стремительных вагонов, хотя бы на самый краешек, крепко вцепиться в поручни, и тогда назад меня уже не столкнешь.

К забору подошел старик. Нес он ведро, кисть и свернутые в трубку плакаты. Старик густо смазал

клейстером доски, прилепил плакат, разгладил его, чтобы не было морщин; поставив на землю ведро, оглянулся и подозвал меня:

— Достань, малый, спички из моего кармана, а то у меня руки в клейстере. Спасибо,— поблагодарил он, когда я зажег спичку и поднес огонь к его потухшей трубке.

Закурив, он с кряхтением поднял грязное ведро и сказал добродушно:

— Эх, старость не радость! Бывало, пудовым молотом грохаешь, грохаешь, а теперь ведро понес — рука занемела.

— Давай, дедушка, я понесу,—с готовностью предложил я.— У меня не занемеет. Я вон какой здоровый.

И, как бы испугавшись, что он не согласится, я поспешно потянул ведро к себе.

— Понеси,— охотно согласился старик,— понеси, коли так, оно вдвоем-то быстро управимся.

Продвигаясь вдоль заборов, мы со стариком прошли много улиц.

Только мы останавливались, как сзади нас собирались прохожие, любопытствовавшие поскорее узнать, что такое мы расклеиваем. Увлекшись работой, я совсем позабыл о своих несчастьях. Лозунги тоже были разные, например: «Восемь часов работы, восемь сна, восемь отдыха». Но, по правде сказать, лозунг этот казался мне каким-то будничным, неувлекательным. Гораздо больше нравился мне большой синий плакат с густо-красными буквами: «Только с оружием в руках пролетариат завоюет светлое царство социализма».

Это «светлое царство», которое пролетариат должен был завоевать, увлекало меня своей загадочной,

невиданной красотою еще больше, чем далекие экзотические страны манят начитавшихся Майн Рида восторженных школьников. Те страны, как ни далеки они, все же разведаны, поделены и нанесены на скучные школьные карты. А это «светлое царство», о котором упоминал плакат, не было еще никем завоевано. Ни одна человеческая нога еще не ступала по его необыкновенным владениям.

— Может быть, устал, парень? — спросил старик останавливаясь.— Тогда беги домой. Я теперь и один управлюсь.

— Нет, не устал,— проговорил я, с горечью вспомнив о том, что скоро опять останусь в одиночестве.

— Ну, ин ладно,— согласился старик.— Дома только, смотри, чтобы не заругали.

— У меня нет дома,— с внезапной откровенностью сказал я.— То есть у меня есть дом, только далеко.

И, подчиняясь желанию поделиться с кем-нибудь своим горем, я рассказал старику все.

Он внимательно выслушал меня, пристально и чуть-чуть насмешливо посмотрел в мое смущенное лицо.

— Это дело разобрать надо,— сказал он спокойно.— Хотя Сормово и велико, но все же человек — не иголка. Слесарем, говоришь, у тебя дядя?

— Был слесарем,— ответил я, ободрившись.— Николаем зовут. Николай Егорович Дубряков. Он партийный, должно быть, как и отец. Может, в комитете его знают?

— Нет, не знаю что-то такого. Ну, да уж ладно, вот кончим расклеивать, пойдешь со мною. Я тут кой у кого из наших поспрошу.

Старик почему-то нахмурился и пошел, молча попыхивая горячей трубкой.

— Так отца-то у тебя убили? — неожиданно спросил он.

— Убили.

Старик вытер руки о промасленные, заплатанные штаны и, похлопав меня по плечу, сказал:

— Ко мне сейчас зайдешь. Картошку с луком есть будем и кипяток согреем. Чай, ты беда как есть хочешь?

Ведро показалось мне совсем легким. И мой побег из Арзамаса показался мне опять нужным и осмысленным.

Дядя мой отыскался. Оказывается, он был не слесарем, а мастером котельного цеха.

Дядя коротко сказал, чтобы я не дурил и отправлялся обратно.

— Делать тебе у меня нечего... Из человека только тогда толк выйдет, когда он свое место знает,— угрюмо говорил он в первый же день за обедом, вытирая полотенцем рыжие сальные усы.— Я вот знаю свое место... Был подручным, потом слесарем, теперь в мастера вышел. Почему, скажем, я вышел, а другой не вышел? А потому, что он тары да бары. Работать ему, видишь, не нравится, он инженеру завидует. Ему бы сразу. Тебе, скажем, чего в школе не сиделось? Учился бы тихо на доктора или там на техника. Так нет вот... дай помудрю. От лени все это... А по-моему, раз уж человек определился к какому делу, должен он стараться дальше продвинуться. Потихоньку, полегоньку, глядишь — и вышел в люди.

— Как же, дядя Николай? — тихо и оскорбленно спросил я.— Отца, к примеру, взять. Он солдатом был. По-твоему выходит, что нужно ему было в школу прапорщиков поступать. Офицером бы был. Может, до

капитана дослужился. А все, что он делал, и то, что, вместо того чтобы в капитаны, он в подпольщики ушел, этого не нужно было?

Дядя нахмурился:

— Я про твоего отца не хочу плохо сказать, однако толку в его поступках мало что-то вижу. Так, баламутный был человек, неспокойный. Он и меня-то чуть было не запутал. Меня контора в мастера только наметила, и вдруг такое дело сообщают мне: вот, мол, какой к вам родственник приезжал. Насилу замял дело.

Тут дядя достал из миски жирную кость, густо смазал ее горчицей, посыпал крупно солью и, вгрызаясь в мясо крепкими желтыми зубами, недовольно покачал головой.

Когда жена его, высокая красивая баба, подала после обеда узорную глиняную кружку домашнего кваса, он сказал ей:

— Сейчас прилягу, разбудишь через часок. Надо сестре Варваре письмо черкнуть. Борис заодно захватит, когда поедет.

— А когда поедет?

— Ну когда — завтра поедет.

В окно постучали.

— Дядя Миколай,— послышался с улицы голос,— на митинг пойдешь?

— Куда еще?

— На митинг, говорю. Народу на площади собралось уйма.

— А ну их,— отмахнулся рукой дядя,— нужно-то не больно.

Подождав, пока дядя ляжет отдыхать, я тихонько выбежал на улицу.

«А дядя-то у меня, оказывается, выжига! — поду-

мал я.— Подумаешь, шишка какая — мастер! А я-то еще думал, что он партийный. Неужели так-таки и придется в Арзамас возвращаться?»

Две или три тысячи человек стояли около дощатой трибуны и слушали ораторов. Из-за людей мелькнуло знакомое рябое лицо пронырливого Васьки Корчагина. Я окликнул его, но он не услышал меня.

Я пустился догонять его. Раза два его курчавая голова показывалась среди толпы, но потом исчезла окончательно. Я очутился недалеко от трибуны.

Ближе пробраться было трудно. Стал прислушиваться. Ораторы сменялись часто. Запомнился мне один — невзрачный, плохо одетый, с виду такой же рабочий, какие сотнями попадались на сормовских улицах, не привлекая ничьего внимания. Он неловко сдернул сплющенную блином кепку, откашлялся и, напрягая надорванный и, как мне показалось, озлобленный голос, заговорил:

— Вы, товарищи, которые с паровозного, а также с вагонного, да многие и с нефтянки, знаете, что восемь годов я просидел на каторге как политический. И что ж — не успел я только вернуться, не успел свежим воздухом подышать, как бац — опять меня на два месяца в тюрьму! Кто запер? Заперли не полицейские старого режима, а прихвостни нового. От царя было не обидно сидеть. От царя всегда наши сидели. А от прихвостней обидно! Генералы да офицеры понавесили красные банты, вроде как друзья революции. А нашего брата чуть что — опять пхают в кутузки. Травят нас и разгоняют. Я не за свою обиду говорю, товарищи, не за то, что два месяца лишних отсидел. Я за нашу, рабочую обиду говорю.

Тут он закашлялся. Отдышавшись, открыл было

рот, опять закашлялся. Долго вздрагивал, вцепившись руками в перила, потом замотал головой и полез вниз.

— Доездили человека! — громко и негодующе сказал кто-то.

С серого, насупившегося неба посыпались крупинки первого снега. Срывая последние, почерневшие листья, дул сухой холодный ветер. Ноги у меня захолодали. Я хотел выбраться из толпы, чтобы на ходу согреться. Проталкиваясь, я перестал было смотреть на ораторов, но вдруг знакомый высокий голос заставил меня повернуться к трибуне. Снежные крупинки засыпали глаза. Сбоку толкали. Кто-то больно наступил на ногу. Приподнявшись на носки, я с удивлением и радостью увидел на трибуне знакомое бородатое лицо Галки.

Двигая локтями, протискиваясь через плотную, с трудом пробиваемую толпу, я продвигался вперед. Я боялся, что, окончив говорить, Галка смешается с толпой, не услышит моего окрика и я опять потеряю его. Я тряс фуражкой, чтобы привлечь его внимание, махал растопыренными пальцами. Но он не замечал меня.

Когда я увидел, что Галка уже поднял руку, уже повышает голос и вот-вот кончит говорить, я закричал громко:

— Семен Иванович!.. Семен Ивано-ви-и-ич!..

Сбоку на меня шикали. Кто-то пихнул меня в спину. А я еще отчаянней заорал:

— Семен Иванови-и-ич!

Я видел, как удивленный Галка неловко развел руками и, скомкав конец фразы, стал торопливо спускаться по лестнице.

Кто-то из обозленных соседей схватил меня за руку и потащил в сторону.

А я, не обращая внимания на ругательства и тычки, рассмеялся весело, как шальной.

— Ты что хулиганишь? — крепко встряхивая, строго спросил тащивший меня за рукав рабочий.

— Я не хулиганю,— не переставая счастливо улыбаться, отвечал я, подпрыгивая на озябших ногах.— Я Галку нашел... Я Семена Ивановича...

Вероятно, было в моем лице что-то такое, от чего сердитый человек улыбнулся сам и спросил уже не очень сердито:

— Какую еще галку?

— Да не какую... Я Семена Ивановича... Вон он сам сюда пробирается.

Галка вынырнул, схватил меня за плечо:

— Ты откуда?

Толпа волновалась. Площадь неспокойно шумела. Кругом виднелись озлобленные, встревоженные и растерянные лица.

— Семен Иванович,— на ходу спросил я, не отвечая на вопрос,— отчего город шумит?

— Телеграмма пришла... только что,— пояснил он скороговоркой.— Керенский предает революцию! Генерал Корнилов... поднимает казаков.

Короткие осенние дни замелькали передо мною, как никогда не виданные станции, сверкающие огнями на пути скорого поезда. Сразу же нашлось и мне дело. И я оказался теперь полезным, втянутым в круговорот стремительно развертывавшихся событий.

В один из беспокойных дней Галка встревоженно сказал мне:

— Беги, Борис, в комитет. Скажи, что с Варихи срочно просили агитатора и я пошел туда. Найди

Ершова, пусть он вместо меня сходит в типографию. Если Ершова не найдешь, то... Дай-ка карандаш... Вот снеси эту записку сам в типографию. Да не в контору, а передай лучше прямо в руки метранпажу! Помнишь... у Корчагина был, черный такой, в очках? Ну вот... Сделаешь все, тогда ко мне, на Вариху. Да если в комитете свежие листовки есть — захвати. Скажешь Павлу, что я просил... Стой, стой! — закричал он озабоченно вдогонку.— Холодно ведь. Ты бы хоть мой старый плащик накинул.

Но я уже с упоением и азартом, как кавалерийская лошадь, пущенная в карьер, несся, перепрыгивая через лужи и выбоины грязной мостовой.

В дверях партийного комитета, шумного, как вокзал перед отправлением поезда, я налетел на Корчагина. Если б это был не он, а кто-нибудь другой, поменьше и послабее, я, вероятно, сшиб бы его с ног. О Корчагина же я ударился, как о телеграфный столб.

— Эк тебя носит! — быстро сказал он.— Что ты, с колокольни свалился?

— Нет, не с колокольни,— сконфуженно потирая зашибленную голову и тяжело дыша, ответил я.— Семен Иванович прислал сказать, что он на Вариху...

— Знаю, звонили уже.

— Еще просили листовки.

— Послано уже. Еще что?

— Еще Ершова надо. Пусть в типографию идет. Вот записка.

— Что тут про типографию? Дай-ка записку,—вмешался в разговор незнакомый мне вооруженный рабочий в шинели, накинутой поверх старого пиджака.

— Мудрит что-то Семен,— сказал он, прочитав записку и обращаясь к Корчагину.— Чего он боится

за типографию? Я еще с обеда туда свой караул выслал.

К крыльцу подходили новые и новые люди. Несмотря на холод, двери комитета были распахнуты настежь, мелькали шинели, блузы, порыжевшие кожаные куртки. В сенях двое отбивали молотками доски от ящика. В соломе лежали новенькие, густо промазанные маслом трехлинейные винтовки. Несколько таких же уже опорожненных ящиков валялось в грязи около крыльца.

Опять показался Корчагин. На ходу он быстро говорил троим вооруженным рабочим:

— Идите скорей. Сами там останетесь. И никого без пропусков комитета не пускать. Оттуда пришлите кого-нибудь сообщить, как устроились.

— Кого послать?

— Ну, из своих кого-нибудь, кто под руку подвернется.

— Я подвернусь под руку! — крикнул я, испытывая сильное возбуждение и желание не отставать от других.

— Ну возьмите хоть его! Он быстро бегает.

Тут я увидел, что из разбитого ящика берет винтовку почти каждый выходящий из двери.

— Товарищ Корчагин,— попросил я,— все берут винтовки, и я возьму.

— Что тебе? — недовольно спросил он, прерывая разговор с крепким татуированным матросом.

— Да винтовку! Что я — хуже других, что ли?

Тут из соседней комнаты громко закричали Корчагина, и он поспешил туда, махнув на меня рукой.

Возможно, что он просто хотел, чтобы я не мешал ему, но я понял этот жест как разрешение. Выхватив из ящика винтовку и крепко прижимая ее, пустился вдогонку за сходившими с крыльца дружинниками.

Пробегая через двор, я успел уже услышать только что полученную новость: в Петрограде объявлена советская власть, Керенский бежал, в Москве идут бои с юнкерами.

## III. ФРОНТ

### *Глава первая*

Прошло полгода.

Письмо, адресованное мною к матери, в солнечный апрельский день было опущено на вокзале.

«Мама!

Прощай, прощай! Уезжаю в группу славного товарища Сиверса, который бьется с белыми войсками корниловцев и калединцев. Уезжает нас трое. Дали нам документы из сормовской дружины, в которой состоял я вместе с Белкой. Мне долго давать не хотели, говорили, что молод. Насилу упросил я Галку, и он устроил. Он бы и сам поехал, да слаб и кашляет тяжело. Голова у меня горячая от радости. Все, что было раньше,— это пустяки, а настоящее в жизни только начинается, оттого и весело...»

На третий день пути, во время шестичасовой стоянки на какой-то маленькой станции, мы узнали о том, что в соседних волостях не совсем спокойно: появились небольшие бандитские шайки и кое-где были перестрелки кулаков с продотрядами. Уже поздно ночью к составу подали паровоз. Я и мои товарищи лежали бок о бок на верхних нарах товарного вагона. Заслышав мерное постукивание колес и скрип раскачиваемого вагона, я натянул на себя крепче драповое пальто и собрался спать.

Из темноты слышался храп, покашливание, почесывание. Те, кому удалось протиснуться на нары, спали. С полу же, с мешков, из плотной кучи устроившихся кое-как то и дело доносились ворчание, ругательства и тычки в сторону напиравших соседей.

— Не пхайся, не пхайся,— спокойно ворчал бас.— Чего ты меня с моего мешка пхаешь? А то я так тебя пхну, что не запхаешься!

— Гляди-ка черт! — взвизгнул озлобленный бабий голос.— Куды же ты мне прямо сапожищами в лицо лезешь? А-ах, черт, а-ах, окаянный!

Вспыхнула спичка, тускло осветив шевелившуюся груду сапог, мешков, корзин, кепок, рук и ног, погасла, и стало еще темнее. Кто-то в углу монотонно рассказывал усталым, скрипучим голосом длинную, нудную историю своей печальной жизни. Кто-то сочувственно попыхивал цигаркой. Вагон вздрагивал, как искусанная оводами лошадь, и неровными толчками продвигался по рельсам.

Проснулся я оттого, что один из моих спутников дернул меня за руку. Я поднял голову и почувствовал, как из распахнутого окна струя приятного холодного воздуха освежающе плеснула мне в помятое лицо. Поезд шел тихо, должно быть на подъем. Огромное густое зарево обволокло весь горизонт. Над заревом, точно опаленные огнем пожара, потухали светлячки звезд и таяла побледневшая луна.

— Земля бунтует,— послышалось из темного угла чье-то спокойное, бодрое замечание.

— Плети захотела, оттого и бунтует,— тихо и озлобленно ответил противоположный угол.

Сильный треск оборвал разговоры. Вагон качнуло, ударило, я слетел с нар на головы расположившихся

на полу. Все смешалось, и черное нутро вагона с воплями кинулось в распахнутую дверь теплушки.

Крушение.

Я неловко бухнулся в канаву возле насыпи, еле успев вскочить, чтобы не быть раздавленным спрыгивавшими людьми. Два раза ударили выстрелы. Рядом какой-то человек, широко растопырив дрожащие руки, торопливо говорил:

— Это ничего... Это ничего... Только не надо бежать, а то они откроют стрельбу. Это же не белые, это здешние станичники. Они только ограбят и отпустят.

К вагону подбежали двое с винтовками, крича:

— Зз...алезай!.. Зз...алезай обратно!.. Куда выскочили?

Народ шарахнулся к теплушкам. Оттолкнутый кем-то, я оступился и упал в сырую канаву. Распластавшись, быстро, как ящерица, я пополз к хвосту поезда. Наш вагон был предпоследним, и через минуту я очутился уже наравне с тускло посвечивающим сигнальным фонарем заднего вагона. Здесь стоял мужик с винтовкой. Я хотел было повернуть обратно, но человек этот, очевидно заметив кого-то с другой стороны насыпи, побежал туда. Один прыжок — и я уже катился вниз по скату скользкого глинистого оврага. Докатившись до дна, я встал и потащился к кустам. еле поднимая облипшие глиной ноги.

Ожил лес, покрытый дымкой молодой зелени. Где-то далеко задорно перекликались петухи. С соседней поляны доносилось кваканье вылезших погреться лягушек. Кое-где в тени лежали еще островки серого снега, но на солнечных просветах прошлогодняя жесткая трава была суха. Я отдыхал, куском бересты счищал с

сапог пласты глины. Потом я взял пучок травы, обмакнул его в воду и вытер перепачканное грязью лицо.

Места незнакомые. Какими дорогами выбраться на ближайшую станцию? Где-то собаки лают — должно быть, деревня близко. Если пойти спросить? А вдруг нарвешься на кулацкую засаду? Спросят — кто, откуда, зачем. А у меня документ да еще в кармане маузер. Ну, документ, скажем, в сапог можно запрятать. А маузер? Выбросить?

Я вынул его, повертел. И жалко стало. Маленький маузер так крепко сидел в моей руке, так спокойно поблескивал вороненой сталью плоского ствола, что я устыдился своей мысли, погладил его и сунул обратно за пазуху, во внутренний, приделанный к подкладке потайной карман.

Утро было яркое, гомонливое, и мне на пенушке посреди желтой полянки не верилось тому, что есть какая-то опасность.

Пинь, пинь... таррах! — услышал я рядом с собой знакомый свист. Крупная лазоревая синица села над головой на ветку и, скосив глаза, с любопытством посмотрела на меня.

Пинь, пинь... таррах... здравствуй! — присвистнула она, перескочив с ноги на ногу.

Я невольно улыбнулся и вспомнил Тимку Штукина. Он звал синиц дурохвостками. Ведь вот, давно ли еще?.. И синицы, и кладбище, игры... А теперь поди-ка... И я нахмурил лоб. Что же делать все-таки?

Совсем недалеко щелкнул бич и послышалось мычание. «Стадо,— понял я.— Пойду-ка спрошу у пастуха дорогу. Что мне пастух сделает? Спрошу, да и скорей с глаз долой».

Небольшое стадо коров, лениво и нехотя отрывав-

ших клочки старой травы, медленно двигалось вдоль опушки. Рядом шел старик пастух с длинной, увесистой палкой. Неторопливой и спокойной походкой гуляющего человека я подошел к нему сбоку:

— Здорово, дедушка!

— Здорово! — ответил он не сразу и, остановившись, начал оглядывать меня.

— Далече ли до станции?

— До станции? До какой же тебе станции?

Тут я замялся. Я даже не знал, какая станция мне нужна, но старик сам выручил меня:

— До Александровки, что ли?

— Как раз же,— согласился я.— До нее самой. А то я шел, да сплутал немного.

— Откуда идешь-то?

Опять я запнулся.

— Оттуда,— насколько мог спокойнее ответил я, неопределенно махая рукой в сторону видневшейся у горизонта деревушки.

— Гм... оттуда... Значит, с Деменева, что ли?

— Как раз прямо с Деменева.

Тут я услышал ворчание собаки и шаги. Обернувшись, я увидел подходившего к старику здоровенного парня, должно быть подпаска.

— Что тут, дядя Лександр? — спросил он, не переставая жевать ломоть ржаного хлеба.

— Да вот, прохожий человек... Дорогу на станцию Александровку спрашивает. А говорит, что идет сам из Деменева.

Парень опустил ломоть и, выпялив на меня глаза, спросил недоумевая:

— То ись как же это?

— Я уж и сам не знаю как, когда Деменево в акку-

рат при самой станции стоит. Что Александровка, что Деменево — все одно и то же. И как его сюда занесло?

— В село обязательно отправить надо,— спокойно посоветовал парень.— Пусть там, на заставе, разбирают. Мало ли чего он набрешет!

Хотя я и не знал еще, что такое за застава, которая «все разберет», и как она разбирать будет, но мне уже не хотелось идти на село по одному тому, что сёла здесь были богатые и неспокойные. И поэтому, не дожидаясь дальнейшего, сильным прыжком отскочил от старика и побежал от опушки в лес.

Парень скоро отстал. Но проклятая собака успела дважды укусить меня за ногу. Впрочем, боли я тогда не чувствовал, как не чувствовал нахлестывания веток, растопыривших цепкие пальцы перед моим лицом, ни кочек, ни пней, попадавших под ноги.

Так проблуждал я по лесу до вечера. Лес был не дикий, так как торчали пни срубленных деревьев.

Чем больше старался я забраться вглубь, тем реже становились деревья и чаще попадались поляны со следами лошадиных копыт и навоза. Наступила ночь. Я устал, был голоден и исцарапан. Нужно было думать о ночлеге. Выбрав укромное сухое местечко под кустом, положил под голову чурбан и лег. Усталость начала сказываться. Щеки горели, и побаливала прокушенная собакой нога. «Засну,— решил я.— Сейчас ночь, никто меня здесь не найдет. Я устал... засну, а утром что-нибудь придумаю».

Засыпая, вспомнил Арзамас, пруд, нашу войну на плотах, свою кровать со старым теплым одеялом. Еще вспомнил, как мы с Федькой наловили голубей и изжарили их на Федькиной сковороде. Потом тайком съели. Голуби были такие вкусные...

По верхушкам деревьев засвистел ветер. Пусто и страшно показалось мне в лесу. Теплым, душистым, как жирный праздничный пирог, всплыл в моем воображении прежний Арзамас.

Я натянул на голову воротник и почувствовал, как непрошеная слеза скатилась по щеке. Я все-таки не плакал.

В эту ночь, коченея от холода, я вскакивал, бегал по полянке, пробовал залезть на березу и, чтобы разогреться, начинал даже танцевать. Отогревшись, ложился опять и через некоторое время, когда лесные туманы забирали у меня тепло, вскакивал вновь.

## *Глава вторая*

Опять взошло солнце, и стало тепло; затенькали пичужки, и приветливо закричали с неба веселые вереницы журавлей. Я уже улыбался и радовался тому, что ночь прошла и не было больше никаких пасмурных мыслей, кроме разве одной — где бы достать поесть.

Не успел я пройти и двухсот шагов, как услышал гогот гусей, хрюканье свиньи и сквозь листву увидел зеленую крышу одинокого хутора.

«Подкрадусь,— решил я.— Посмотрю, если нет ничего подозрительного, спрошу дорогу и попрошу немного поесть».

Встал за кустом бузины. Было тихо. Людей не было видно, из трубы шел легкий дымок. Стайка гусей вперевалку направлялась в мою сторону. Легкий хруст обломанной веточки раздался сбоку от меня. Ноги разом напряглись, и я повернул голову. Но тотчас же испуг мой сменился удивлением. Из-за куста, в десяти шагах в стороне, на меня пристально смотрели глаза прита-

ившегося там человека. Человек этот не был хозяином хутора, потому что сам спрятался за ветки и следил за двором. Так поглядели мы один на другого внимательно, настороженно, как два хищника, встретившихся на охоте за одной и той же добычей. Потом по молчаливому соглашению завернули подальше в чащу и подошли один к другому.

Он был одного роста со мной. На мой взгляд, ему было лет семнадцать. Черная суконная тужурка плотно обхватывала его крепкую, мускулистую фигуру, но на ней не было ни одной пуговицы — похоже, что пуговицы были не случайно оторваны, а нарочно срезаны. К его крепким брюкам, заправленным в запачканные глиной хромовые сапоги, пристало несколько сухих колючек.

Бледное, измятое лицо с темными впадинами под глазами заставляло думать, что он, вероятно, тоже ночевал в лесу.

— Что,— сказал он негромко, кивая головой в сторону хутора,— думаешь туда?

— Туда,— ответил я.— А ты?

— Не дадут,— проговорил он.— Я увидел уже: там трое здоровенных мужиков. Мало ли на что попасть можно!

— А тогда как же?.. Ведь есть-то надо!

— Надо,— согласился он.— Только не Христа ради. Нынче милостыню не подают. Ты кто?— спросил он и, не дожидаясь ответа, добавил: — Ладно... Мы и сами достанем. Одному трудно, я пробовал уже, а вдвоем достанем. Тут, в кустах, гуси бродят, здоровые.

— Чужие?

Он посмотрел на меня, как бы удивляясь нелепости моего замечания, и добавил тихо:

— Нынче чужого ничего нет — нынче все свое. Ты зайди за полянку и гони тихонько гуся на меня, а я за кустом спрячусь.

Наметив отбившегося от стайки толстого серого гуся, я преградил ему дорогу. Гусь повернулся и неторопливо пошел прочь, иногда останавливаясь и тыкаясь клювом в землю. Шаг за шагом я подвигался, загоняя его к месту засады. Вот он почти поравнялся с кустом и вдруг, насторожившись, изогнул шею и посмотрел в мою сторону, как бы озадаченный настойчивостью моего преследования. Постояв немного, он решительно направился назад, но тут с быстротою кота, бросающегося за выслеженным воробьем, незнакомец метнулся из-за куста и крепко впился руками в гусиную шею. Птица едва успела крикнуть. Загоготало разом встревоженное стадо, и незнакомец с трепыхавшимся гусем бросился в чащу. Я за ним.

Долго гусь еще хлопал крыльями, дергал лапами и, обессиленный, затих только тогда, когда мы очутились в укромном глухом овраге. Тогда незнакомец отшвырнул гуся и, доставая табак, сказал, тяжело дыша:

— Хватит. Здесь можно и остановиться.

Новый товарищ вынул перочинный нож и стал молча потрошить гуся, изредка поглядывая в мою сторону. Я набрал хворосту, навалил целую груду и спросил:

— Спички есть?

— Возьми,— и окровавленными пальцами он осторожно протянул коробок.— Не трать много.

Тут я как следует разглядел его. Налет пыли, осевший на коже, не мог скрыть ровной белизны подвижного лица. Когда он говорил, правый уголок его рта чуть вздрагивал и одновременно немного прищуривался левый глаз. Он был старше меня года на два и, по-

видимому, сильнее. Пока украденный гусь жарился на вертеле, распространяя вокруг мучительно аппетитный запах, мы лежали на траве.

— Курить хочешь? — спросил незнакомец.

— Нет, не курю.

— Ты в лесу ночевал?.. Холодно,— добавил он, не ожидая ответа.— Ты как сюда попал? Тоже оттуда? — И он махнул рукой в сторону полотна железной дороги.

— Оттуда. Я убежал с поезда, когда его остановили.

— Документы проверяли?

— Нет,— удивился я.— Какие там документы — бандиты напали.

— А-а-а...— И он молча запыхтел папиросой.

— Ты куда пробираешься? — после долгого молчания неожиданно спросил он.

— Я на Дон...— начал было я и замолчал.

— На До-он? — протянул он привставая.— Ты... на Дон?

Быстрая и недоверчивая улыбка пробежала по его тонким потрескавшимся губам, прищуренные глаза широко раскрылись, но тотчас потухли, лицо его стало равнодушным, и он спросил лениво:

— Что же, у тебя там родные, что ли?

— Родные...— ответил я осторожно, потому что почувствовал, как он старается выпытать все обо мне, а сам умышленно остается в тени.

Он опять замолчал, повернул на другой бок гуся, с которого скатывались капли шипящего жира, и сказал спокойно:

— Я тоже в те места пробираюсь, только не к родным, а в отряд к Сиверсу.

Он рассказал мне, что учился в Пензе, приехал к дяде-учителю в находившуюся неподалеку отсюда во-

лость, но в волости восстали кулаки, и он еле успел убежать.

Уплетая разорванного на части, обгоревшего и пахнувшего дымом гуся, мы долго и дружески болтали с ним. Я был счастлив, что нашел себе товарища. Прибавилось сразу бодрости, и казалось, что теперь вдвоем нетрудно будет выкрутиться из ловушки, в которую мы оба попали.

— Ляжем спать, пока солнце,— предложил новый товарищ.— Сейчас хоть выспимся, а то ночью из-за холода глаз не сомкнуть.

Мы растянулись на лужайке, и вскоре я задремал. Вероятно, я и уснул бы, если бы не муравей, заползший мне в ноздрю. Я приподнялся и зафыркал. Товарищ уже спал. Ворот его гимнастерки был расстегнут, и на холщовой подкладке я увидел вытисненные черной краской буквы: Гр. А. К. К.

«Какое же это училище? — подумал я.— У меня, например, на пряжке пояса буквы А. Р. У., то есть Арзамасское реальное училище. А здесь Гр., потом А. К. К.». И так я прикладывал и этак — ничего не выходило. «Спрошу, когда проснется»,— решил я.

После жирной еды мне захотелось пить. Воды поблизости не было, я решил спуститься на дно оврага, где, по моим предположениям, должен был пробегать ручей. Ручей я нашел, но из-за вязкого берега подойти к нему было трудно. Я пошел вниз, надеясь разыскать более сухое место. По дну оврага, параллельно течению ручья, пролегала неширокая проселочная дорога. На сырой глине я увидел отпечатки лошадиных подков и свежий конский навоз. Похоже было на то, что утром здесь прогоняли табун. Наклонившись, чтобы поднять выпущенную из рук палочку, я заметил на дороге

какую-то блестящую, втоптанную в грязь вещичку. Я поднял ее и вытер. Это была сорванная с зацепки жестяная красная звездочка, одна из тех непрочных, грубовато сделанных звездочек, которые красными огоньками горели в восемнадцатом году на папахах красноармейцев, на блузах рабочих и большевиков.

«Как она очутилась здесь?» — подумал я, внимательно оглядывая дорогу. И, опять наклонившись, заметил пустую гильзу от трехлинейной винтовки.

Позабыв даже напиться, я понесся обратно к оставшемуся товарищу. Товарищ почему-то не спал и стоял возле куста, осматриваясь по сторонам и, по-видимому, разыскивая меня.

— Красные! — крикнул я во все горло, подбегая к нему сбоку.

Он отпрыгнул согнувшись, как будто сзади него раздался выстрел, и обернулся ко мне с перекошенным от страха лицом.

Но, увидев только одного меня, он выпрямился и сказал сердито, пытаясь объяснить как-нибудь свой испуг:

— Черт... гаркнул под самое ухо...

— Красные,— гордо повторил я.

— Где красные? Откуда?

— Сегодня утром проходили. По всей дороге следы от подков, навоз совсем свежий... Гильза стреляная и это...— Я протянул ему звездочку.

Товарищ облегченно вздохнул:

— Ну, так бы и говорил.— И опять добавил, как бы оправдываясь: — А то кричит... Я черт знает что подумал.

— Идем скорей... идем по той же дороге. Дойдем до первой деревни, они, может быть, там еще отдыхают. Идем же,— торопил я,— чего раздумывать?

— Идем,— согласился он, как мне показалось, после некоторого колебания.— Да, да, конечно, идем.

Он провел рукой по шее, и опять передо мной мелькнули буквы на холщовой подкладке: Гр. А. К. К.

— Слушай,— спросил я,— что означают у тебя эти буквы?

— Какие еще буквы? — недовольно спросил он, наглухо застегиваясь.

— А на воротнике?

— Черт их знает. Это не мой костюм. Я купил его по случаю.

— А-а... А я бы никогда не сказал, что по случаю,— весело, шагая рядом с ним, говорил я.— Костюм как нарочно по тебе сшит. Мне раз мать купила штаны по случаю, так сколько, бывало, ни подтягивай, всё сваливаются.

Чем ближе мы подходили к незнакомой деревеньке, тем чаще и чаще останавливался мой товарищ.

— Нечего торопиться,— убеждал он,— вечером, в сумерках, удобнее подойти будет. В случае, если отряда там нет, нас никто не заметит. Пройдем задами, да и только. А то сейчас чужому человеку в незнакомой местности опасно.

Я соглашался с ним, что в сумерках разведать безопаснее, но меня брало нетерпение скорее попасть к своим, и я еле сдерживал шаг.

Не доходя до деревеньки, мой спутник остановился у заросшей кустарником лощины, предложил свернуть с дороги и обсудить, как быть дальше. В кустах он сказал мне:

— Я так думаю, что вдвоем на рожон переть нечего. Давай — один останется здесь, а другой проберется огородами к деревне и разузнает. Меня что-то сомне-

ние берет. Тихо уж очень, и собаки не лают. Красных там, может, и нет, а кулачье с винтовками найдется.

— Давай тогда вдвоем проберемся.

— Вдвоем хуже. Чудак! — И он дружески похлопал меня по плечу.— Ты останься, а я один как-нибудь управлюсь, а то зачем тебе понапрасну рисковать? Ты ожидай меня здесь.

«Хороший парень,— подумал я, когда он ушел.— Странный немного, а хороший. Иной бы опасное на другого свалил или предложил жребий тянуть, а этот сам идти вызвался».

Вернулся он через час — раньше, чем я ожидал. В руках его была увесистая, по-видимому только что срезанная и обструганная дубинка.

— Скоро ты! — крикнул я.— Ну что же?

— Нету,— еще издалека замотал он головой.— И нет и не было вовсе! Должно быть, красные завернули на другую дорогу, к Суглинкам, это недалеко отсюда.

— Да хорошо ли ты узнал? — переспросил я упавшим голосом.— Неужели так и нет?

— Так-таки и нет. Мне в крайней избе старуха сказала, да еще мальчишка в огороде попался, тот тоже подтвердил. Видно, брат, заночуем здесь, а завтра дальше вслед.

Я опустился на траву и задумался. И тут-то подкралось ко мне мое первое сомнение в правдивости слов моего спутника. Смутила меня его палка. Палка была тяжелая, дубовая, вырезанная налобком, то есть с шишкой на конце. Видно было, что он вырезал ее только что. До деревни отсюда около часа ходьбы. Если крадучись пробираться да порасспросить и вернуться, тут как раз в два часа еле-еле управишься, а он

ходил никак не больше часа и за это время успел еще дубовую палку вырезать и обделать. А над нею одной с перочинным ножом возни не меньше получаса! Неужели он струсил, ничего не разузнал и просидел все время в кустах? Нет, не может быть, он же сам вызвался идти разузнать. Зачем же тогда было ему вызываться? Да он и не похож на труса. Конечно, страшно, нечего и говорить, но ему самому надо ведь как-то выбраться. Натаскали охапку сухих листьев и улеглись рядом, укрывшись моим пальто. Так лежали молча с полчаса. Сырость от земли начинала холодить бок. «Листьев набрали мало»,— подумал я и поднялся.

— Ты чего? — полусонным недовольным голосом спросил товарищ.— Чего тебе не спится?

— Сыро... Ты лежи, а я сейчас еще охапки две подброшу.

Рядом листву мы уже подобрали, и я пошел в кусты поближе к дороге. Луна только еще всходила, и в темноте было трудно разобраться. Попадались под руку сучья и ветки. Тихий стук донесся со стороны дороги. Кто-то не то шел, не то ехал. Бросив охапку и стараясь не задевать веток, я направился к дороге.

По сырой, мягкой земле неторопливо и почти бесшумно продвигалась крестьянская подвода. Разговаривали вполголоса двое.

— Да ведь как сказать,— спокойно говорил один.— Да ведь если разобраться, он, может, и правильно говорил.

— Командир-от? — переспросил другой.— Конешно, может, и правильно. Да кабы они тут постоянно стояли, а то нынче приехали, поговорили — и дальше. А там придут опять наши заправилы и хотя бы мне, к примеру, скажут: «Ах, такой-разэдакий, ты кулаков

показывал, душа из тебя вон!» Красным что... Побыли, а сегодня опять подводы наряжают, а наши-то всегда около. Вот тут и почеши затылок!

— Подводы наряжают?

— А то как же. С вечеру стучал Федор, солдат ихний, чтобы, значит, к двенадцати подводу.

Голоса стихли. Я стоял, не зная, что думать. Значит, правда: значит, красные все-таки в деревне. Значит, мой спутник обманул меня. Красные уезжают, а потом ищи их опять. Надо скорее. Но зачем он обманул меня?

Первою мыслью было броситься одному и бежать по дороге в деревню. Но тут я вспомнил, что пальто мое осталось на полянке. «Надо все-таки вернуться, успею еще. Да и этому сказать надо, хоть он и трус, а все-таки свой же».

Сбоку шорох. Я увидел, что мой товарищ выходит из-за кустов. Очевидно, он пошел вслед за мной и, так же спрятавшись, подслушивал разговор проезжавших мужиков.

— Ты что же это? — укоризненно и сердито начал было я.

— Идем! — вместо ответа возбужденно проговорил он.

Я сделал шаг в сторону дороги, он — за мной.

Сильный удар дубины сбил меня с ног. Удар был тяжел, хотя его и ослабила моя меховая шапка. Я открыл глаза. Опустившись на корточки, мой спутник торопливо разглядывал при лунном свете вытащенный из кармана моих штанов документ.

«Вот что ему нужно было,— понял я.— Вот оно что: он вовсе не трус, он знал, что в деревне красные, и нарочно не сказал этого, чтобы оставить меня



Сжав задергавшиеся губы, точно распрямляя затекшую руку, я вынул маузер...

ночевать и обокрасть. Он даже и не повстанец, потому что сам боится кулаков, он — настоящий белый».

Я сделал попытку привстать, с тем чтобы отползти в кусты. Незнакомец заметил это, сунул документы в свою кожаную сумку и подошел ко мне.

— Ты не сдох еще? — холодно спросил он.— Собака, нашел себе товарища! Я бегу на Дон, только не к твоему собачьему Сиверсу, а к генералу Краснову.

Он стоял в двух шагах от меня и помахивал тяжелой дубиной.

Тут-тук...— стукнуло сердце.— Тут-тук...— настойчиво заколотилось оно обо что-то крепкое и твердое. Я лежал на боку, и правая рука моя была на груди. И тут я почувствовал, как мои пальцы осторожно, помимо моей воли, пробираются за пазуху, в потайной карман, где был спрятан маузер.

Если незнакомец даже и заметил движение моей руки, он не обратил на это внимания, потому что не знал ничего про маузер. Я крепко сжал теплую рукоятку и тихонько сдернул предохранитель. В это время мой враг отошел еще шага на три — то ли затем, чтобы лучше оглядеть меня, а вернее всего затем, чтобы с разбегу еще раз оглушить дубиной. Сжав задергавшиеся губы, точно распрямляя затекшую руку, я вынул маузер и направил его в сторону приготовившегося к прыжку человека.

Я видел, как внезапно перекосилось его лицо, слышал, как он крикнул, бросаясь на меня, и скорее машинально, чем по своей воле, я нажал спуск...

Он лежал в двух шагах от меня со сжатыми кулаками, вытянутыми в мою сторону. Дубинка валялась рядом.

«Убит»,— понял я и уткнул в траву отупевшую голову, гудевшую, как телефонный столб от ветра.

Так, в полузабытьи, пролежал я долго. Жар спал. Кровь отлила от лица, неожиданно стало холодно, и зубы потихоньку выбивали дробь. Я приподнялся, посмотрел на протянутые ко мне руки, и мне стало страшно. Ведь это уже всерьез! Все, что происходило в моей жизни раньше, было, в сущности, похоже на игру, даже побег из дома, даже учеба в боевой дружине со славными сормовцами, даже вчерашнее шатанье по лесу, а это уже всерьез. И страшно стало мне, пятнадцатилетнему мальчугану, в черном лесу рядом с по-настоящему убитым мною человеком... Голова перестала шуметь, и холодной росой покрылся лоб.

Подталкиваемый страхом, я поднялся, на цыпочках подкравшись к убитому, схватил валявшуюся на траве сумку, в которой был мой документ, и задом, не спуская с лежащего глаз, стал пятиться к кустам. Потом обернулся и напролом через кусты побежал к дороге, к деревне, к людям — только бы не оставаться больше одному.

## *Глава третья*

У первой хаты меня окликнули:

— Кого черт несет? Эй, хлопец! Да стой же ты, балда этакая!

Из тени от стены хаты отделилась фигура человека с винтовкой и направилась ко мне.

— Куда несешься? Откуда? — спросил дозорный, поворачивая меня лицом к лунному свету.

— К вам...— тяжело дыша, ответил я.— Ведь вы товарищи...

Он перебил меня:

— Мы-то товарищи, а ты кто?

— Я тоже...— отрывисто начал было я. И, почувствовав, что не могу отдышаться и продолжать говорить, молча протянул ему сумку.

— Ты тоже? — уже веселее, но еще с недоверием переспросил дозорный.— Ну, пойдем тогда к командиру, коли ты тоже!

Несмотря на поздний час, в деревне не спали. Ржали кони. Скрипели распахиваемые ворота — выезжали крестьянские подводы, и кто-то орал рядом:

— До-ку-кин!.. До-ку-кин!.. Куда ты, черт, делся?

— Чего, Васька, горланишь? — строго спросил мой конвоир, поравнявшись с кричавшим.

— Да Мишку ищу,— рассерженно ответил тот.— Нам сахар на двоих выдали, а ребята говорят, что его с караулом к эшелону вперед отсылают.

— Ну и отдаст завтра.

— Отдаст, дожидайся! Будет утром чай пить и сопьет зараз. Он на сладкое падкий!

Тут говоривший заметил меня и, сразу переменив тон, спросил с любопытством:

— Кого это ты, Чубук, поймал? В штаб ведешь? Ну, веди, веди. Там ему покажут. У, сволочь...— неожиданно выругал он меня и сделал движение, как бы намереваясь подтолкнуть меня концом приклада.

Но мой конвоир отпихнул его и сказал сердито:

— Иди, иди... Тебя тут не касается. Нечего на человека допрежь времени лаять. Вот кобель, ей-богу, истинный кобель!

Дзинь-дзинь!.. Дзик-дзак!..— послышался металлический лязг сбоку. Человек в черной папахе, при шпорах, с блестящим волочившимся палашом, с деревян-

ной кобурой маузера и нагайкой, перекинутой через руку, выводил коня из ворот.

Рядом шел горнист с трубой.

— Сбор,— сказал человек, занося ногу в стремя.

Та-та-ра-та... тата...— мягко и нежно запела сигнальная труба.— Та-та-та-та-а-а...

— Шебалов,— окрикнул мой провожатый,— погодь! Вот до тебя человека привел.

— На што? — не опуская занесенной в стремя ноги, спросил тот.— Что за человек?

— Говорит, что наш, свой, значит... и документы...

— Некогда мне,— ответил командир, вскакивая на коня.— Ты, Чубук, и сам грамотный, проверь... Коли свой, так отпусти, пусть идет с богом.

— Я никуда не пойду,— заговорил я, испугавшись возможности опять остаться одному.— Я и так два дня один по лесам бегал. Я к вам пришел. И я с вами хочу остаться.

— С нами? — как бы удивляясь, переспросил человек в черной папахе.— Да ты, может, нам и не нужен вовсе!

— Нужен,— упрямо повторил я.— Куда я один пойду?

— А верно ж! Если вправду свой, то куда он один пойдет? — вступился мой конвоир.— Нынче одному здесь прогулки плохие. Ты, Шебалов, не морочь человеку голову, а разберись. Когда врет, так одно дело; а если свой, так нечего от своего отпихиваться. Слазь с жеребца-то, успеешь.

— Чубук! — сурово проговорил командир.— Ты как разговариваешь? Кто этак с начальником разговаривает? Я командир или нет? Командир я, спрашиваю?

— Факт! — спокойно согласился Чубук.

— Ну, так тогда я и без твоих замечаний слезу.

Он соскочил с коня, бросил поводья на ограду и, громыхая палашом, направился в избу.

Только в избе, при свете сальной коптилки, я разглядел его как следует. Бороды и усов не было. Узкое, худощавое лицо его было коряво. Густые белесоватые брови сходились на переносице, из-под них выглядывала пара добродушных глаз, которые он нарочно щурил, очевидно для того, чтобы придать лицу надлежащую суровость. По тому, как долго он читал мой документ и при этом слегка шевелил губами, я понял, что он не особенно грамотен. Прочитав документ, он протянул его Чубуку и сказал с сомнением:

— Ежели не фальшивый документ, то, значит, настоящий. Как ты думаешь, Чубук?

— Ага! — спокойно согласился тот, набивая махоркой кривую трубку.

— Ну, как ты сюда попал? — спросил командир.

Я начал рассказывать горячо и волнуясь, опасаясь, что мне не поверят. Но, по-видимому, мне поверили, потому что, когда я кончил, командир перестал щурить глаза и, обращаясь к Чубуку, проговорил добродушно:

— А ведь если не врет, то, значит, вправду наш паренек! Как тебе показалось, Чубук?

— Угу, — спокойно подтвердил Чубук, выколачивая пепел о подошву сапога.

— Ну, так что же мы будем с ним делать-то?

— А мы зачислим его в первую роту, и пускай ему Сухарев даст винтовку, которая осталась от убитого Пашки,— подсказал Чубук.

Командир подумал, постучал пальцами по столу и приказал серьезно:

— Так сведи же его, Чубук, в первую роту и ска-

жи Сухареву, чтобы дал он ему винтовку, которая осталась от убитого Пашки, а также патронов, сколько полагается. Пусть он внесет этого человека в списки нашего революционного отряда.

Дзинь-дзинь!.. Дзик-дзак!..— лязгнул палаш, шпоры и маузер. Распахнув дверь, командир неторопливо спустился к коню.

— Идем,— сказал солидный Чубук и неожиданно потрепал меня по плечу.

Сноза труба сигналиста мягко, переливчато запела. Громче зафыркали кони, сильней заскрипели подводы. Почувствовав себя необыкновенно счастливым, я улыбался, шагая к новым товарищам. Всю ночь мы шли. К утру погрузились в поджидавший нас на каком-то полустанке эшелон. К вечеру прицепили ободранный паровоз, и мы покатили дальше, к югу, на помощь отрядам и рабочим дружинам, боровшимся с захватившими Донбасс немцами, гайдамаками и красновцами.

Наш отряд носил гордое название «Особый отряд революционного пролетариата». Бойцов в нем оказалось немного, человек полтораста. Отряд был пеший, но со своей конной разведкой в пятнадцать человек под командой Феди Сырцова. Всем отрядом командовал Шебалов—сапожник, у которого еще пальцы не зажили от порезов дратвой и руки не отмылись от черной краски. Чудной был командир! Ребята относились к нему с уважением, хотя и посмеивались над некоторыми его слабостями. Одной его слабостью была любовь к внешним эффектам: конь был убран красными лентами, шпоры (и где он их только выкопал, в музее, что ли?) были неимоверной длины, изогнутые, с зубцами,— такие я видел только на картинках с изображением средневековых рыцарей; длинный никелирован-

ный палаш спускался до земли, и в деревянную покрышку маузера была врезана медная пластинка с вытравленным девизом: «Я умру, но и ты, гад, погибнешь!» Говорили, что дома у него осталась жена и трое ребят. Старший уже сам работает. Дезертировав после Февраля с фронта, он сидел и тачал сапоги, а когда юнкера начали громить Кремль, надел праздничный костюм, чужие, только что сшитые на заказ хромовые сапоги, достал на Арбате у дружинников винтовку и с тех пор, как выражался он, «ударился навек в революцию».

## *Глава четвертая*

Через три дня, не доезжая немного до станции Шахтной, отряд спешно выгрузился.

Примчался откуда-то молодой парнишка-кавалерист, сунул Шебалову пакет и сказал, улыбаясь, точно сообщая какую-то приятную новость:

— А вчера уйму наших немцы у Краюшкова положили. Беда прямо, какая жара была!

Отряду была дана задача: минуя разбросанные по деревенькам части противника, зайти в тыл и связаться с действующим отрядом донецких шахтеров Бегичева.

— А что же связаться? — недовольно проговорил Шебалов, тыкая пальцем в карту.— Где я тот отряд искать буду? Накося, написали: между Олешкином и Сосновкой! Ты мне точно место дай, а то «связаться» да еще «между»...

Тут Шебалов выругал штабных начальников, которые ни черта не смыслят в деле, а только горазды приказы писать, и велел скликать ротных командиров. Однако, несмотря на ругань по адресу штабников, Шебалов был доволен тем, что получил самостоятельную

задачу и не был подчинен какому-нибудь другому, более многочисленному отряду.

Командиров было трое: бритый и спокойный чех Галда, хмурый унтер Сухарев и двадцатитрехлетний весельчак, гармонист и плясун, бывший пастух Федя Сырцов.

Все они расположились на полянке вокруг карты, посреди плотного кольца обступивших красноармейцев.

— Ну,— сказал Шебалов, приподнимая бумагу.— Согласно, значит, полученному мною приказу, приходится идти нам в неприятельский тыл, чтобы действовать вблизи отряда Бегичева, и должны мы выступить сегодня в ночь, минуя и не задевая встречных неприятельских отрядов. Понятно вам это?

— Ну, уж и не задевая? Как же это можно, чтобы не задевая? — с хитроватой наивностью спросил Федя Сырцов.

— А так и не задевая,— настороженно повернув голову, ответил Шебалов и показал Феде кулак.— Я тебя, черта, знаю... Я тебе задену! Ты у меня смотри, чтоб без фокусов... Значит, в ночь выступаем,— продолжал он.— Подвод никаких, пулемет и патроны на вьюки, чтобы ни шуму, ни грому. Ежели деревенька какая на пути — обходить осторожно, а не рваться до нее, как голодные собаки до падали. Это тебя, Федор, особенно касается... У тебя твои байбаки, ежели хутор хоть в стороне заметят, все им нипочем, так и прут на сметану.

— У мине тоже прут,— сознался чех Галда.— У мине прошлый рас расфедчики катку с сирой теста приносиль. Я им говориль: «Защем притащиль сирой?», а они мине говориль: «На огонь пекать будем...»

Все рассмеялись, и даже Шебалов улыбнулся.

— Это за Дебальцевом еще,— засмеялся рядом со мной Васька Шмаков.— Это он про нас жалуется. Мы в разведку ходили, к казаку попали; богатый казак. Как нас из его халупы стеганули из винтовок, ну, да только все равно мы доперли до хутора, смотрим, а там никого уже. Печь топится, квашня на столе. Мы запалили хутор, квашню с собою забрали; потом вечером на кострах запекли. Вкусное тесто, сдобное... чистый кулич.

— Сожгли хутор? — переспросил я.— Разве можно хутор сжигать?

— Дочиста,— хладнокровно ответил Васька.— Как же нельзя, раз из него по нас хозяева стрельбу открыли? Они, казаки, вредные. Он богатый, ему што—новый строить начнет, чем гайдамачничать.

— А ежели еще больше обозлится и еще больше за это красных ненавидеть будет?

— Больше не будет,— серьезно ответил Васька.— Который богатый, тому больше ненавидеть уже некуда! У нас Петьку Кокшина поймали, так прежде, чем погубить, три дня плетьми тиранили. А ты говоришь— больше... Куда же еще больше-то?

Перед ночным походом ребята варили в котелках кашу с салом, пекли на углях картошку, валялись на траве, чистили винтовки и отдыхали. В повозке у ротного Сухарева я увидел лишнюю старую шинель. Подол ее был прожжен, но шинель была еще крепкая и годная к носке. Я попросил ее у Сухарева.

— На што она тебе? — спросил он грубовато.— У тебя ж свое пальто, да еще драповое, мне шинелька самому нужна. Я из нее себе штаны сошью.

— А ты сшей из моего,— предложил я,— честное слово... А то все ребята в шинелях, а я черный, как ворона.

— Ну-у! — Тут Сухарев с удивлением посмотрел на меня. Его мужиковатое топорное лицо расплылось в недоверчивую улыбку.— Сменяешь? Конешно,— быстро заговорил он.— И на самом деле, какой же ты солдат в пальте? И виду никакого вовсе. Шинелька, не смотри, что прожжена немного, ее обкоротить можно. А я тебе в придачу серую папаху дам, у меня осталась лишняя.

Мы обменялись с ним, оба довольные своей сделкой. Когда я в форме заправского красноармейца, с закинутой за плечо винтовкой отходил от него, он сказал подошедшему Ваське:

— Обязательно, как будет случай, бабе отошлю. Ему на што оно! Стукнет пуля — вот тебе и все пальто спортила, а дома баба куда как рада будет!

Ночью с первого же попавшегося хутора Федя Сырцов добыл двух проводников. Двух, для того чтобы не попал отряд на чужую, вражью дорогу. Проводников разделили порознь, и когда на перекрестках один показывал, что надо брать влево, то спрашивали другого, и только в том случае, если направления сходились, сворачивали по указанному пути.

Шли сначала лесом по два, поминутно натыкаясь на передних. Федя Сырцов еще заранее приказал обернуть копыта лошадей портянками. К рассвету свернули с дороги в рощу. Выбрались на поляну и решили отдыхать: дальше при свете двигаться было опасно. Возле дороги, в гуще малинника, оставили секрет, а к полудню западный ветер донес густые раскаты артиллерийской перестрелки.

Мимо прошел озабоченный Шебалов. Рядом упругой, крепкой походкой шагал Федя и быстро говорил что-то командиру. Остановились возле Сухарева.

До меня долетели слова:

— Разведка по оврагу.

— Конных?

— Конных нельзя, заметно слишком. Пошли трех своих, Сухарев.

— Чубук,— негромко, как бы спрашивая, сказал Шебалов,— ты за старшего пойдешь. С собой Шмакова возьми и еще выбери кого-нибудь понадежнее.

— Возьми меня, Чубук,— тихо попросил я.— Я буду очень надежным.

— Возьми Симку Горшкова,— предложил Сухарев.

— Меня, Чубук,— зашептал я опять,— возьми меня... Я буду самый надежный.

— Угу,— сказал Чубук и мотнул головой.

Я вскочил, едва не завизжав, потому что сам не верил в то, что меня возьмут на такое серьезное дело. Пристегнув подсумок и вскинув винтовку на плечо, остановился, смущенный пристальным, недоверчивым взглядом Сухарева.

— Зачем его берешь? — спросил он Чубука.— Он тебе все дело испортить может — возьми Симку.

— Симку? — переспросил, как бы раздумывая, Чубук и, чиркая спичкой, закурил.

«Дурак! — бледнея от обиды и ненависти к Сухареву, прошептал я про себя.— Как он может при всех так отзываться обо мне? А не возьмут, так я нарочно сам проберусь... Нарочно до самой деревни, все разузнаю и вернусь. Пусть тогда Сухарев сдохнет от досады!»

Чубук закурил, хлопнул затвором, вложил в магазин четыре патрона, пятый дослал в ствол и, поставив на предохранитель, сказал равнодушно, точно не чувствуя, как важно для меня его решение:

— Симку? Что ж, можно и Симку.— Он поправил

патронташ и, взглянув на мое побледневшее лицо, неожиданно улыбнулся и сказал грубовато: — Да что ж Симку... Он... и этот постарается, коли у него есть охота. Пошли, парень!

Я кинулся к опушке.

— Стой! — строго остановил меня Чубук.— Не жеребцуй, это тебе не на прогулку. Бомба у тебя есть? Нету? Возьми у меня одну. Погоди, да не суй ее в карман рукояткой, станешь вынимать, кольцо сдернешь. Суй запалом вниз. Ну, так. Эх, ты,— добавил он уже мягко,— белая горячка!

## *Глава пятая*

— Пробирайся по правому скату,— приказал Чубук.— Шмаков пойдет по левому, я — вниз посередке. Как что заметите, так мне знак подавайте.

Мы стали медленно продвигаться. Через полчаса на краю левого ската, чуть-чуть позади, я увидел Шмакова. Он шел согнувшись, немного выставив голову вперед. Обыкновенно добродушно-плутоватое, лицо его было сейчас серьезно и зло.

Овраг сделал изгиб, и я потерял из виду и Шмакова и Чубука. Я знал, что они где-то здесь, неподалеку, так же как и я, продвигаются, укрываясь за кусты, и сознание того, что, несмотря на кажущуюся разрозненность, мы крепко связаны общей задачей и опасностью, подкрепляло меня. Овраг расширился. Заросли пошли гуще. Опять поворот, и я пластом упал на землю.

По широкой, вымощенной камнем дороге, пролегавшей всего в сотне шагов от правого ската, двигался большой кавалерийский отряд.

Вороные, на подбор сытые кони бодро шагали под

всадниками; впереди ехали три или четыре офицера. Как раз напротив меня отряд остановился, командир вынул карту и стал рассматривать ее.

Пятясь задом, я полз вниз и обернулся, отыскивая взглядом Чубука, с тем чтобы скорее подать ему условный сигнал.

Было страшно, но все-таки успела промелькнуть горделивая мысль, что я недаром пошел в разведку, что не кто-нибудь другой, а я первый открыл неприятеля.

«Где же Чубук? — подумал я с тревогой, поспешно оглядываясь по сторонам.— Что же это он?» Я уже хотел скатиться вниз и разыскать его, как внимание мое привлек чуть шевелившийся куст на левом скате оврага.

С противоположного ската, осторожно высунувшись из-за ветвей, Васька Шмаков подавал мне рукой какие-то непонятные, но тревожные сигналы, указывая на дно оврага.

Сначала я думал, что он приказывает мне спуститься вниз, но, следуя взглядом по направлению его руки, я тихонько ахнул и поджал голову.

По густо разросшемуся дну оврага шел белый солдат и вел в поводу лошадь. То ли он искал водопоя, то ли это был один из дозорных флангового разъезда, охраняющего движение колонны, но это был враг, вклинившийся в расположение нашей разведки. Я не знал теперь, что мне делать. Всадник скрылся за кустами. Мне виден был только Васька. Но Ваське, очевидно, с противоположной стороны было видно еще что-то, скрытое от меня.

Он стоял на одном колене, упершись прикладом в землю, и держал вытянутую в мою сторону руку, предупреждая, чтобы я не двигался, и в то же время смотрел вниз, приготовившись прыгнуть.

Топот, раздавшийся справа от меня, заставил меня обернуться. Кавалерийский отряд свернул на проселочную дорогу и взял рысь. В тот же момент Васька широко махнул мне рукой и сильным прыжком прямо через кусты кинулся вниз. Я тоже. Скатившись на дно оврага, я рванулся вправо и увидел, что возле одного из кустов кубарем катаются два сцепившихся человека. В одном из них я узнал Чубука, в другом—неприятельского солдата. Не помню даже, как я очутился возле них. Чубук был внизу, он держал за руки белого, пытавшегося вытащить из кобуры револьвер. Вместо того чтобы сшибить врага ударом приклада, я растерялся, бросил винтовку и потащил его за ноги, но он был тяжел и отпихнул меня. Я упал навзничь и, ухватившись за его руку, укусил ему палец. Белый вскрикнул и отдернул руку. Вдруг кусты с шумом раздвинулись, появился до пояса мокрый Васька и четким учебным приемом на скаку сбил солдата прикладом.

Откашливаясь и отплевываясь, Чубук поднялся с травы.

— Васька! — хрипло и отрывисто сказал он и показал рукой на щипавшего траву коня.

— Ага,— ответил Васька и, схватив тащившийся по земле повод, дернул его к себе.

— С собой,— так же быстро проговорил Чубук, указывая на оглушенного гайдамака.

Васька понял его.

— Вяжи руки!

Чубук поднял мою винтовку, двумя взмахами штыка перерезал ружейный ремень и крепко стянул им локти еще не очнувшегося солдата.

— Бери за ноги! — крикнул он мне.— Живее, шкура! — выругался он, заметив мое замешательство.

Перевалили пленника через спину лошади. Васька вскочил в седло, не сказав ни слова, стегнул коня нагайкой и помчался назад по неровному дну оврага.

— Сюда! — прохрипел мне багровый и потный Чубук, дергая меня за руку.— Кати за мной!

И, цепляясь за сучья, он полез наверх.

— Стой,— сказал он, останавливаясь почти у края,— сиди!

Только-только успели мы притаиться за кустами, как внизу показалось сразу пятеро всадников. Очевидно, это и было ядро флангового разъезда. Всадники остановились оглядываясь; очевидно, они искали своего товарища. Громкие ругательства понеслись снизу. Все пятеро сорвали с плеч карабины. Один соскочил с коня и поднял что-то. Это была шапка солдата, впопыхах оставленная нами на траве. Кавалеристы тревожно заговорили, и один из них, по-видимому старший, протянул руку вперед.

«Догонят Ваську,— подумал я,— у него ноша тяжелая. Их пятеро, а он один».

— Бросай вниз бомбу! — услышал я приказание и увидел, как в руке Чубука блеснуло что-то и полетело вниз.

Тупой грохот ошеломил меня.

— Бросай! — крикнул Чубук и тотчас же рванул и мою занесенную руку, выхватил мою бомбу и, щелкнув предохранителем, швырнул ее вниз.

— Дура! — рявкнул он мне, совершенно оглушенному взрывами и ошарашенному быстрой сменой неожиданных опасностей.— Дура! Кольцо снял, а предохранитель оставил!

Мы бежали по свежевспаханному вязкому огороду. Белые, очевидно, не могли через кусты верхами выне-

стись по скату наверх и, наверно, выбирались спешившись. Мы успели добежать до другого оврага, завернули в одно из ответвлений, опять побежали по полю, затем попали в перелесок и ударились напрямик в чащу. Далеко, где-то сзади, послышались выстрелы.

— Не Ваську нагнали? — дрогнувшим, чужим голосом спросил я.

— Нет,— ответил Чубук прислушиваясь,— это так... после времени досаду срывают. Ну, понатужься, парень, прибавим еще ходу! Теперь мы им все следы запутаем.

Мы шли молча. Мне казалось, что Чубук сердится и презирает меня за то, что я, испугавшись, выронил винтовку и по-мальчишески нелепо укусил солдата за палец, что у меня дрожали руки, когда взваливали пленника на лошадь, и главное, за то, что я растерялся и не сумел даже бросить бомбу. Еще стыднее и горше становилось мне при мысли о том, что Чубук расскажет обо мне в отряде и Сухарев обязательно поучительно вставит: «Говорил я тебе, не связывайся с ним; взял бы Симку, а то нашел кого!» Слезы обиды и злости на себя, на свою трусость вот-вот готовы были пролиться из глаз.

Чубук остановился, вынул кисет с махоркой, и, пока он набивал трубку, я заметил, что пальцы Чубука тоже чуть-чуть дрожат. Он закурил, затянулся несколько раз с такой жадностью, как будто пил холодную воду, потом сунул кисет в карман, потрепал меня по плечу и сказал просто и задорно:

— Что... живы, брат, остались? Ничего, Бориска, парень ты ничего. Как это ты его за руку зубами тяпнул! — И Чубук добродушно засмеялся.— Прямо как чистый волчонок тяпнул. Что ж, не всё одной винтовкой — на войне, брат, и зубы пригодиться могут!

— А бомбу...— виновато пробормотал я.— Как же это я ее с предохранителем хотел?

— Бомбу? — улыбнулся Чубук.— Это, брат, не ты один, это почти каждый непривыкший обязательно неладно кинет: либо с предохранителем, либо вовсе без капсюля. Я, когда сам молодой был, так же бросал. Ошалеешь, обалдеешь, так тут не то что предохранитель, а и кольцо-то сдернуть позабудешь. Так вроде бы как булыжником запустишь — и то ладно. Ну, пошли... Идти-то нам еще далеко!

Дальнейший путь до стоянки отряда мы прошли и легко и без устали. На душе было спокойно и торжественно, как после школьного экзамена... Никогда ничего обидного больше Сухарев обо мне не скажет.

Доскакавши до стоянки отряда, Васька сдал оглушенного пленника командиру. К рассвету белый очухался и показал на допросе, что полотно железной дороги, которое нам надо было пересекать, охраняет бронепоезд, на полустанке стоит немецкий батальон, а в Глуховке расквартирован белогвардейский отряд под командой капитана Жихарева.

Яркая зелень пахнула распустившейся черемухой. Отдохнувшие ребята были бодры и казались даже беззаботными. Вернулся из разведки Федя Сырцов со своими развеселыми кавалеристами и сообщил, что впереди никого нет и в ближайшей деревеньке мужики стоят за красных, потому что третьего дня вернулся в деревню бежавший в начале октября помещик и ходил с солдатами по избам, разыскивая добро из своего имения. Всех, у кого дома нашли барские вещи, секли на площади перед церковью жестче, чем в крепостное время, и потому приходу красных крестьяне будут только рады.

Напившись и закусив шматком сала, я поднялся и направился туда, где возле пленника толпилась кучка красноармейцев.

— Эгей! — приветливо крикнул мне встретившийся Васька Шмаков, вытирая рукавом шинели лицо, взмокшее после осушенного котелка кипятку.—Ты что же это, брат, вчера-то, а?

— Что вчера?

— Да винтовку-то кинул.

— А ты чего первый со ската прыгнул, а после меня на помощь прибежал? — задорно огрызнулся я.

— Я, брат, как сигнул — да прямо в болото, насилу ноги вытащил, оттого и после. А ловко мы все-таки... Я как заслышал, что сзади дернули бомбой, ну, думаю, каюк вам с Чубуком. Ей-богу, так и думал — каюк. Прискакал к своим и говорю: «Влопались наши, должно, не выберутся». А сам про себя еще подумал: «Вот, мол... не хотел мне сумку сменять, а теперь она белым задаром достанется!» Хорошая у тебя сумка.— И он потрогал перекинутый через плечо ремень плоской сумочки, которую я захватил еще у убитого мною незнакомца.— Ну и наплевать на твою сумку, если не хочешь сменять,— добавил он.— У меня прошлый месяц еще почище была, только продал ее, а то подумаешь какой, сумкой зазнался! — И он презрительно шмыгнул носом.

Я смотрел на Ваську и удивлялся: такое у него было глуповатое красное лицо, такие развихлястые движения, что никак не похоже было на то, что это он вчера с такой ловкостью полз по кустам, выслеживая белых, и с яростью стегал непослушного коня, когда мчался с прихваченным к седлу пленником.

Красноармейцы суетились, заканчивая завтрак, за-

стегивали гимнастерки, оборачивали портянками отдохнувшие ноги. Вскоре отряд должен был выступать.

Я был уже готов к походу и поэтому пошел к опушке посмотреть на распустившиеся кусты черемухи.

Шаги, раздавшиеся сбоку, привлекли мое внимание. Я увидел захваченного гайдамака, позади него трех товарищей и Чубука.

«Куда это они идут?»—подумал я, оглядывая хмурого растрепанного пленника.

— Стой! — скомандовал Чубук, и все остановились.

Взглянув на белого и на Чубука, я понял, зачем сюда привели пленного; с трудом отдирая ноги, побежал в сторону и остановился, крепко ухватившись за ствол березки.

Позади коротко и деловито прозвучал залп.

— Мальчик,— сказал мне Чубук строго и в то же время с оттенком легкого сожаления,— если ты думаешь, что война — это вроде игры али прогулки по красивым местам, то лучше уходи обратно домой! Белый— это есть белый, и нет между нами и ними никакой средней линии. Они нас стреляют—и мы их жалеть не будем!

Я поднял на него покрасневшие глаза и сказал ему тихо, но твердо:

— Я не пойду домой, Чубук, это просто от неожиданности. А я красный, я сам шел воевать...— тут я запнулся и тихо, как бы извиняясь, добавил:—за светлое царство социализма.

## *Глава шестая*

Мир между Россией и Германией был давно уже подписан, но, несмотря на это, немцы наводнили своими войсками Украину, вперлись и в Донбасс, помогая

белым формировать отряды. Огнем и дымом дышали буйные весенние ветры.

Наш отряд, подобно десяткам других партизанских отрядов, действовал в тылу почти самостоятельно, на свой страх и риск. Днями скрывались мы по полям и оврагам или отдыхали, раскинувшись у глухого хутора; ночами делали налеты на полустанки с небольшими гарнизонами. Выставляя засады на проселочную дорогу, нападали на вражеские обозы, перехватывали военные донесения и разгоняли фуражиров.

Но та поспешность, с которой мы убирались прочь от крупных неприятельских отрядов, и постоянное стремление уклониться от открытого боя казались мне сначала постыдными. На самом деле, прошло уже полтора месяца, как я был в отряде, а я еще не участвовал ни в одном настоящем бою. Перестрелки были. Набеги на сонных или отбившихся белых были. Сколько проводов было перерезано, сколько телеграфных столбов спилено — и не счесть, а боя настоящего еще не было.

— На то мы и партизаны,— ничуть не смущаясь, заявил мне Чубук, когда я высказал свое удивление по поводу такого некрасивого, на мой взгляд, поведения отряда.— Тебе бы, милый, как на картине, выстроиться в колонну, винтовки наперевес, и попер. Вот, мол, смотрите, какие мы храбрые! У нас сколько пулеметов? Один, да и к тому всего три ленты. А вон у Жихарева четыре «максима» да два орудия. Куда же ты на них попрешь? Мы должны на другом брать. Мы, партизаны, как осы: маленькие, да колючие. Налетели, покусали, да и прочь. А храбрость такая, чтоб для показа,— она нам ни к чему сейчас; это не храбрость выходит, а дурость!

Многих ребят я узнал за это время. Ночами в караулах, вечером у костра, в полуденную ленивую жару под вишнями медовых садов много услышал я рассказов о жизни своих товарищей.

Всегда хмурый, насупившийся Малыгин, с одним глазом — второй был выбит взрывом в шахте,— рассказывал:

— Про жизнь свою говорить мне нечего. Одним словом, серьезная была жизнь. Жизнь у меня за все последние двадцать годов на три равные части разделена была. В шесть утра встанешь. Башка трещит от вчерашнего; надел шматки, получил лампу и ухнул в шахту. Там, знай свое, забурил, вставил динамит и грохай. Грохаешь, грохаешь, оглохнешь, отупеешь — и к стволу на подъем. Выкинет тебя наверх, как черта, мокрого, черного. Это первая часть моей жизни. А потом идешь в казенку, взял бутылку — денег с тебя не спрашивают: контора заплатит. Потом в хозяйскую лавку; там показал бутылку, и выдают тебе оттуда без разговора два соленых огурца, ситного и селедку. Это уж на бутылку такая порция полагалась! Закусывайте на здоровье — контора вычтет. Вот тебе вторая часть моей жизни. А третья — ляжешь спать и спишь. Спал я крепко, пуще водки любил я спать,— за сны любил. Что такое сон, до сего времени не понимаю. И с чего бы это такое странное привидеться может? Вот, например, снится мне один раз, что призывает меня штейгер и говорит: «Ступай, Малыгин, в контору и получай расчет».— «За что же,— говорю я ему,— господин штейгер, мне расчет?» — «А за то,— говорит,— тебе, Малыгин, расчет, что замышляешь ты на директоровой дочке жениться».— «Что вы,— говорю я ему,— господин штейгер, слыханное ли это дело, чтобы шахтер-за-

пальщик на директоровой дочке женился? Где же,— говорю,— мне на директоровой, когда за меня и простая-то девка не каждая из-за выбитого глаза пойдет?» Тут смешалось все, спуталось, штейгер вдруг оказывается не штейгер, а будто жеребец директорский, запряженный в ихнюю коляску. Выходит из той коляски сам директор, вежливо кланяется мне и говорит: «Вот, запальщик Малыгин, возьми в жены мою дочку и приданого десять тысяч и штейгера, то есть жеребца, с коляской». Обомлел я от радости, только было хотел подойти, как ударит меня директор тростью, да еще, да еще, а штейгер ну топтать копытами и ржать... «Ха-ха-ха! Ха-ха-ха!.. Вот чего захотел!» И бьет и бьет копытами. Так злобно бил, что даже закричал я во сне на всю казарму. И кто-то взаправду в бок меня двинул, чтобы не орал и людей ночью не тревожил.

— Ну, уж и сон! — засмеялся Федя Сырцов.— Видно, просто пялил ты глаза на хозяйскую барышню, вот и приснилось. Мне так всегда: про что на ночь думаю, то и снится. Вот сапог третьего дня не успел я с убитого немца снять. Сапог хороший, шевровый, так каждую ночь он мне снится!

— Сапог!.. Сам ты сапог,— рассердившись, ответил Малыгин.— Я ее, дочку-то, один раз за год до того и видел всего. Лежал я пьяный в канаве. Идет она с мамашей пешком возле огородов по тропке, а лошади ихние рядом идут. Мамаша — важная барыня... седая, подошла ко мне и спрашивает: «Как вам не стыдно пить? Где у вас человеческий облик? Вспомнили бы бога».— «Извиняюсь,— говорю я,— облика действительно нет, оттого и пью».

Сжалилась тогда надо мною ихняя мамаша, сует мне в руки гривенник и наставляет: «Посмотрите, му-

жичок: природа кругом ликует, солнце светит, птички поют, а вы пьянствуете. Пойдите купите себе содовой воды, протрезвитесь». Тут зло меня разобрало. «Я,— говорю ей,— не мужичок, а рабочий с ваших шахт. Природа пускай ликует, и вы ликуйте на доброе здоровье, а мне ликовать не с чего. Содовой же воды в жизни не пил, и если хотите сделать доброе дело — добавьте еще гривенник до полбутылки, а я за нашу приятную встречу с благодарностью опохмелюсь».— «Хам,— говорит мне тогда благородная женщина,— хам! Завтра я скажу мужу, чтобы вас отсюда, с рудников, уволили». Сели они с дочкой в коляску и уехали. Вот только и было у меня с ней разговору, а дочка вовсе, пока мы говорили, отвернувшись стояла, а ты говоришь, пялил!

— Что ж во сне-то! — усмехнулся Федя Сырцов.— А хотите, я вам расскажу, какой со мной и с одной графиней случай был? Ей-богу, из-за этого случая я, можно сказать, и в революцию ударился. Такой случай — ежели вам рассказать, то и ушами захлопаете.

Тут Федя тряхнул чубатой головой и зажмурил глаза, как кот, выбравшийся из хозяйской кладовой.

— Врать будешь, Федька? — подсаживаясь поближе, с любопытством и недоверием спросил Васька Шмаков.

— Это уж твое дело, хочешь — верь, хочешь—нет, документов я тебе предъявлять не буду.

Федя потянулся, покачал головой, как бы раздумывая, стоит ли еще рассказывать или нет, и, прищелкнув языком, начал решительно:

— Было это три года тому назад. А парень я — нечего говорить об этом — красивый был, лучше еще, чем сейчас. И такая судьба моя вышла, что пришлось

мне наняться в подпаски при графской экономии. А у графа нашего жена была, звали ее Эмилия, и гувернантка Анна, то есть по-ихнему Жанет.

Вот однажды сижу я возле стада у пруда и вижу: идут обе, зонтиками от солнца загораживаются. У графини белый зонтик, а у Жанет — красный. А была та Жанет похожа на сушеную тарань: тощая, очки на носу, и когда идет, бывало, по деревне, то платком нос прикрывает, чтобы, значит, от навозного духу голова не заболела. Надо вам сказать, что был у меня в стаде бык, настоящий симментал — порода такая, огромный. Как увидел мой бык красный зонт да как попер полным ходом на Жанет! Я вскочил и во весь мах напрескок. Обе барыни закричали. Графиня в кусты, а Жанет некуда деваться, и она со страху в воду сиганула. Симментал до нее рвется, а она, дура, нет, чтобы бросить зонт, закрывается им от быка — тоже нашла защиту! — и визжит при этом что-то по-немецки там или по-французски — кто ее разберет. Я как ухну в воду, вырвал у нее зонт да в морду симменталу. Он разъярился — за мной, я отплыл до середки и бросил зонт, а сам на другой берег и в кусты. Тут пастухи набежали: крик, гам, быка загоняют, вытащили Жанет из тины, а с ней на берегу обморок случился.

Федька тяжело дышал, как будто только сейчас спасся от быка, прищелкнул языком и хотел было продолжать, но в это время с крыльца хутора послышался окрик:

— Федор... Сыр-цов! Иди до командира.

— Сейчас,— отмахнулся недовольно Федя и, улыбнувшись, продолжал: — Пока Жанет отходила, подходит ко мне графиня Эмилия, белая, на глазах слезы и в груди волнение. «Юноша,— говорит,— кто ты?» —

«А я,— говорю ей,— ваше сиятельство, подпасок, зовут меня Федором, а фамилия моя — Сырцов». Тогда вздохнула графиня и говорит мне: «Теодор,— это то есть, по-ихнему, Федор,— Теодор, подойди сюда ко мне поближе».

Что еще сказала Феде графиня и какое отношение имел этот случай к тому, что он впоследствии ушел к красным, в этот раз дослушать мне не пришлось, потому что рядом послышался звон шпор и рассерженный Шебалов очутился за спиной.

— Федор,— сурово спросил он, останавливаясь и облокачиваясь на палаш,— ты слышал, что я тебя зову?

— Слышал,— буркнул Федя приподнимаясь.— Ну, что еще?

— Как это «ну, что еще»? Должен ты идти, когда тебя командир требует?

— Слушаю, ваше благородие! Чего изволите? — вместо ответа насмешливо огрызнулся Федя.

Но обыкновенно податливого и мягкого Шебалова на этот раз всерьез задело Федино замечание.

— Я тебе не ваше благородие,— серьезно и огорченно сказал он,— я тебе не благородие, и ты мне не нижний чин. Но я командир отряда и должен требовать, чтобы меня слушались. Мужики сейчас с Темлюкова хутора приходили.

— Ну? — Черные глаза Феди виновато и блудливо забегали по сторонам.

— Жаловались. Говорили: «Приезжали вот ваши разведчики. Мы, конечно, обрадовались: свои, мол, товарищи. Старший ихний, черный такой, сходку устроил за поддержку советской власти, про землю говорил и про помещиков. А мы пока слушали да резолюцию вы-

носили, его ребята давай по погребам сметану шарить да кур ловить». Что же это такое, Федор, а? Ты, может, ошибся малость, ты, может, лучше к гайдамакам пошел бы — у них это заведено, а у меня в отряде этакого безобразия не должно быть!

Федя презрительно молчал и, опустив глаза, постукивал кончиком нагайки о конец своего сапога.

— Я тебе последний раз говорю, Федор,— продолжал Шебалов, теребя пальцем красный темляк блистательного палаша.— Я тебе не благородие, а сапожник и простой человек, но покуда меня назначили командиром, я требую твоего послушания. И последний раз перед всеми обещаю, что если и дальше так будет, то не посмотрю я на то, что хороший боец ты и товарищ, а выгоню из отряда!

Федя вызывающе посмотрел на Шебалова, повел взглядом по столпившимся вокруг красноармейцам и, не найдя ни в ком поддержки, за исключением трех-четырех кавалеристов, одобрительно улыбнувшихся ему, еще больше озлобился и ответил Шебалову с плохо скрываемой злобой:

— Смотри, Шебалов, ты не очень-то людьми расшвыривайся, нынче люди дороги!

— Выгоню,— тихо проговорил Шебалов и, опустив голову, неторопливо пошел к крыльцу.

У меня остался нехороший осадок от разговора Шебалова с Сырцовым. Я знал, что Шебалов прав, и все-таки был на стороне Феди. «Ну, скажи ему,— думал я,— а нельзя же грозить».

Федя у нас один из лучших бойцов, и всегда он веселый, задорный. Если нужно разузнать что-либо, сделать неожиданный налет на фуражиров, подобраться к охраняемому белыми помещичьему имению, всегда Фе-

дя найдет удобную дорогу, проберется скрытно кривыми оврагами, задами.

Любил Федя подкрасться тихо, чтобы не стучали подковы, чтобы не звякали шпоры, чтобы кони не ржали, а не то кулаком по лошадиной морде, чтобы всадники не шушукались, а не то без разговоров плетью по спине. Не ржали Федины приученные кони, не шушукались приросшие к седлам всадники; сам Федя впереди разведки, немного пригнувшийся к косматой гриве своего иноходца, был похож на хищного ящера, скользящими изгибами подбирающегося к запутавшейся в траве жирной мухе.

Но зато, когда уже спохватится вражий караул и поднимет ошалелую тревогу, не успеет еще врасплох захваченный белый штаны натянуть, не успеет полусонный пулеметчик ленту заправить, как катится с треском винтовочных выстрелов, с грохотом разбрасываемых бомб, с гиканьем и свистом маленький упругий отряд. Тогда шум и грохот любил Федя. Пусть пули, выпущенные на скаку, летят мимо цели, пусть бомба брошена в траву и впустую разорвалась, заставив взметнуться чуть ли не на трубы крыш обалделых кур и жирных гусаков. Было бы побольше грома, побольше паники! Пусть покажется ошарашенному врагу, что неисчислимая сила красных ворвалась в деревеньку. Пусть задрожат пальцы, закладывающие обойму, пусть подавится перекошенною лентою наспех выкаченный пулемет и, главное, пусть вылетит из халупы один, другой солдат и, еще не разглядев ничего, еще не опомнившись от сна, выронит винтовку и заорет одурело и бессмысленно, шарахаясь к забору:

— Окруж-жи-ли! Красные окружили!

И тогда-то бомбы за пояс, винтовки на спину — и

пошли молчаливо работать холодные, до звона отточенные шашки распаленных удачей Фединых разведчиков. Вот каков был у нас Федя Сырцов. «И разве можно,— думал я,— из-за каких-то кур и сметаны выгонять такого неоценимого бойца из отряда?»

Не успел я еще толком опомниться от размышлений по поводу ссоры Феди с Шебаловым, как с крыши хаты закричал Чубук, сидевший наблюдателем, что по дороге на хутор движется большой пеший отряд. Забегали, закружились красноармейцы. Казалось, никакому командиру не удастся привести в порядок эту взбудораженную массу. Никто не дожидался приказаний, и каждый заранее знал уже, что ему делать. Поодиночке, на ходу проверяя патроны в магазинах, дожевывая куски недоеденного завтрака, низко пригибаясь, пробежали ребята из первой роты Галды к окраине хутора и, бухаясь наземь, образовывали все гуще и гуще заполнявшуюся цепочку. Подтягивали подпруги, взнуздывали, развязывали, а иногда и ударом клинка разрезали путы на ногах у коней разведчики. Пулеметчики стаскивали с тачанки «кольт» и ленты. Вслед за красным, потным Сухаревым побежали по тропке красноармейцы второй роты на опушку рощи. Еще минута, другая— и все стихло. Вот уже сошел с крыльца Шебалов, на ходу приказывая что-то Феде. И Федя мотнул головой: ладно, говорит, будет сделано. Вот уже захлопнулись ставни, и полез хозяин хутора с бабами, ребятишками в погреб.

— Стой,— сказал мне Шебалов.— Останься здесь. Лезай к Чубуку на крышу: что ему оттуда видно будет, передавай на опушку мне! Да скажи ему, чтобы поглядывал он вправо, на Хамурскую дорогу, не будет ли оттуда чего.

Раз, два, дзик... дзак... Крякнула лениво греющаяся на солнце утка; задрав перепачканный колесным дегтем хвост, беспечно-торжествующе заорал с забора оранжевый петух. Когда он смолк, тяжело хлопая крыльями, бултыхнулся и утонул в гуще пыльных лопухов, стало совсем тихо на хуторе, так тихо, что выплыло из тишины до сих пор неслышимое журчанье солнечного жаворонка и однотонный звон пчел, собиравших с цветов капли разогретого душистого меда.

— Ты чего? — не оборачиваясь, спросил Чубук, когда я залез на соломенную крышу.

— Шебалов прислал тебе на помощь.

— Ладно, сиди, да не высовывайся.

— Смотри вправо, Чубук,— передал я приказание Шебалова, — смотри, нет ли чего на Хамурской дороге.

— Сиди,— коротко ответил он и, сняв шапку, высунул из-за трубы свою большую голову.

Вражьего отряда не было видно: он скрылся в лощине, но вот-вот он должен был показаться опять. Солома на крыше была скользкая, и, чтобы не скатиться вниз, я, стараясь не ворочаться, носком расшвыривал себе уступ, на который можно было бы опереться. Голова Чубука была почти у моего лица. И тут я впервые заметил, что сквозь его черные жесткие волосы кое-где пробивается седина. «Неужели он уже старый?» — удивился я.

Отчего-то мне показалось странным, что вот Чубук уже пожилой, и седина и морщины возле глаз, а сидит тут, рядом со мной, на крыше и, неуклюже раздвинув ноги, чтобы не сползти, высовывает из-за трубы большую взлохмаченную голову.

— Чубук! — окликнул я его шепотом.

— Что тебе?



— Ты чего? — не оборачиваясь, спросил Чубук, когда я залез на соломенную крышу.

— Чубук... А ты ведь старый уже,— сам не зная к чему, сказал я.

— Ду-ура...— рассерженно обернулся Чубук.— Чего ты языком барабанишь?

Тут Чубук опустил голову на солому и подался туловищем назад. Из лощины поднимался отряд. Я чувствовал, как беспокойство овладевает Чубуком. Он смущенно задышал и заворочался.

— Борис, смотри-ка!

— Вижу.

— Беги вниз и скажи Шебалову — вышли, мол, из лощины, но скажи ему — подозрительно что-то: сначала шли походной колонной, а пока в лощине были, развернулись повзводно. Ну, так вот, понял теперь: с чего бы им повзводно? Может быть, они знают уже, что мы на хуторе? Крой скорей и обратно!

Я выдернул носок из ямки, вырытой в соломе, и, скатившись вниз, бухнулся на толстую свинью, с визгом шарахнувшуюся прочь. Разыскал Шебалова. Он стоял за деревом и смотрел в бинокль. Я передал ему то, что велел Чубук.

— Вижу,— ответил Шебалов таким тоном, точно я его обидел чем-то,— сам вижу.

Я понял, что он просто раздражен неожиданным маневром противника.

— Беги обратно, и не слезайте, а смотрите больше на фланг, на Хамурскую дорогу.

Добежав до пустого двора, я полез на сухой плетень, чтобы оттуда взобраться на крышу.

— Солдатик! — услышал я чей-то шепот.

Я испуганно обернулся, не понимая, кто и откуда зовет меня.

— Солдатик! — повторил тот же голос.

И тут я увидел, что дверь погреба приоткрыта и оттуда высунулась голова бабы, хозяйки хутора.

— Что,— спросила она шепотом,— идут?

— Идут,— ответил я также шепотом.

— А как... только с пулеметами или орудия есть?— Тут баба быстро перекрестилась.— Господи, хоть бы только с пулеметами, а то ведь из орудиев начисто разобьют хату!

Не успел я ей ответить, как раздался выстрел и невидимая пуля где-то высоко в небе запела звонко: тии-уу...

Голова бабы исчезла, дверка погреба захлопнулась. «Начинается»,— подумал я, чувствуя прилив того болезненного возбуждения, которое овладевает человеком перед боем, не тогда, когда уже грохочут выстрелы, злятся, звенят россыпи пулеметных очередей и торжественно бухают ввязавшиеся в бой батареи, а когда еще ничего нет, когда все опасное еще впереди... «Ну,— думаешь,— почему же так тихо, так долго? Хоть бы скорей уже начиналось».

Тии-уу...— взвизгнуло второй раз.

Но ничего еще не начиналось. Вероятно, белые подозревали, но не знали наверное, занят ли хутор красными, и дали два выстрела наугад. Так командир маленькой разведки подбирается к охранению неприятеля, открывает огонь и, по ответному грохоту сторожевой заставы, по треску пулеметов определив силу врага, уходит на другой фланг, начинает пальбу пачками, заставляет неприятеля взбудоражиться и убирается поспешно к своим, никого не победив, никому не нанеся урона, но добившись цели и заставив неразгаданного противника развернуться и показать свои настоящие силы.

Молчал и не отзывался на выстрелы наш рассыпавшийся цепью отряд. Тогда пятеро кавалеристов на вороных танцующих конях, играя опасностью, отделились от неприятеля и легкой рысью понеслись вперед. Не далее как в трехстах метрах от хутора кавалеристы остановились, и один из них навел на хутор бинокль. Стекло бинокля, скользнув по кромке ограды, медленно поползло вверх по крыше, к трубе, за которой спрятались мы с Чубуком.

«Хитры тоже, знают, где искать наблюдателя»,— подумал я, пряча голову за спину Чубука и испытывая то неприятное чувство, которое овладевает на войне, когда враг помимо твоей воли подтягивает тебя биноклем к глазам или рядом скользит, расплавляя темноту, нащупывая колонну, луч прожектора, когда над головою кружит разведывательный аэроплан и некуда укрыться, некуда спрятаться от его невидимых наблюдателей.

Тогда собственная голова начинает казаться непомерно большой, руки — длинными, туловище — неуклюжим, громоздким. Досадуешь, что некуда их приткнуть, что нельзя съежиться, свернуться в комочек, слиться с соломой крыши, с травою, как сливается с кучей хвороста серый взъерошенный воробей под пристальным взглядом бесшумно парящего коршуна.

— Заметили! — крикнул Чубук.— Заметили! — И, как бы показывая, что играть в прятки больше нечего, он открыто высунулся из-за трубы и хлопнул затвором.

Я хотел спуститься вниз и донести Шебалову. Но, вероятно, с опушки уже и сами поняли, что засада не удалась, что белые, не развернувшись в цепь, на хутор не пойдут, потому что из-за деревьев вдогонку кавалеристам полетели пули.

Развернутые взводы белых смешались и тонкими черточками ломаной стрелковой цепи поползли вправо и влево. Не доскакав до бугра, по которому рассыпались белые, задний всадник вместе с лошадью упал на дорогу. Когда ветер отнес клубы поднявшейся пыли, я увидел, что только одна лошадь лежит на дороге, а всадник, припадая на ногу, низко согнувшись, бежит к своим.

Пуля, ударившись о кирпич трубы, обдала пылью осыпавшейся известки и заставила спрятать голову. Труба была хорошей мишенью. Правда, за нею нас не могли достать прямые выстрелы, но зато и мы должны были сидеть не высовываясь. Если бы не приказание Шебалова следить за Хамурской дорогой, мы спустились бы вниз. Беспорядочная перестрелка перешла в огневой бой. Разрозненные винтовочные выстрелы белых стихали, и начинали строчить пулеметы. Под прикрытием их огня неровная цепь передвигалась на несколько десятков шагов и ложилась опять. Тогда стихали пулеметы, и опять начиналась ружейная перестрелка. Так постепенно, с упорством, доказывавшим хорошую дисциплину и выучку, белые подвигались все ближе и ближе.

— Крепкие, черти,— пробормотал Чубук,— так и лезут в дамки. Не похоже что-то на жихаревцев, уж не немцы ли это?

— Чубук! — закричал я.— Смотри-ка на Хамурскую, там возле опушки что-то движется.

— Где?

— Да не там... Правей смотри. Прямо через пруд смотри... Вот! — крикнул я, увидев, как на опушке блеснуло что-то, похожее на вспышку солнечного луча, отраженного в осколке стекла.

В воздухе послышалось странное звучание, похожее на хрипение лошади, которой перервало горло. Хрип превратился в гул. Воздух зазвенел, как надтреснутый церковный колокол; что-то грохнуло сбоку. В первое мгновение показалось мне, что где-то здесь, совсем рядом со мной, коричневая молния вырвалась из клубов дыма и черной пыли, воздух вздрогнул и упруго, как волна теплой воды, толкнул меня в спину. Когда я открыл глаза, то увидел, что в огороде сухая солома крыши взорванного сарая горит бледным, почти невидимым на солнце огнем.

Второй снаряд разорвался на грядках.

— Слазим,— сказал Чубук, поворачивая ко мне серое, озабоченное лицо.— Слазим, напоролись-таки; кажется, это не жихаревцы, а немцы. На Хамурской — батарея.

Первый, кто попался мне на опушке,— это маленький красноармеец, прозванный Хорьком.

Он сидел на траве и австрийским штыком распарывал рукав окровавленной гимнастерки. Винтовка его с открытым затвором, из-под которого виднелась недовыброшенная стреляная гильза, валялась рядом.

— Немцы! — не отвечая на наш вопрос, крикнул он.— Сейчас сматываемся!

Я сунул ему свою жестяную кружку, чтобы он зачерпнул воды, и побежал дальше.

Собственно говоря, окровавленный рукав Хорька и его слова о немцах — это было последнее из того, что мог я впоследствии восстановить по порядку в памяти, вспоминая этот первый настоящий бой. Все остальное я помню хорошо, начиная с того момента, когда в овраге ко мне подошел Васька Шмаков и попросил кружку напиться.

— Что это ты в руке держишь? — спросил он.

Я посмотрел и смутился, увидев, что в левой руке у меня крепко зажат большой осколок серого камня. Как и зачем попал ко мне этот камень, я не знал.

— Почему на тебе, Васька, каска надета? — спросил я.

— С немца снял. Дай напиться.

— У меня кружки нет. У Хорька.

— У Хорька? — Тут Васька присвистнул.— Ну, брат, с Хорька не получишь.

— Как—не получишь? Я ему дал воды зачерпнуть.

— Пропала твоя кружка,— усмехнулся Васька, зачерпывая из ручья каской воду.— И кружка пропала, и Хорек пропал.

— Убит?

— До́ смерти,— ответил Васька, неизвестно чему усмехаясь.— Погиб солдат Хорек во славу красного оружия.

— И чего ты, Васька, всегда зубы скалишь?—рассердился я.— Неужели тебе нисколько Хорька не жалко?

— Мне? — Тут Васька шмыгнул носом и вытер грязной ладонью мокрые губы.—Жалко, брат, и Хорька жалко, и Никишина, и Серегу, да и себя тоже жалко. Мне они, проклятые, тоже вон как руку прохватили.

Он шевельнул плечом, и тут я заметил, что левая рука Васьки перевязана серою тряпкой.

— В мякоть... пройдет,— добавил он.— Жжет только.— Тут он опять шмыгнул носом и, прищелкнув языком, сказал задорно: — Да ведь и то разобрать, за что жалеть-то? Силой нас сюда никто не гнал, значит, сами знали, на што идем. Значит, нечего и жалиться!

Отдельные моменты боя запечатлелись в памяти;

не мог я восстановить их только последовательно и связно. Помню, как, опустившись на одно колено, я долго перестреливался все с одним и тем же немцем, находившимся не далее как в двухстах шагах от меня. И потому, что, едва успев кое-как прицелиться, уже боялся, что он выстрелит раньше меня, я дергал за спуск и промахивался. Вероятно, он испытывал то же самое и поэтому также давал промахи.

Помню, как взрывом снаряда опрокинуло наш пулемет. Его тотчас же подхватили и потащили на другое место.

— Забирай ленты! — крикнул Сухарев.— Помогайте ж, черти!

Тогда, схватив один из валявшихся в траве ящиков, я потащил его. Помню потом, как будто бы Шебалов дернул меня за плечо и крепко выругал; за что, я не понял тогда.

Потом, кажется, пуля убила Никишина. Или нет... Никишина убило раньше, потому что он упал, когда еще я бежал с ящиком, и перед этим крикнул мне: «Ты куда же в обратную сторону тащишь? Ты тащи к пулемету!»

Под Федей застрелили лошадь.

— Федька плачет,— сказал Чубук.— Такой скаженный, уткнулся в траву и плачет. Я подошел к нему. «Брось,— говорю,— тут о людях плакать некогда». Как повернулся Федька, хвать за наган. «Уйди,—говорит,— а не то застрелю и тебя». А глаза такие мутные. Я плюнул и ушел. Ну что с сумасшедшим разговаривать?! Непутевый этот Федька,— раскуривая трубку, продолжал Чубук.— Нет у меня веры в этого человека.

— Как — нет веры? — вступился я.— Он же храбрый, что дальше некуда.

— Мало ли что храбрый, а так, непутевый. Порядка не любит, партейных не признает. «Моя,—говорит,— программа: бей белых, докуда сдохнут, а дальше видно будет». Не нравится мне что-то такая программа. Это туман один, а не программа. Подует ветер, и нет ничего!

Убито было десять, раненых четырнадцать, из них шестеро умерли. Был бы лазарет, были бы доктора, медикаменты — многие из раненых выжили бы.

Вместо лазарета была поляна, вместо доктора — санитар германской войны Калугин, а из медикаментов только йод. Йода была целая жестяная баклага из-под керосина. Йода у нас не жалели. На моих глазах Калугин налил до краев деревянную суповую ложку и вылил йод на широкую рваную рану Лукоянову.

— Ничего,— успокаивал он.— Потерпи... Йод — он полезный. Без йода тебе, факт, конец был бы, а тут, глядишь, может, и обойдется.

Надо было уходить отсюда к своим, к северу, где находилась завеса регулярных частей Красной Армии: в патронах уже была недостача. Но раненые связывали. Пятеро еще могли идти, трое не умирали и не выздоравливали. Среди них был Яшка Цыганенок. Появился этот Яшка у нас неожиданно.

Однажды, выступая в поход с хутора Архиповки, отряд выстроился развернутым фронтом вдоль улицы.

При расчете левофланговый красноармеец, теперь убитый маленький Хорек, крикнул:

— Сто сорок седьмой неполный!

До тех пор Хорек был всегда сто сорок шестым полным. Шебалов заорал:

— Что врете! Пересчитать снова!

Снова пересчитали, и снова Хорек оказался сто сорок седьмым неполным.

— Пес вас возьми! — рассердился Шебалов.— Кто счет путает, Сухарев?

— Никто не путает,— ответил из строя Чубук,— тут же лишний человек объявился.

Поглядели. Действительно, в строю между Чубуком и Никишиным стоял новичок. Было ему лет восемнадцать-девятнадцать. Черный, волосы кудрявые, лохматые.

— Ты откуда взялся? — спросил удивленно Шебалов.

Парень молчал.

— А он встал тут рядом,— объяснил Чубук.— Я думал, нового какого ты принял. Пришел с винтовкой и встал.

— Да ты хоть кто такой? — рассердился Шебалов.

— Я... цыган... красный цыган,— ответил новичок.

— Кра-а-асный цы-га-ан? — вытаращив глаза, переспросил Шебалов и, вдруг засмеявшись, добавил:— Да какой же ты цыган, ты же еще цыганенок!

Он остался у нас в отряде, и за ним так и осталась кличка Цыганенок.

Теперь у Цыганенка была прохвачена грудь. Бледность просвечивала через кожу его коричневого лица, и запекшимися губами он часто шептал что-то на чужом, непонятном наречии.

— Вот уж сколько служу... полгерманской отбубнил и теперь тоже,— говорил Васька Шмаков,— а цыганов в солдатах не видал. Татар видал, мордву видал, чувашинов, а цыганов нет. Я так смотрю — вредный народ эти цыганы: хлеба не сеют, ремесла никакого, только коней воровать горазды да бабы их людей дурачат. И никак мне не понятно, зачем к нам его принесло. Свободы — так у них и так ее сколько хочешь! Зем-

лю им защищать не приходится. На что им земля? К рабочему тоже он касательства не имеет. Какая же, выходит, ему выгода, чтобы в это дело ввязаться? Уж какая-нибудь есть выгода, скрытая только!

— А может быть, он тоже за революцию, ты почем знаешь?

— В жисть не поверю, чтобы цыган да за революцию. И до переворота за краденых лошадей его били, и после за то же самое бить будут!

— Да, может, он после революции и красть вовсе не будет?

Васька недоверчиво усмехнулся:

— Уж и не знаю, у нас на деревне и дубьем их били и дрючками, и то не помогало — всё они за свое. Так неужто их революция проймет?

— Дурак ты, Васька,— вставил молчавший доселе Чубук.— Ты из-за своей хаты да из-за своей коняки ни черта не видишь. По-твоему, вот вся революция только и кончится тем, что прирежут тебе барской земли да отпустят из помещичьего леса бревен штук двадцать задаром. Ну, да старосту председателем заменят, а жизнь сама какой была, такой и останется.

## *Глава седьмая*

Через два дня Цыганенку стало лучше. Вечером, когда я подошел к нему, он лежал на охапке сухой листвы и, уставившись в черное звездное небо, тихонько напевал что-то.

— Цыганенок,— предложил я ему,— дай я около тебя костер разожгу, чай согрею, пить будем, у меня в баклаге молоко есть. Хочешь?

Я сбегал за водой, подвесил котелок на шомпол, пе-

рекинутый над огнем через два воткнутых в землю штыка, и, подсаживаясь к раненому, спросил:

— Какую это ты песню поешь, Цыганенок?

Он ответил не сразу:

— А пою я песню такую старую, в ней говорится, что нет у цыган родной земли и та ему земля родная, где его хорошо принимают. А дальше спрашивают: «А где же, цыган, тебя хорошо принимают?» И он отвечает: «Много я стран исходил, был у венгров, был у болгар, был у туретчины, много земель исходил я с табором и еще не нашел такой земли, где бы хорошо мой табор приняли».

— Цыганенок,— спросил я его,— а зачем ты у нас появился? Ведь вас же не забирают на службу.

Он сверкнул белками, приподнялся на локте и ответил:

— Я пришел сам, меня не нужно забирать. Мне надоело в таборе! Отец мой умеет воровать лошадей, а мать гадает. Дед мой воровал лошадей, а бабка гадала. И никто из них себе счастье не украл, и никто себе хорошей судьбы не нагадал. Надо по-другому...

Цыганенок оживился, приподнялся, но боль раны, очевидно, давала себя еще чувствовать, и, стиснув губы, он с легким стоном опустился опять на кучу листвы.

Вскипевшее молоко разом ринулось на огонь и загасило пламя.

Я не успел выхватить котелок с углей. Цыганенок неожиданно рассмеялся.

— Ты чего?

— Так.— И он задорно тряхнул головой.— Я вот думаю, что и народ весь эдак: и русские, и евреи, и грузины, и татары терпели старую жизнь, терпели, а потом, как вода из котелка, вспенились и кинулись

в огонь. Я вот тоже... сидел, сидел, не вытерпел, захватил винтовку и пошел хорошую жизнь искать.

— И найти думаешь?

— Один не нашел бы... а все вместе должны бы... потому — охота большая.

Подошел Чубук.

— Садись с нами чай пить,— предложил я.

— Некогда,— отказался он.— Пойдешь со мной, Борис?

— Пойду,— быстро ответил я, не спрашивая даже о том, куда он меня зовет.

— Ну, так допивай скорее, а то нас подвода ждет.

— Какая подвода, Чубук?

Он отозвал меня и объяснил, что отряд к рассвету снимается, соединится недалеко отсюда с шахтерским отрядом Бегичева, и вместе они будут пробираться к своим. Трех тяжело раненных брать с собой нельзя: пробираться придется мимо белых и немцев.

Отсюда недалеко пасека. Там место глухое, хозяин свой и согласился приютить у себя раненых на время, пока поправятся. Оттуда Чубук привел подводы, и сейчас надо, пока темно, раненых переправить туда.

— А еще с нами кто?

— Больше никого. Вдвоем мы. Я бы и один управился, да лошадь норовистая попала. Придется одному под уздцы вести, а другому за товарищами присматривать. Так пойдешь, значит?

— Пойду, пойду, Чубук. Я с тобой, Чубук, всегда и всюду пойду. А оттуда куда, назад?

— Нет. Оттуда мы прямой дорогой вброд через речку, там со своими и встретимся. Ну, трогаем.—И Чубук пошел к голове лошади.— Винтовка моя, смотри, чтобы не выпала,— послышался из темноты его голос.

Телега легонько дернула, в лицо брызнули капли росы, упавшие с задетого колесом куста, и черный поворот скрыл от наших глаз догоравшие костры, разбросанные собиравшимся в поход отрядом.

Дорога была плохая: ямы, выбоины, то и дело попадались разлапившиеся по земле корни. Темь была такая, что ни лошади, ни Чубука с телеги видно не было. Раненые лежали на охапках свежего сена и молчали.

Я шел позади и, чтобы не оступиться, придерживался свободной от винтовки рукой за задок телеги. Было тихо. Если бы не однотонное посвистывание полуночной пигалицы, можно было бы подумать, что темнота, окружавшая нас, мертва. Все молчали. Только изредка, когда колеса проваливались в ямы или натыкались на пень, раненый Тимошкин тихонько стонал.

Жиденький, наполовину вырубленный лесок казался сейчас непроходимым, густым и диким. Затянувшееся тучами небо черным потолком повисло над просекой. Было душно, и казалось, что мы ощупью движемся каким-то длинным извилистым коридором.

Мне вспомнилось почему-то, как давно-давно, года три тому назад, в такую же теплую ночь мы с отцом возвращались с вокзала домой прямой тропой через перелесок. Так же вот свиристела пигалица, так же пахло переспелыми грибами и дикой малиной.

На вокзале, провожая своего брата Петра, отец выпил с ним несколько рюмок водки. То ли от этого, то ли оттого, что чересчур сладко пахло малиной, отец был особенно возбужден и разговорчив. Дорогой он рассказывал мне про свою молодость и про свое ученье в семинарии. Я смеялся, слушая рассказы о его школьной жизни, о том, что их драли розгами, и мне казалось

нелепым и невероятным, чтобы такого высокого, крепкого человека, как мой отец, кто-то когда-то мог драть.

— Это ты у одного писателя вычитал,— возражал я.— У него есть про это книга. «Очерки бурсы» называется. Так ведь то давно было, бог знает когда!

— А я, думаешь, недавно учился? Тоже давно.

— Ты в Сибири, пап, жил. А в Сибири страшно: там каторжники. Мне Петька говорил, что там человека в два счета убить могут и некому пожаловаться.

Отец засмеялся и начал мне объяснять что-то. Но что он хотел объяснить мне, я так и не понял тогда, потому что по его словам выходило как-то так странно, что каторжники вовсе не каторжники, и что у него даже знакомые были каторжники, и что в Сибири много хороших людей, во всяком случае больше, чем в Арзамасе.

Но все это я пропускал мимо ушей, как и многие другие разговоры, смысл которых я начинал понимать только теперь.

«Нет... никогда, никогда в прошлую жизнь я не подозревал и не думал, что отец мой был революционером. И вот то, что я сейчас с красными, то, что у меня винтовка за плечами,— это не потому, что у меня был отец революционер, а я его сын. Это вышло как-то само собой. Я сам к этому пришел»,— подумал я. И эта мысль заставила меня загордиться. Ведь правда, на самом деле, сколько партий есть, а почему же я все-таки выбрал самую правильную, самую революционную партию?

Мне захотелось поделиться этой мыслью с Чубуком. И вдруг мне показалось, что возле головы лошади никого нет и конь давно уже наугад тащит телегу по незнакомой дороге

— Чубук! — крикнул я испугавшись.

— Ну! — послышался его грубоватый, строгий голос.— Чего орешь?

— Чубук,— смутился я,— далеко еще?

— Хватит,— ответил он и остановился.— Поди-ка сюда, встань и шинельку раздвинь, закурю я.

Трубка летящим светлячком поплыла рядом с головой лошади. Дорога разгладилась, лес раздвинулся, и мы пошли рядом.

Я сказал Чубуку, о чем думал, и ожидал, что он с похвалой отзовется о моем уме и дальнозоркости, которые толкнули меня к большевикам. Но Чубук не торопился хвалить. Он выкурил по крайней мере полтрубки и только тогда сказал серьезно:

— Бывает и так. Бывает, что человек и своим умом дойдет... Вот Ленин, например. Ну, а ты, парень, навряд ли...

— А как же, Чубук? — тихо и обиженно спросил я.— Ведь я же сам.

— Сам... Ну, конечно, сам. Это тебе только кажется, что сам. Жизнь так повернулась, вот тебе и сам! Отца у тебя убили — раз. К людям таким попал — два. С товарищами поссорился — три. Из школы тебя выгнали — четыре. Вот ежели все эти события откинуть, то остальное, может, и сам додумал. Да ты не сердись,— добавил он, почувствовав, очевидно, мое огорчение.— Разве с тебя кто спрашивает больше?

— Значит, выходит, Чубук, что я нарочно... что я не красный? — дрогнувшим голосом переспросил я.— А это все неправда, и я в разведку всегда с тобой, я и поэтому ведь на фронт ушел, чтобы защищать... а, значит, выходит...

— Ду-ура! Ничего не выходит. Я тебе говорю —

обстановка... а ты — «я сам, я сам». Скажем, к примеру: отдали бы тебя в кадетский корпус — глядишь, из тебя и калединский юнкер вышел бы.

— А тебя?

— Меня? — Чубук усмехнулся.— За мной, парень, двадцать годов шахты. А это никакой юнкерской школой не вышибешь!

Мне было несказанно обидно. Я был глубоко оскорблен словами Чубука и замолчал. Но мне не молчалось.

— Чубук... так, значит, меня и в отряде не нужно, раз я такой, что и юнкером бы... и калединцем...

— Дура! — спокойно и как бы не замечая моей злости, ответил Чубук.— Зачем же не нужно? Мало что, кем ты мог бы быть. Важно, кто ты есть. Я тебе только говорю, чтобы ты не задавался. А так... что же, парень ты хороший. Мы тебя, погоди, поглядим еще немного, да и в партию примем. Ду-ра! — совсем уже ласково добавил он.

Я ведь знал, что Чубук любит меня, но чувствовал ли Чубук, как горячо, больше, чем кого бы то ни было в ту минуту, любил я его? «Хороший Чубук,— думал я.— Вот он и коммунист, и двадцать лет в шахте, и волосы уже седеют, а всегда он со мною... И ни с кем больше, а со мной. Значит, я заслуживаю. И еще больше буду заслуживать. Когда будет бой, я нарочно не буду нагибаться, и если меня убьют, то тоже ничего. Тогда матери напишут: «Сын ваш был коммунист и умер за великое дело революции». И мать заплачет и повесит на стену мой портрет рядом с отцовским, а новая, светлая жизнь пойдет своим чередом мимо той стены».

«Жалко только, что попы наврали,— подумал я,— и нет у человека никакой души. А если б была душа,

то посмотрела бы, какая будет жизнь. Должно быть, хорошая, очень интересная будет жизнь».

Телега остановилась. Чубук поспешно сунул руку в карман и сказал тихо:

— Как будто бы стучит что-то впереди. Дай-ка винтовку.

Лошадей с ранеными отвели в кусты. Я остался возле телеги, а Чубук исчез куда-то. Вскоре он вернулся.

— Молчок теперь... Четверо казаков верхами. Дай мешок... лошади морду закрою, а то не заржала бы еще некстати.

Топот подков приближался. Недалеко от нас казаки сменили рысь на шаг. Краешек луны, выскочив в прореху разорванной тучи, озарил дорогу. Из-за кустов я увидел четыре папахи. С казаками был офицер; на его плече вспыхнул и погас золотой погон. Мы выждали, пока топот стихнет, и тронулись дальше.

Уже рассветало, когда мы подъехали к маленькому хутору. На стук телеги вышел к воротам заспанный пасечник — длинный рыжий мужик с вдавленной грудью и острыми, резко выпиравшими из-под расстегнутой ситцевой рубахи плечами. Он повел лошадь через двор, распахнул калитку, от которой тянулась еле заметная, поросшая травой дорога.

— Туда поедем... У болотца в лесу клуня, там им спокойнее будет.

В небольшом, забитом сеном сарае было свежо и тихо. В дальнем углу были постелены дерюги. Две овчины, аккуратно сложенные, лежали вместо подушек у изголовья. Рядом стояли ведро воды и берестовый жбан с квасом.

Перетащили раненых.

— Кушать, может, хотят? — спросил пасечник.—

Тогда под головами хлеб и сало. А хозяйка коров подоит, молока принесет.

Нам надо было уходить, чтобы не разойтись у брода со своими. Но, несмотря на то что мы сделали для раненых все, что могли, нам было как-то неловко перед ними. Неловко за то, что мы оставляли их одних, без помощи в чужом, враждебном краю.

Тимошкин, должно быть, понял это.

— Ну, с богом! — сказал он побелевшими, потрескавшимися губами.— Спасибо, Чубук, и тебе, парень, тоже. Может быть, приведет еще судьба — встретимся.

Более других утомленный, Самарин открыл глаза и приветливо кивнул головой. Цыганенок молчал, облокотившись на руки, серьезно смотрел на нас и чему-то слабо улыбался.

— Так всего хорошего, ребята,— проговорил Чубук,— поправляйтесь лучше. Хозяин надежный, он вас не оставит. Будьте живы, здоровы...

Повернувшись к выходу, Чубук громко кашлянул и, опустив глаза, на ходу стал выколачивать о приклад трубку.

— Дай вам счастья и победы, товарищи! — звонко крикнул вдогонку Цыганенок. Звук его голоса заставил нас остановиться и обернуться с порога.— Пошли вам победы над всеми белыми, какие только есть на свете,— так же четко и ясно добавил Цыганенок и тихо уронил черную голову на мягкую овчину.

## *Глава восьмая*

Рыжий от загара песчаный берег таял в воде, искрившейся на отмелях солнечной рябью. У брода наших не было.

— Прошли, должно быть,— решил Чубук.— Это нам все равно... Тут недалеко отсюда кордон должен быть брошенный, и возле него отряд привал сделает.

— Давай выкупаемся, Чубук,— предложил я.— Мы скоренько! Вода, посмотри, какая те-еплая.

— Тут купаться нехорошо. Место открытое.

— Ну и что ж, что открытое?

— Как что? Голый человек — это не солдат. Голого всякий и с палкой забрать может. Казак, скажем, к броду подъедет, заберет винтовку, и делай с ним что хочешь. Был такой случай у Хопра. Не то что двое, а весь отряд человек в сорок купаться полез. Наскочили пятеро казаков и открыли по реке стрельбу. Так что было-то!.. Которых побило, которые на другой берег убегли. Так нагишом и бродили по лесу. Сёла там богатые... Кулачьё. Куда ни сунешься, всем сразу видно — раз голый, значит, большевик.

Все-таки уговорил я его. Мы отошли от брода в кусты и наскоро выкупались. Реку переходили, нацепив на штыки винтовок связанные ремнем узелки со штанами и сапогами. После купания винтовка стала легче и подсумок не давил бок. Бодро зашагали краем рощи по направлению к избушке. Избушка была заброшена, стекла выставлены, даже котел из плиты был выломан. Видно было, что перед тем, как оставить ее, хозяева вывезли все, что только было можно.

Чубук настороженно, сощурив глаза, обошел избу кругом, заложил два пальца в рот и продолжительно свистнул. Долго металось эхо по лесу, рассыпалось и перекатывалось и, измельчав, запуталось, заглохло в чаще однотонно шумливой листвы. Ответа не было.

— Неужели же мы опередили их? Что ж, придется подождать.

В стороне от дороги выбрали тень под кустом и легли. Было жарко. Свернув в скатку шинель, я подложил ее под голову и, чтобы не мешалась, снял кожаную сумку. За время походов и ночевок на сырой земле сумка пообтерлась и выгорела.

В сумке этой у меня лежали перочинный нож, кусок мыла, игла, клубок ниток и подобранная где-то середина из энциклопедического словаря Павленкова.

Словарь — такая книга, которую можно перечитывать без конца: все равно всего не запомнишь. Именно поэтому-то я и носил его с собой и часто в отдых, во время отсиживания где-нибудь в логу или чаще леса, доставал измятые листки и начинал перечитывать по порядку все, что попадалось. Были там биографии монахов, генералов, королей, рецепты лака, философские термины, упоминания о давнишних войнах, история какого-то доселе неслыханного мной государства Коста-Рика и тут же рядом способ добывания удобрения из костей животных. Много самых разнообразных нужных и ненужных сведений от буквы З до Р, на которой был оборван словарь, получил я за чтением этого словаря.

Несколько дней тому назад, перед тем как идти на пост, заторопившись, я сунул в эту же сумку кусок черного хлеба. И сейчас я увидел, что позабытый кусок раскрошился и залепил мякишем листки. Я вытряхнул все содержимое на траву и стал ладонью прочищать стенку сумки. Нечаянно мой палец задел за отогнувшийся край кожаной подкладки.

Повернув сумку к солнцу, я заглянул в нее и увидел, что из-под отставшей кожи виднеется какая-то белая бумага.

Любопытство овладело мной: я надорвал подклад-

ку побольше и вытащил тоненький сверток каких-то бумажек. Развернул одну: посредине герб с позолоченным двуглавым орлом, пониже золотыми буквами вытиснено: «Аттестат».

Был выдан этот аттестат воспитаннику 2-й роты имени графа Аракчеева кадетского корпуса Юрию Ваальду в том, что он успешно окончил курс учения, был отличного прилежания, поведения и переводится в следующий класс.

«Вот оно что! — понял я, вспоминая убитого мною лесного незнакомца и его черную гимнастерку, на которой нарочно были срезаны пуговицы, и вытисненные на подкладке ворота буквы: Гр. А. К. К.

Другая бумага — было письмо, написанное по-французски, с недавней датой. И, хотя школа оставила у меня самое слабое воспоминание об этом языке, все же, посидев с полчаса, по отдельным словам, дополняя провалы строчек догадками, я понял, что письмо это содержит рекомендацию и адресовано какому-то полковнику Коренькову с просьбой принять участие в судьбе кадета Юрия Ваальда.

Я хотел показать эти любопытные бумаги Чубуку, но тут я увидел, что Чубук спит. Мне было жалко будить его: он не отдыхал еще со вчерашнего утра. Я сунул бумаги обратно в сумку и стал читать словарь.

Прошло около часа. Через шорох ветра к трескотне птиц примешался далекий чужой шум. Я встал и приложил ладонь к уху — топот и голоса слышались все ясней и ясней.

— Чубук! — дернул я его за плечо.— Вставай, Чубук, наши идут!

— Наши идут! — машинально повторил Чубук, приподнимаясь и протирая глаза.

— Ну да... рядом уже. Идем скорей.

— Как же это я заснул? — удивился Чубук.— Прилег только — и заснул.

Глаза его были еще сонные и жмурились от солнца, когда, вскинув винтовку, он зашагал за мной.

Голоса раздавались почти рядом. Я поспешно выскочил из-за избушки и, подбрасывая шапку, заорал что-то, приветствуя подходящих товарищей.

Куда упала шапка, я так и не видел, потому что сознание страшной ошибки оглушило меня.

— Назад! — каким-то хриплым, рычащим голосом крикнул сзади Чубук.

Тах... тах... тах...

Три выстрела почти одновременно жахнули из первых рядов колонны. Какая-то невидимая сила рванула из рук и расщепила приклад моей винтовки с такой яростью, что я едва устоял на ногах. Но этот же грохот и толчок вывели меня из оцепенения. «Белые»,— понял я, бросаясь к Чубуку. Чубук выстрелил.

Целый час мы были под угрозой быть пойманными рассыпавшейся облавой. Все-таки вывернулись. Но еще долго после того, как смолкли голоса преследовавших, шли мы наугад, мокрые, раскрасневшиеся. Пересохшими глотками жадно вдыхали влажный лесной воздух и цеплялись ноющими, точно отдавленными подошвами ног за пни и кочки.

— Будет,— сказал Чубук, бухаясь на траву,— отдохнем. Ну и врезались же мы с тобой, Бориска! А все я... Заснул. Ты заорал: «Наши, наши!», я не разобрал спросонья, думаю, что ты разузнал уже, и пру себе.

Тут только я посмотрел на свою винтовку. Ложе было разбито в щепы, и магазинная коробка исковеркана.

Я подал Чубуку винтовку. Он повертел ее и отбросил в траву.

— Палка,— презрительно сказал он,— это уж теперь не винтовка, а дубинка, свиней ею только глушить. Ну ладно. Хорошо, хоть сам-то цел остался. Шинелька где? Тоже нету. И я свою скатку бросил. Вот какие дела, брат!

Хотелось бы еще отдохнуть, долго лежать не двигаясь, снять сапоги и расстегнуть ворот рубахи, но сильней, чем усталость, мучила жажда, а воды рядом нигде не было.

Поднялись и тихонько пошли дальше. Перешли поле; под горой внизу приткнулись плотно сдвинутые домики деревеньки, и белые мазанки коричневыми соломенными крышами похожи были отсюда на кучку крупных березовых грибов. Спуститься туда мы не решились. Перешли поле и опять очутились в роще.

— Дом,— прошептал я, останавливаясь и показывая пальцем на краешек красной железной крыши.

Опасаясь нарваться на какую-нибудь засаду, мы осторожно подобрались к высокой изгороди. Ворота были наглухо заперты. Не лаяли собаки, не кудахтали куры, не топтались в хлеву коровы — все было тихо, точно все живое нарочно притаилось при нашем приближении. Мы обошли кругом усадьбы — прохода нигде не было.

— Залезай мне на спину,— приказал Чубук,— заглянешь через забор, что там есть.

Через забор я увидел пустой, поросший травой двор, вытоптанные клумбы, из которых кое-где подымались помятые георгины и густо-синие звездочки анютиных глазок.

— Ну? — спросил Чубук нетерпеливо.— Да слезай же! Что я тебе, каменный?

— Нету никого,— ответил я спрыгивая.— Передние окна забиты досками, а сбоку вовсе рамы нету — видать сразу, что брошенный дом. А колодец во дворе есть.

Отодвинув неплотно прибитую доску, мы полезли через дыру во двор. В заплесневелой яме колодца чернильным наплывом отсвечивала глубокая вода, но зачерпнуть было нечем. Под навесом, среди сваленной кучи хлама, Чубук разыскал ржавое худое ведро. Пока мы его подтягивали, воды оставалось на донышке. Тогда заткнули дыру пучком травы и зачерпнули второй раз. Вода была чистая, студеная, и пить ее пришлось маленькими глотками. Ополоснули потные, пыльные лица и пошли к дому. Передние окна были заколочены, но зато сбоку дверь, выходившая на веранду, была распахнута и отвисло держалась на одной нижней петле. Осторожно ступая по скрипучим половицам, пошли в комнаты.

На полу, усыпанном соломой, обрывками бумаги, тряпками, стояло несколько пустых дощатых ящиков, сломанный стул и буфет с дверцами, расщепленными чем-то тупым и тяжелым.

— Мужики усадьбу грабили,— тихо сказал Чубук.— Ограбили все нужное и бросили.

В следующей комнате лежала беспорядочная груда запыленных книг, покрытых рогожей, испачканной известкой. Тут же в общей куче валялся надорванный портрет полного господина, поперек пышного белого лба которого пальцем, обмакнутым в чернила, было коряво выведено неприличное слово.

Было странно и интересно пробираться из комнаты

в комнату заброшенного, разграбленного дома. Каждая мелочь: разбитый цветочный горшок, позабытая фотография, поблескивающая в мусоре пуговица, рассыпанные, растоптанные фигурки шахмат, затерявшийся от колоды король пик, сиротливо прятавшийся в осколках разбитой японской вазы,— все это напоминало о людях, о хозяевах, о не похожем на настоящее прошлом спокойных обитателей этой усадьбы.

За стеной что-то мягко стукнуло, и этот стук, слишком неожиданный среди мертвого тления заброшенных комнат, заставил нас вздрогнуть.

— Кто там? — зычно разбивая тишину, спросил Чубук, приподнимая винтовку.

Большой рыжий кот широкими крадущимися шагами шел нам навстречу. И, остановившись в двух шагах, он с злобным, голодным мяуканьем уставился на нас холодными зелеными глазами. Я хотел погладить его, но кот попятился назад и одним махом, не прикасаясь даже к подоконнику, вылетел на заглохшую клумбу и исчез в траве.

— Как он не сдох?

— Чего ему сдыхать? Он мышей жрет, по духу слышно, что здесь мышей до черта.

Нудным, хватающим за сердце скрипом заныла какая-то далекая дверь, и послышалось неторопливое шарканье: как будто кто-то тер сухой тряпкой об пол. Мы переглянулись. Это были шаги человека.

— Кого тут еще черт носит? — тихо проговорил Чубук, подталкивая меня за простенок и бесшумно свертывая предохранитель винтовки.

Донеслось легкое покашливание, захрустел отодвигаемый дверью ком бумаги, и в комнату вошел невысокий, плохо выбритый старичок в потертой пижаме

голубого цвета и туфлях, обутых на босу ногу. Старичок с удивлением, но без страха посмотрел на нас, вежливо поклонился и сказал равнодушно:

— А я слушаю... кто это внизу ходит? Думаю, может, мужички пришли, ан нету. Глянул в окно — телег не видно.

— Кто ты есть за человек? — с любопытством спросил Чубук, закидывая винтовку за плечо.

— Позвольте спросить мне прежде, кто вы? — так же тихо и равнодушно поправил старичок.— Ибо если вы сочли нужным нанести визит, то будьте добры представиться хозяину. Впрочем...— тут он немного склонил голову и пыльными серыми глазами скользнул по Чубуку,— я и сам догадываюсь: вы — красные.

Тут нижняя губа хозяина дрогнула, будто кто-то дернул ее книзу. Блеснул желтым огоньком и потух золотой зуб, смахнули ожившие веки пыль с его серых глаз. Широким жестом хлебосольного хозяина старичок пригласил нас за собой:

— Прошу пожаловать.

Недоумевая, мы переглянулись и мимо разгромленных комнат пошли к узенькой деревянной лестнице, ведшей наверх.

— Я, видите ли, наверху принимаю,— точно извиняясь, говорил на ходу хозяин.— Внизу, знаете, беспорядок, не убрано, убирать некому, все куда-то провалились, и никого не дозовешься. Сюда пожалуйте.

Мы очутились в небольшой светлой комнате. У стены стоял старый сломанный диван с вывороченным нутром, вместо простыни покрытый рогожей, а вместо одеяла — остатком красивого, но во многих местах прожженного ковра. Тут же стоял трехногий письменный стол, а над столом висела клетка с канарейкой.

Канарейка, очевидно, давным-давно сдохла и лежала в кормушке кверху лапками. Со стены глядело несколько пыльных фотографий. Очевидно, кто-то помог хозяину перетащить негодные остатки разбитой мебели и обставить эту комнату.

— Прошу садиться,— сказал старик, указывая на диван.— Живу, знаете ли, один, гостей давненько уж никого не видел. Мужички заезжают иногда, продукты привозят, а вот порядочных людей давно не видал. Был у меня как-то ротмистр Шварц. Знаете, может быть?.. Ах, впрочем, извините, ведь вы же красные.

Не спрашивая нас, хозяин полез в буфет, достал оттуда две недобитые тарелки, две вилки — одну простую, кухонную, с деревянным черенком, другую — вычурно изогнутую, десертную, у которой не хватало одного зубца, потом достал каравай черного хлеба и полкружка украинской колбасы.

Поставив на кособокую фитильную керосинку залепленный жирной сажей чайник, он вытер руки о полотенце, не стиранное бог знает с какого времени, снял со стены причудливую трубку, с которой беззубо скалился резной козел с человечьей головой, набил трубку махоркой и сел на драное, зазвеневшее выпершими пружинами кресло. Во время всех этих приготовлений мы сидели молча на диване. Чубук тихонько толкнул меня и, хитро улыбнувшись, постучал незаметно пальцем о свой лоб. Я понял его и тоже улыбнулся.

— Давненько уж не видал я красных,— сказал хозяин и тут же поинтересовался: — Каково здоровье Ленина?

— Ничего, спасибо, жив-здоров,— серьезно ответил Чубук.

— Гм, здоров...

Старичок помешал проволокой жерло чадившей трубки и вздохнул.

— Да и то сказать, с чего им болеть? — Он помолчал и потом, точно отвечая на наш вопрос, сообщил: — А я вот прихварываю понемногу. По ночам, знаете, бессонница. Нету прежнего душевного равновесия. Встану иногда, пройдусь по комнатам — тишина, только мыши скребутся.

— Что это вы пишете? — спросил я, увидев на столе целую кипу исписанных бисерным почерком листочков.

— Так,— ответил он.— Соображения по поводу текущих событий. Набрасываю план мирового переустройства. Я, знаете, философ и спокойно взираю на все возникающее и проходящее. Ни на что не жалуюсь... нет, ни на что.

Тут старичок встал и, мельком заглянув в окно, сел опять на свое место.

— Жизнь пошумит, пошумит, а правда останется. Да, останется,— слегка возбуждаясь, повторил старик.— Были и раньше бунты, была пугачевщина, был пятый год, так же разрушались, сжигались усадьбы. Проходило время, и, как птица Феникс из пепла, возникало разрушенное, собиралось разрозненное.

— То есть что же это? На старый лад все повернуть думаете? — настороженно и грубовато спросил Чубук.

При этом прямом вопросе старичок съежился и, заискивающе улыбаясь, заговорил:

— Нет, нет... что вы! Я не к тому. Это ротмистр Шварц хочет, а я не хочу. Вот предлагал он мне возвратить все, что мужички у меня позаимствовали, а я отказался. На что оно мне, говорю. Время не такое,

чтобы возвращать. Пусть лучше они мне понемногу на прожитие продуктов доставляют и пусть на доброе здоровье моим добром пользуются.

Тут старичок опять приподнялся, постоял у окна и быстро обернулся к столу.

— Что же это я... Вот и чайник вскипел. Прошу к столу, кушайте, пожалуйста.

Упрашивать нас было не к чему: хлебные корки захрустели у нас на зубах, и запах вкусной чесночной колбасы приятно защекотал ноздри.

Хозяин вышел в соседнюю комнату, и слышно было, как возится он, отодвигая какие-то ящики.

— Забавный старик,— тихо заметил я.

— Забавный,— вполголоса согласился Чубук,— а только... только что это он все в окошко поглядывает?

Тут Чубук обернулся, пристально осмотрел комнату, и внимание его привлекла старая дерюга, разостланная в углу. Он нахмурился и подошел к окну.

Вошел хозяин. В руках он держал бутылку и полой пижамы стирал с нее налет пыли.

— Вот,— проговорил он, подходя к столу.— Прошу. Ротмистр Шварц заезжал и не допил. Позвольте, я вам в чай коньячку. Я и сам люблю, но для гостей... для гостей...— Тут старичок выдернул бумагу, которой было закупорено горлышко, и дополнил жидкостью наши стаканы.

Я протянул руку к стакану, но тут Чубук быстро отошел от окна и сказал мне сердито:

— Что это ты, милый? Не видишь, что ли, что посуды не хватает? Уступи место старику, а то расселся. Ты и потом успеешь. Садись, папаша, вместе выпьем.

Я посмотрел на Чубука, удивляясь тому грубому тону, которым он обратился ко мне.

— Нет, нет! — И старик отодвинул стакан.— Я потом... вы же гости...

— Пей, папаша,— повторил Чубук и решительно подвинул стакан хозяину.

— Нет, нет, не беспокойтесь,— упрямо отказался старик и, неловко отодвигая стакан, опрокинул его.

Я сел на прежнее место, а старик отошел к окну и задернул грязную ситцевую занавеску.

— Пошто задергиваешь? — спросил Чубук.

— Комары,— ответил хозяин.— Комары одолели. Место тут низкое... столько расплодилось проклятых.

— Ты один живешь? — неожиданно спросил Чубук.— Как же это один?.. А чья это вторая постель у тебя в углу? — И он показал на дерюгу.

Не дожидаясь ответа, Чубук поднялся, отдернул занавеску и высунул голову в окно. Вслед за ним приподнялся и я.

Из окна открывался широкий вид на холмы и рощицы. Ныряя и выплывая, убегала вдаль дорога; у края приподнятого горизонта на фоне покрасневшего неба обозначились четыре прыгающие точки.

— Комары! — грубо крикнул Чубук хозяину и, смерив презрительным взглядом его съежившуюся фигуру, добавил: — Ты, как я вижу, и сам комар. Идем, Борис!

Когда по лесенке мы сбежали вниз, Чубук остановился, вынул коробку и, чиркнув спичкой, бросил ее на кучу хлама. Большой ком сухой бумаги вспыхнул, и пламя потянулось к валявшейся на полу соломе. Еще минута, другая, и вся замусоренная комната загорелась бы. Но тут Чубук с неожиданной решимостью растоптал огонь и потянул меня к выходу.

— Не надо,— как бы оправдываясь, сказал он.— Все равно наше будет.

Минут через десять мимо кустов, в которых мы спрятались, промчались четверо всадников.

— На усадьбу скачут,— пояснил Чубук.— Я как увидел в углу постеленную дерюгу, понял, что старик не один живет, а еще с кем-то. Видел ты, он все к окну подходил? Пока мы внизу по комнатам лазили, он послал за белыми кого-то. Так же и с чаем. Подозрительным мне что-то этот коньяк показался, может, разбавил его каким-нибудь крысомором? Не люблю я и не верю разграбленным, но гостеприимным помещикам! Кем он ни прикидывайся, а все равно про себя он мне первый враг.

Ночевали мы в сенокосном шалаше. В ночь ударила буря, хлынул дождь, а мы были рады. Шалаш не протекал, и в такую непогоду можно было безопасно отоспаться. Едва начало светать, Чубук разбудил меня.

— Теперь караулить друг друга надо,— сказал он.— Я уже давно возле тебя сижу. Теперь прилягу маленько, а ты посторожи. Неравно, как пойдет кто. Да смотри не засни тоже!

— Нет, Чубук, я не засну.

Я высунулся из шалаша. Под горой дымилась речка. Вчера мы попали по пояс в грязное вязкое болотце, за ночь вода обсохла, и тина липкой коростой облепила тело.

«Искупаться бы,— подумал я.— Речка рядышком; только под горку спуститься».

С полчаса я сидел и караулил Чубука. И все не мог отвязаться от желания сбегать и искупаться. «Никого нет кругом,— думал я,— кто в этакую рань пойдет, да тут и дороги никакой около не видно. Не успеет Чубук на другой бок перевернуться, как я уже и готов».

Соблазн был слишком велик, тело зудело и чеса-

лось. Скинув никчемный патронташ, я бегом покатился под гору.

Однако речка оказалась совсем не так близко, как мне казалось, и прошло, должно быть, минут десять, прежде чем я был на берегу. Сбросив черную ученическую гимнастерку, еще ту, в которой я убежал из дому, сдернув кожаную сумку, сапоги и штаны, я бултыхнулся в воду. Сердце ёкнуло. Забарахтался. Сразу стало тепло. У-ух, как хорошо! Поплыл тихонько на середину. Там, на отмели, стоял куст. Под кустом запуталось что-то: не то тряпка, не то упущенная при полоскании рубаха. Раздвинул ветки и сразу же отпрянул назад. Зацепившись штаниной за сук, вниз лицом лежал человек. Рубаха на нем была порвана, и широкая рваная рана чернела на спине. Быстрыми саженками, точно опасаясь, что кто-то вот-вот больно укусит меня, поплыл назад.

Одеваясь, я с содроганием отворачивал голову от куста, буйно зеленевшего на отмели. То ли вода ударила крепче, то ли, раздвигая куст, я нечаянно отцепил покойника, а только он выплыл, его перевернуло течением и понесло к моему берегу.

Торопливо натянув штаны, я начал надевать гимнастерку, чтобы скорей убежать прочь. Когда я просунул голову в ворот, тело расстрелянного было уже рядом почти у моих ног.

Дико вскрикнув, я невольно шагнул вперед и, оступившись, едва не полетел в воду. Я узнал убитого. Это был один из трех раненых, оставленных нами на пасеке: это был наш Цыганенок.

— Эгей, хлопец! — услышал я позади себя окрик.— Подойди-ка сюда.

Трое незнакомых направлялись прямо ко мне. Двое

из них были с винтовками. Бежать мне было некуда — спереди они, сзади река.

— Ты чей? — спросил меня высокий чернобородый мужчина.

Я молчал. Я не знал, кто эти люди — красные или белые.

— Чей? Тебя я спрашиваю! — уже грубее переспросил он, хватая меня за руку.

— Да что с ним разговаривать! — вставил другой.— Сведем его на село, а там без нас спросят.

Подъехали две телеги.

— Дай-ка кнут-то! — закричал чернобородый одному из мужиков-подводчиков, робко жавшемуся к своей лошади.

— Для че? — недовольно спросил другой.— Для че кнутом? Ты веди к селу, там разберут.

— Да не драть. Руки ему перекручу, а то вон как смотрит, того и гляди, что стреканет.

Ловким вывертом закинули мне локти назад и легонько толкнули к телеге:

— Садись!

Сытые кони дернули и быстрой рысцой понесли к большому селу, сверкавшему белыми трубами на зеленом пригорке.

Сидя в телеге, я еще надеялся на то, что мои провожатые — партизаны одного из красных отрядов, что на месте все выяснится и меня сразу же отпустят.

В кустах недалеко от села постовой окликнул:

— Кто едет?

— Свои... староста,— ответил чернобородый.

— А-а-а!.. Куда ездил?

— Подводы с хутора выгонял.

Кони рванулись и понеслись мимо постового. Я не

успел рассмотреть ни его одежды, ни его лица, потому что все мое внимание было приковано к его плечам. На плечах были погоны.

## *Глава девятая*

Солдат на улице еще не было видно — вероятно, спали. Возле церкви стояло несколько двуколок, крытый фургон с красным крестом, а около походной кухни заспанные кашевары кололи на растопку лучину.

— В штаб везти? — спросил возница у старосты.

— Можно и в штаб. Хотя их благородие спят еще. Не стоит из-за такого мальца тревожить. Вези пока в холодную.

Телега остановилась возле низкой каменной избушки с решетчатыми окнами. Меня подтолкнули к двери. Наспех прощупав мои карманы, староста снял с меня кожаную сумку. Дверь захлопнулась, хрустнула пружина замка. В первые минуты острого, причинявшего физическую боль страха я решил, что погиб окончательно и бесповоротно, что нет никакой надежды на спасение. Взойдет солнце выше, проснется его благородие, о котором упоминал староста, вызовет, и тогда смерть, тогда конец.

Я сел на лавку и, опустив голову на подоконник, закоченел в каком-то тупом бездумье. В виски молоточками стучала кровь, и мысль, как неисправная граммофонная пластинка, повторяла, сбиваясь все на одно и то же: «Конец, конец, конец...» Потом, навертевшись до одури, от какого-то неслышного толчка острие сознания попало в нужную извилину мозга, и мысли в бурной стремительности понеслись безудержной чередой.

«Неужели никак нельзя спастись? И так нелепо попался! Может быть, можно бежать? Нет, бежать нельзя. Может быть, на село идут красные и успеют отбить? А если не нападут? Или нападут уже потом, когда будет поздно? Может быть... Нет, ничего не может быть, ничего не выходит».

Мимо окна погнали стадо. Тесно сгрудившись, колыхались овцы, блеяли и позвякивали колокольцами козы, щелкал бичом пастух. Маленький теленок бежал, подпрыгивая, и смешно пытался на ходу ухватить вымя коровы. Эта мирная деревенская картина заставила еще больше почувствовать тяжесть положения, к чувству страха примешивалась и даже подавила его на короткое время злая обида: вот... утро такое... все живут. И овцы, и везде жизнь как жизнь, а ты умирай!

И, как это часто бывает, из хаоса сумбурных мыслей, нелепых и невозможных планов выплыла одна необыкновенно простая и четкая мысль, именно та самая, которая, казалось бы, естественней всего и прежде всего должна была прийти на помощь.

Я так крепко освоился с положением красноармейца и бойца пролетарского отряда, что позабыл совершенно о том, что моя принадлежность к красным как бы подразумевалась сама собой и не требовала никаких доказательств, и доказывать или отрицать казалось мне вообще таким никчемным, как объяснять постороннему, что волосы мои белые, а не черные.

«Постой,— сказал я себе, радостно хватаясь за спасительную нить.— Ну ладно... я красный. Это я об этом знаю, а есть ли какие-нибудь признаки, по которым могли бы узнать об этом они?»

Поразмыслив немного, я пришел к окончательному убеждению, что признаков таких нет. Красноармейских

документов у меня не было. Серую солдатскую папаху со звездочкой я потерял, убегая от кордона. Тогда же бросил я и шинель. Разбитая винтовка валялась в лесу на траве, патронташ, перед тем как идти купаться, я оставил в шалаше. Гимнастерка у меня была черная, ученическая. Возраст у меня был не солдатский. Что же еще остается? Ах, да! Маленький маузер, спрятанный на груди, и еще что? Еще история о том, как я попал на берег речки. Но маузер можно запихать под печь, а историю... историю можно и выдумать.

Чтобы не запутаться, я решил не усложнять обстоятельств выдумыванием нового имени и новой фамилии, возраста и места рождения. Я решил остаться самим собой, то есть Борисом Гориковым, учеником пятого класса Арзамасского реального училища, отправившимся с дядей (чтобы не сбиться, дядю настоящего вспомнил) в город Харьков к тетке (адрес тетки остался у дяди). По дороге я отстал от дяди, меня ссадили с поезда за проезд без пропуска и документов (они у дяди). Тогда я решил пройти вдоль полотна, чтобы сесть на поезд со следующей станции. Но тут красные кончились и начались белые. Если спросят, чем жил, пока шел, скажу, что подавали по деревням. Если спросят, зачем направился в Харьков, раз не знаю адреса тетки, скажу, что надеялся узнать в адресном столе. Если скажут: «Какие же, к черту, могут быть сейчас адресные столы?» — удивлюсь и скажу, что могут, потому ж на что Арзамас худой город, и то там есть адресный стол. Если спросят: «Как же так дядя надеялся пробраться из красной России в белый Харьков?» —скажу, что дядя у меня такой пройдоха, что не только в Харьков, а хоть за границу проберется. А я вот... нет, не пройдоха, не могу никак. На этом месте нужно будет

заплакать. Не особенно, а так, чтобы печаль была видна. Вот и все пока, остальное будет видно на месте.

Вынул маузер. Хотел было сунуть его под печь, но раздумал. Даже если отпустят, отсюда его уж не вытащишь. Комната имела два окна: одно выходило на улицу, другое—в узенький проулок, по которому пролегала тропка, заросшая по краям густой крапивой. Тогда я поднял с пола обрывок бумаги, завернул маузер и бросил небольшой сверток в самую гущу крапивы. Только что успел я это сделать, как на крыльце застучали. Привезли еще троих: двух мужиков, скрывших лошадей при обходе за подводами, и парнишку, уж не знаю зачем укравшего запасную возвратную пружину с двуколки у пулеметчика. Парнишка был избит, но не охал, а только тяжело дышал, точно его прогнали бегом.

Между тем улица села оживилась. Проходили солдаты, ржали кони, звякали котелки возле походной кухни. Показались связисты, разматывавшие на рогульки телефонный провод. Четко, в ногу, под командой важного унтера прошел мимо не то караул к разводу, не то застава к смене.

Опять щелкнул замок, просунулась голова солдата. Остановившись у порога, солдат вытащил из кармана смятую бумажку, заглянул в нее и крикнул громко:

— Который тут Ваалд, что ли? Выходи.

Я посмотрел на своих соседей, те на меня — никто не подымался.

— Ваалд... Ну, кто тут?

«Ваальд Юрий!» — ужаснулся я, вспомнив про бумаги, которые нашел в подкладке и о которых позабыл среди волнений последнего времени. Выбора у меня не было. Я встал и нетвердо направился к двери.

«Ну да, конечно,— понял я.— Они нашли бумаги и

принимают меня за того... за убитого. Ой, как это скверно! Какой хороший и простой был мой первый план, и как легко мне теперь сбиться и запутаться. А отказаться от бумаг нельзя. Сразу же возникнет подозрение — где достал документы, зачем?» Вылетела из головы вся тщательно придуманная история с поездкой к тете, с пройдохой-дядей... Нужно уж что-то сообразить новое, но что сообразишь? Тут уж придется, видно, на месте. Выпрямился и попробовал улыбнуться. Но как трудно иногда быть веселым, как невольно, точно резиновые, сжимаются и вздрагивают насильно растянутые в улыбку губы! С крыльца штаба спускался высокий пожилой офицер в погонах капитана. Рядом, с видом собаки, которой дали пинка, шагал староста. Заметив меня, староста остановился и развел руками: извините, мол, ошибка вышла.

Офицер сказал старосте что-то резкое, и тот, подобострастно кивнув головой, побежал вдоль улицы.

— Здравствуй, военнопленный,— немного насмешливо, но совсем не сердито сказал капитан.

— Здравия желаю, господин капитан! — ответил я так, как учили нас в реальном на уроках военной гимнастики.

— Ступай,— отпустил офицер моего конвоира и подал мне руку.— Ты как здесь? — спросил он, хитро улыбаясь и доставая папироску.— Родину и отечество защищать? Я прочел письмо к полковнику Коренькову, но оно ни к чему тебе теперь, потому что полковник уже месяц как убит.

«И очень хорошо, что убит»,— подумал я.

— Пойдем ко мне. Как же это ты, братец, не сказался старосте? Вот и пришлось тебе посидеть. Попал к своим, да сразу и в кутузку.

— А я не знал, кто он такой. Погонов у него нет, мужик мужиком. Думал, что красный это. Тут ведь, говорят, шатаются,— выдавил я из себя и в то же время подумал, что офицер, кажется, хороший, не очень наблюдательный, иначе бы он по моему неестественному виду сразу догадался, что я не тот, за кого он меня принимает.

— Знавал я твоего отца,— сказал капитан.— Давненько, в седьмом году на маневрах в Озерках у вас был. Ты тогда еще совсем мальчуган был, только смутное какое-то сходство осталось. А ты не помнишь меня?

— Нет,— как бы извиняясь, ответил я,—не помню. Маневры помню чуть-чуть, только тогда у нас много офицеров было.

Если бы я не имел того «смутного сходства», о котором упоминал капитан, и если бы у него появилось хоть маленькое подозрение, он двумя вопросами об отце, о кадетском корпусе мог бы вконец угробить меня.

Но офицер и не подозревал ничего. То, что я не открылся старосте, казалось очень правдоподобным, а воспитанники кадетских корпусов на Дон бежали тогда из России табунами.

— Ты, должно быть, есть хочешь? Пахомов! — крикнул он раздувавшему самовар солдату.— Что у тебя приготовлено?

— Куренок, ваше благородие. Самовар сейчас вскипит... да попадья квашню вынула, лепешки скоро будут готовы.

— Куренок! Что нам на двоих куренок? Ты давай еще чего-нибудь.

— Смалец со шкварками можно, ваше благородие, со вчерашними варениками разогреть.

— Давай вареники, давай куренка, да скоренько!

Тут в соседней комнате заныл вызов телефонного аппарата.

— Ваше благородие, ротмистр Шварц к телефону просит.

Уверенным, спокойным баритоном капитан передавал распоряжения ротмистру Шварцу.

Когда он положил трубку, кто-то другой, по-видимому также офицер, спросил у капитана:

— Что Шварц знает нового об отряде Бегичева?

— Пока ничего. Заходили вчера двое красных на Кустаревскую усадьбу, а поймать не удалось. Да! Виктор Ильич, напишите донесение, что, по агентурным сведениям Шварца, отряд Шебалова будет пытаться проскочить мимо полковника Жихарева в районе завесы красных. Нужно не дать им соединиться с Бегичевым... Ну-с, молодой человек, пойдем завтракать. Покушайте, отдохните, а тогда будем решать, как и куда вас пристроить.

Только что мы успели сесть за стол, денщик поставил плошку с дымящимися варениками, куренка, который по размерам походил скорее на здорового петуха, и шипящую сковородку со шкварками, только что успел я протянуть руку за деревянной ложкой и подумать о том, что судьба, кажется, благоприятствует мне, как возле ворот послышался шум, говор и ругательства.

— До вас, ваше благородие,— сказал вернувшийся денщик,— красного привели с винтовкой. На Забеленном лугу в шалаше поймали. Пошли пулеметчики сено покосить, глянули, а он в шалаше спит, и винтовка рядом и бомба. Ну, навалились и скрутили. Завести прикажете?

— Пусть приведут... Не сюда только. Пусть в соседней комнате подождут, пока я позавтракаю.

Опять затопали, застучали приклады.

— Сюда! — крикнул за стеной кто-то.— Садись на лавку да шапку-то сыми, не видишь — иконы.

— Ты руки прежде раскрути, тогда гавкай!

Вареник захолодел в моем полураскрытом рту и плюхнулся обратно в миску. По голосу в пленном я узнал Чубука.

— Что, обжегся? — спросил капитан.— А ты не наваливайся очень-то. Успеешь, наешься.

Трудно себе представить то мучительное, напряженное состояние, которое охватило меня. Чтобы не внушать подозрения, я должен был казаться бодрым и спокойным. Вареники глиняными комьями размазывались по рту. Требовалось чисто физическое усилие для того, чтобы протолкнуть кусок через сжимавшееся горло. Но капитан уверен в том, что я сильно голоден, да и я сам еще до завтрака сказал ему об этом. И теперь я должен был через силу есть. Тяжело ворочая одеревеневшими челюстями, машинально нанизывая лоснящиеся от жира куски на вилку, я был подавлен и измят сознанием своей вины перед Чубуком. Это я, несмотря на его предупреждения, самовольно ушел купаться. Это я виноват в том, что его захватили в плен двое пулеметчиков. Я виноват в том, что самого дорогого товарища, самого любимого мной человека взяли сонным и привели во вражеский штаб.

— Э-э, брат, да ты, я вижу, совсем спишь,— как будто бы издалека донесся до меня голос капитана.— Вилку с вареником в рот, а сам глаза закрыл. Ляг поди на сено, отдохни. Пахомов, проводи!

Я встал и направился к двери. Теперь нужно было

пройти через комнату телеграфистов, в которой сидел пленный Чубук.

Это была тяжелая минута.

Нужно было, чтобы удивленный Чубук ни одним жестом, ни одним восклицанием не выдал меня. Нужно было дать понять, что я попытаюсь сделать все возможное для того, чтобы спасти его.

Чубук сидел, низко опустив голову. Я кашлянул. Чубук приподнял голову и быстро откинулся назад.

Но, уже прежде чем коснуться спиной стены, он пересилил себя, смял и заглушил невольно вырвавшийся возглас. Как бы сдерживаясь от кашля, я приложил палец к губам, и по тому, как Чубук быстро сощурил глаз и перевел взгляд с меня на шагавшего вслед за мной денщика, я догадался, что Чубук все-таки ничего не понял и считает меня также арестованным по подозрению, пытающимся оправдаться. Его подбадривающий взгляд говорил мне: «Ничего, не бойся. Я тебя не выдам».

Вся эта молчаливая сигнализация была такой короткой, что ее никто не заметил. Покачиваясь, я вышел во двор.

— Сюда пожалуйте,— указал мне денщик на небольшой сарайчик, примыкавший к стене дома.— Там сено снутри и одеяло. Дверцу только заприте за собой, а то поросюки набегут.

## *Глава десятая*

Уткнувшись головой в кожаную подушку, я притих. «Что же делать теперь? Как спасти Чубука? Что должен сделать я для того, чтобы помочь ему убежать? Я виноват, я должен изворачиваться, а я сижу, ем вареники, и Чубук должен за меня расплачиваться».

Но придумать ничего я не мог.

Голова нагрелась, щеки горели, и понемногу лихорадочное, возбужденное состояние овладело мной. «А честно ли я поступаю? Не должен ли я пойти и открыто заявить, что я тоже красный, что я товарищ Чубука и хочу разделить его участь?» Мысль эта своей простотой и величием ослепила меня. «Ну да, конечно,— шептал я,— это будет, по крайней мере, искуплением моей невольной ошибки». Тут я вспомнил давно еще прочитанный рассказ из времен Французской революции, когда отпущенный на честное слово мальчик вернулся под расстрел к вражескому офицеру. «Ну да, конечно,— торопливо убеждал и уговаривал себя я,— я встану сейчас, выйду и все скажу. Пусть видят тогда и солдаты и капитан, как могут умирать красные. И когда меня поставят к стенке, я крикну: «Да здравствует революция!» Нет... не это. Это всегда кричат. Я крикну: «Проклятие палачам!» Нет, я скажу...»

Все больше и больше упиваясь сознанием мрачной торжественности принятого решения, все более разжигая себя, я дошел до того состояния, когда смысл поступков начинает терять свое настоящее значение.

«Встаю и выхожу.— Тут я приподнялся и сел на сено.— Так что же я крикну?»

На этом месте мысли завертелись яркой, слепящей каруселью, какие-то нелепые, никчемные фразы вспыхивали и гасли в сознании, и, вместо того чтобы придумать предсмертное слово, уж не знаю почему я вспомнил старого цыгана, который играл на свадьбах в Арзамасе на флейте. Вспомнил и многое другое, никак не связанное с тем, о чем я пытался думать в ту минуту.

«Встаю...» — подумал я. Но сено и одеяло крепким, вяжущим цементом обволокли мои ноги.

И тут я понял, почему я не поднимаюсь. Мне не хотелось подниматься, и все эти раздумья о последней фразе, о цыгане — все было только поводом к тому, чтобы оттянуть решительный момент. Что бы я ни говорил, как бы я ни возбуждал себя, мне окончательно не хотелось идти открываться и становиться к стенке. Сознавшись себе в этом, я покорно лег опять на подушку и тихо заплакал над своим ничтожеством, сравнивая себя с великим мальчиком из далекой Французской революции.

Деревянная стена, к которой было привалено сено, глухо вздрогнула. Кто-то изнутри задел ее чем-то твердым: не то прикладом, не то углом скамейки. За стеной слышались голоса.

Проворной ящерицей я подполз вплотную, приложил ухо к бревнам и тотчас же поймал середину фразы капитана:

— ...поэтому нечего чушь пороть. Хуже себе делаешь. Сколько пулеметов в отряде?

— Хуже уж некуда, а вилять мне нечего,— отвечал Чубук.

— Пулеметов сколько, спрашиваю?

— Три... два максима, один кольт.

«Нарочно говорит,— понял я.— У нас в отряде всего только один кольт».

— Так. А коммунистов сколько?

— Все коммунисты.

— Так-таки все? И ты коммунист?

Молчание.

— И ты коммунист? Тебя спрашиваю!

— Да что зря спрашивать? Сам билет в руках держит, а спрашивает.

— Мо-ол-чать! Ты, как я смотрю, кажется, идейный.

Стой прямо, когда с тобой офицер разговаривает. Это ты в усадьбе был?

— Я.

— С тобой еще кто?

— Товарищ... Еврейчик один.

— Жид? Куда он делся?

— Убег куда-то... в другую сторону.

— В какую сторону?

— В противоположную.

Что-то стукнуло, двинулась табуретка, и баритон протяжно заговорил:

— Я тебе дам «в противоположную»! Я тебя сейчас самого пошлю в противоположную.

— Чем бить, распорядились бы лучше скорей, да и делу конец,—тише прежнего донесся голос Чубука.— Наши бы, если вас, ваше благородие, поймали, дали бы раза два в морду—и в расход. А вы, глядите-ка, всего плетюгой исполосовали, а еще интеллигентный.

— Что-о?.. Что ты сказал? — высоким срывающимся голосом закричал капитан.

— Я говорю, нечего человека зря валандать!

Вмешался прежний голос:

— Господин командир полка, к аппарату!

Минут десять за стеной молчали. Потом с крыльца уже послышался голос денщика Пахомова:

— Ординарец! Мусабеков!.. Ибрагишка!..

— Ну-у? — донесся из малинника ленивый отклик.

— И где ты, черт, делся? Седлай жеребца капитану.

За стенкой опять баритон:

— Виктор Ильич! Я в штаб... Вернусь, вероятно, ночью. Позвоните Шварцу, чтобы он срочно связался с Жихаревым. Жихарев донес, что отряды Бегичева и Шебалова соединились возле разлома.

— А с этим что?

— Этого... этого можно расстрелять. Или нет — держите его до моего возвращения. Мы еще поговорим с ним. Пахомов,— повышая тон, продолжал капитан,— лошадь готова? Подай-ка мне бинокль. Да! Когда этот мальчик проснется, накормишь его. Мне обед оставлять не надо. Я там пообедаю.

Мелькнули через щели черные папахи ординарцев. Мягко захлопали по пыли подковы. Через ту же щель я видел, как конвоиры повели Чубука к избе, в которой я сидел утром.

«Капитан вернется поздно,— подумал я,— значит, в следующий раз Чубука выведут для допроса ночью».

Робкая надежда легким, прохладным дуновением освежила мою голову.

Я здесь на свободе... Никто меня ни в чем не подозревает, больше того: я гость капитана. Я могу беспрепятственно ходить, где хочу, и, когда начнет темнеть, я как бы прогуливаясь, пойду по тропке, которая пролегает возле окошка, выходящего на зады. Подниму маузер и суну его через решетку. Солдаты придут ночью за Чубуком. Он выйдет на крыльцо и, пользуясь тем, что они будут считать его безоружным, сможет убить и того и другого, прежде чем хоть один из них успеет вскинуть винтовку. Ночи теперь темные: два шага отскочил — и пропал. Только бы удалось просунуть маузер, а это сделать нетрудно. Избушка каменная, решетки крепкие, и поэтому часовой, не опасаясь побега через окно, сидит у крыльца и сторожит дверь; только изредка подойдет он к углу, посмотрит и опять отойдет.

Я вышел из сарайчика. Чтобы скрыть следы слез, вылил себе на голову полный ковш холодной воды.

Денщик подал мне кружку квасу и спросил, хочу ли я обедать. От обеда я отказался, пошел на улицу и сел на завалинку.

Решетчатое окошко, за которым сидел Чубук, черной дырой уставилось на меня с противоположной стороны широкой улицы.

«Хорошо, если бы Чубук заметил меня,— подумал я.—Это ободрит его, он поймет, что раз я здесь на свободе, то постараюсь спасти его. Как заставить его выглянуть? Крикнуть нельзя, рукой помахать — часовой заметит... Ага! Вот как. Так же, как когда-то в детстве я вызывал Яшку Цуккерштейна в сад или на пруд».

Сбегал в комнату, снял со стены небольшое походное зеркальце и вернулся на завалинку. Сначала я занимался рассматриванием прыщика, вскочившего на лбу, потом как бы нечаянно пустил солнечного зайчика на крышу противоположного дома и оттуда незаметно перевел светлое пятно в черный провал окна. Часовому, сидевшему на крыльце, был невидим острый луч, ударивший через окно во внутреннюю стену избы. Тогда, не двигая зеркала, я закрыл стекло, открыл опять, и так несколько раз.

Расчет мой, основанный на том, что арестованный заинтересуется причиной вспышек в затемненной комнате, оправдался. В следующую минуту в окне под лучами моего солнечного прожектора возник силуэт человека. Сверкнув несколько раз, чтобы Чубук проследил направление луча, я отложил зеркало и, встав во весь рост, как бы потягиваясь, поднял руку вверх, что на языке военной сигнализации всегда означало: «Внимание! Будьте готовы!»

К крыльцу подошли два стройных юнкера в запыленных бескозырках, с карабинами, ловко перекинуты-

ми наискосок за спину, и спросили капитана. К ним вышел замещавший капитана младший офицер. Юнкера отдали честь, и один протянул пакет:

— От полковника Жихарева.

С завалинки я услышал жужжание телефона: младший офицер настойчиво вызывал штаб полка. Четыре солдата, присланные от рот для связи, выскочили из штабной избы и мерным солдатским бегом понеслись в разные концы села. Еще через несколько минут распахнулись ворота околицы, и десять черных казаков легкой стайкой выпорхнули за деревню. Быстрота и четкость, с которой выполнялись передаваемые штабом распоряжения, неприятно поразили меня.

Вышколенные юнкера и вымуштрованные казаки, из которых состоял сводный отряд, были не похожи на наших храбрых, но горластых и плохо дисциплинированных ребят.

Солнце еще только близилось к закату, а мне уже не сиделось. По приготовлениям и отдельным фразам я понял, что в ночь отряд будет выступать. Чтобы скоротать до темноты время, а заодно получше осмотреться, я пошел вдоль села и вышел на пруд, в котором казаки купали лошадей. Лошади фыркали, чавкали копытами, увязавшими в вязком, глинистом дне. Взбаламученная затхлая вода теплыми струйками стекала с их лоснящейся, жирной кожи.

На берегу бородатый голый казак с крестом на шее рубил шашкой кусты густого ракитника.

Занося шашку, казак поджимал губы, а когда опускал ее, то из груди его вылетал короткий вздох, производивший тот самый неопределенный звук, который вырывается у мясников, разделывающих топором коровью тушу: ыых... ыых...

Под острым блестящим клинком толстые сучья валились, как трава. Попади ему сейчас под замах вражья рука — не будет руки. Попади ему красноармейская голова—разрубит наискосок, от шеи до плеча.

Видел я следы казачьих шашек: как будто бы не на скаку, не узким лезвием шашки нанесен гибельный удар, а на плахе топором спокойно, хорошо нацелившегося заплечных дел мастера.

Заслышав звон колокола, призывавшего ко всенощной, казак кончил рубить. Серой суконной портянкой вытер разгоревшийся клинок, вложил его в ножны и, тяжело дыша, перекрестился.

Меж картофельных гряд узенькой тропкой дошел я до родника. Ледяная вода с веселым журчаньем стекала со старой, покрытой мхом колоды. Заржавленная икона, врезанная в подгнивший крест, тускло глядела выцветшими глазами. Под иконой слабо обозначалась вырезанная ножом надпись:

«Все иконы и святые — ложь».

Начинало темнеть. «Еще полчаса,— подумал я,— и можно будет пробираться к каменной избушке». Я решил выйти на конец села, пересечь большую дорогу и оттуда тропкой пробраться к решетчатому окну. Я хорошо знал место, на которое упал маузер. Белая обертка бумаги немного просвечивала сквозь крапиву. Я решил, не останавливаясь, поднять сверток, сунуть его через решетку и идти дальше как ни в чем не бывало.

Завернув за угол, я очутился на пустыре. Здесь я увидел кучу солдат и неожиданно лицом к лицу столкнулся с капитаном.

— Что ты тут ходишь? — удивившись, спросил он.— Или ты тоже пришел посмотреть? Тебе ведь еще в диковинку.

— Вы разве уже приехали? — заплетающимся языком глупо выдавил я из себя, не понимая еще, о чем это он говорит.

Слова команды, раздавшиеся сбоку, заставили нас обернуться. И то, что я увидел, толкнуло меня судорожно вцепиться в обшлаг капитанского рукава.

В двадцати шагах, в стороне, пять солдат с винтовками, взятыми наизготовку, стояли перед человеком, поставленным к глиняной стене нежилой мазанки. Человек был без шапки, руки его были стянуты назад, и он в упор смотрел на нас.

— Чубук,— прошептал я зашатавшись.

Капитан удивленно обернулся и, как бы успокаивая, положил мне руку на плечо. Тогда, не спуская с меня глаз и не обращая внимания на команду, по которой солдаты взяли винтовки к плечу, Чубук выпрямился и, презрительно покачав головой, плюнул.

Тут так сверкнуло, так грохнуло, что как будто бы моей головой ударили по большому турецкому барабану. И, зашатавшись, обдирая хлястик капитанского обшлага, я повалился на землю.

— Кадет,— строго сказал капитан, когда я опомнился,— это еще что такое? Баба... тряпка! Незачем было лезть смотреть, если не можешь. Так нельзя, батенька,— уже мягче добавил он,— а еще в армию прибежал.

— С непривычки это,— зажигая спичку и закуривая, вставил поручик,— командовавший солдатами.— Вы не обращайте на это внимания. У меня в роте телефонистик один из кадетов. Сначала по ночам маму звал, а теперь такой аховый. А этот-то хорош,— понижая голос, продолжал офицер.— Стоял, как на часах, не коверкался. И ведь еще плюнул!

## *Глава одиннадцатая*

В ту же ночь, захватив свой маузер и сунув в карман бомбу, валявшуюся в капитанской повозке, с первого же пятиминутного привала я убежал.

Всю ночь безостановочно, с тупым упрямством, не сворачивая с опасных дорог, пробирался я к северу. Черные тени кустарников, глухие овраги, мостики — все то, что в другое время заставило бы меня насторожиться, ждать засады, обходить стороной, проходил я в этот раз напролом, не ожидая и не веря в то, что может быть что-нибудь более страшное, чем то, что произошло за последние часы.

Шел, стараясь ни о чем не думать, ничего не вспоминать, ничего не желая, кроме одного только: скорей попасть к своим.

Следующий день, с полудня до глубоких сумерек, проспал я, как под хлороформом, в кустах запущенной лощины; ночью поднялся и пошел опять. По разговорам в штабе белых я знал, где приблизительно мне нужно искать своих. Они должны были быть уже недалеко. Но напрасно до полуночи кружил я тропками, проселочными дорогами—никто не останавливал меня.

Ночь, как трепыхающаяся птица, билась в разноголосом звоне неумолчных пташек, в кваканье лягушек, в жужжанье комаров. В шорохах пышной листвы, в запахах ночных фиалок и лесной осоки беспокойной совой кричала раззолоченная звездами душная ночь.

Отчаянье стало овладевать мной. Куда идти, где искать? Вышел к подошве холма, поросшего сочным дубняком, и, обессиленный, лег на поляну, поросшую душистым диким клевером. Так лежал я долго, и чем дольше думал, тем крепче черной пиявкой всасывалось

сознание той ошибки, которая произошла. Это на меня плюнул Чубук, на меня, а не на офицера. Чубук не понял ничего, он ведь не знал про документы кадета, я забыл сказать ему про них. Сначала Чубук думал, что я тоже в плену, но когда увидел меня сидящим на завалинке, а особенно потом уже, когда капитан дружески положил мне руку на плечо, то, конечно, Чубук подумал, что я перешел на сторону белых. Ничем иным Чубук не мог объяснить себе той заботливости и того внимания, которые были проявлены ко мне белым офицером. Его плевок, брошенный в последнюю минуту, жег меня, как серная кислота. И еще горше становилось от сознания, что поправить дело нельзя, объяснить и оправдаться не перед кем и что Чубука уже больше нет и не будет ни сегодня, ни завтра, никогда...

Злоба на самого себя, на свой непоправимый поступок в шалаше туже и туже скручивала грудь. И никого кругом не было, не с кем было поделиться, поговорить. Тишина. Только гам птиц да лягушиное кваканье.

К злобе на самого себя примешивалась ненависть к проклятой, выматывающей душу тишине. Тогда, обозленный, раскаивающийся и оскорбленный, в бессмысленной ярости вскочил я, выхватил из кармана бомбу, дернул предохранитель и сильным взмахом бросил ее на зеленый луг, на цветы, на густой клевер, на росистые колокольчики.

Бомба разорвалась с тем грохотом, которого я хотел, и с далекими, распугивающими тишину перегудами и перекатами ошалелого эха.

Я прямо зашагал вдоль опушки.

— Эй, кто там идет? — услышал я вскоре из-за кустов.

— Я иду,— ответил я не останавливаясь.

— Что за я?.. Стрелять буду!

— Стреляй! — с непонятной вызывающей злобой крикнул я, вырывая маузер из-за пазухи.

— Стой, шальной! — раздался другой голос, показавшийся мне знакомым и обращавшийся к невидимому для меня спутнику.— Васька, стой же ты, черт! Да ведь это же, кажется, наш — Бориска.

У меня хватило здравого смысла опомниться и не бабахнуть в бойца нашего отряда, шахтера Малыгина.

— Да откуда ты взялся? А мы тут недалече. Послали нас разузнать: бомбой кто-то грохнул. Уж не ты ли?

— Я.

— Чего ты разошелся так? И бомбами швыряешься и на рожон прешь. Ты уж не пьяный ли?

Все рассказал я товарищам: как попал к белым, как был захвачен и погиб славный Чубук, только о последнем плевке Чубука не сказал я никому. И тогда же выложил заодно обо всем, что слышал в штабе о планах белых, о распоряжении, о том, что отряды Жихарева и Шварца постараются нагнать наших.

— Что же,— сказал Шебалов, опираясь на потемневший и поцарапанный в походах палаш,— слов нету, жалко Чубука. Был Чубук первый красноармеец, лучший боец и товарищ. Что и говорить... Большую оплошку сделал ты, парень... Да, большую.— Тут Шебалов вздохнул.— Ну, а как мертвого все равно не воротишь, нечего мне тебе говорить, да и ты сам не нарочно, а с кем беды не бывает.

— С кем беды не бывает,— подхватило несколько голосов.

— Ну, а вот за то, что узнал ты про Жихарева, что торопился ты сообщить об этом товарищам,— за это тебе вот моя рука и спасибо!

Круто завернув вправо, большими ночными переходами далеко ушли мы от ловушки, расставленной Жихаревым, и, минуя крупные села, сбивая на пути мелкие разъезды белых, соединившиеся отряды Шебалова и Бегичева вышли через неделю к своим регулярным частям, державшим завесу на участке станции Поворино.

В те же дни я стал кавалеристом. На стоянке подошел ко мне Федя Сырцов, хлопнул по плечу своей маленькой цепкой пятерней.

— Борис,— спросил он,— верхом ездил когда?

— Ездил,— ответил я,— в деревне только у дядьки, да и то без седла. А что?

— Раз без седла ездил, в седле и подавно сумеешь. Хочешь ко мне в конную?

— Хочу,— ответил я и недоверчиво посмотрел на Федю.

— Ну, так заместо Бурдюкова будешь. Его коня возьмешь.

— А Гришка где?

— Шебалов выгнал,— и Федя выругался.— Вовсе из отряда выгнал. Гришка на обыске у попа надел на палец колечко да и забыл снять. И колечко-то дрянь, ему в мирное время пятерка — красная цена. Так поди ж ты поговори с Шебаловым! Выгнал, черт, попову сторону взял.

Я хотел было возразить Феде, что вряд ли Шебалов станет держать попову сторону и что, вероятно, Гришка Бурдюков не нечаянно позабыл снять кольцо. Но

тут мне показалось, что Феде не понравится это разъяснение, он, чего доброго, раздумает брать меня в конную разведку, и я смолчал. А в конную давно уже мне хотелось.

Пошли к Шебалову.

Шебалов неохотно согласился отпустить меня из первой роты. Поддержал неожиданно хмурый Малыгин.

— Пусти его,— сказал он.— Парень молодой, проворный. Да и так он ходит все, без Чубука скучает. Они ведь всегда на пару, а теперь не с кем ему!

Шебалов отпустил, но, исподлобья посмотрев на Федю, сказал ему не то шутя, не то серьезно:

— Ты, Федор, смотри... не спорть у меня парня! Ты не вихляй глазами-то, серьезно я тебе говорю!

Вместо ответа Федя задорно подмигнул мне: ладно, дескать, сами не маленькие.

Через месяц я уже, как заправский кавалерист, подражая Феде, ходил, расставляя в стороны ноги, перестал путаться в шпорах и все свободное время проводил возле тощего пегого жеребца, который достался мне после Бурдюкова.

Я сдружился с Федей Сырцовым, хотя Федя вовсе не был похож на расстрелянного Чубука. Если правду сказать, то с Федей я себя чувствовал даже свободнее, чем с Чубуком. Чубук был похож на отца, а не на товарища. Станет иногда выговаривать или стыдить, стоишь и злишься, а язык не поворачивается сказать ему что-нибудь резкое. С Федей же можно было и поругаться и помириться, с ним было весело даже в самые тяжелые минуты. Капризный только был Федя. Иной раз заладит свое, так ничем его не сшибешь.

## *Глава двенадцатая*

Однажды Шебалов приказал Феде:

— Седлай, Федор, коней и направляйся в деревеньку Выселки. Второй полк по телефону разведать просил, нет ли там белых. У нас своего провода к ним не хватает, приходится разговаривать через Костырево, а они думают прямо через Выселки к нам связь протянуть.

Федя заартачился. Погода дождливая, скверная, а до Выселок надо было через болото километров восемь такой грязью переть, что раньше чем к ночи оттуда вернуться и думать было нечего.

— Кто на Выселках есть? — возмутился Федя.— Зачем там белые окажутся? Выселки вовсе в стороне, кругом болота. Если белым нужно, то они по большаку попрут, а не на Выселки.

— Тебя не спрашивают! Сказано тебе отправиться — и отправляйся,— оборвал его Шебалов.

— Мало ли что сказано! Ты, может, чертову бабушку разыскивать пошлешь меня! Так я и послушался! Нехай пехотинцы идут. Я лошадей хотел перековать, а кроме того, табаку фельдшер два ведра напарил, от чесотки коням растирку сделать нужно, а ты... на Выселки!

— Федор,— устало сказал Шебалов,— ты мне хоть разбейся, а приказа своего я не отменю.

Шлепая по грязи, ругаясь и отплевываясь, Федя заорал нам, чтобы мы собирались.

Никому из нас не хотелось по дождю и слякоти тащиться из-за каких-то телеграфистов на Выселки. Ругали ребята Шебалова, обзывали телеграфистов шкурами, пустозвонами, нехотя седлали мокрых лошадей

и нехотя, без песен, тронулись к окраине деревушки.

Вязкая, жирная глина тупо чавкала под ногами. Ехать можно было только шагом. Через час, когда мы были только еще на полдороге, хлынул ливень. Шинели разбухли, вода струйками сбегала с шапок. Дорога раздваивалась. В полукилометре направо, на песчаной горке, стоял хутор в пять или шесть дворов. Федя остановился, подумал и дернул правый повод.

— Отогреемся, тогда поедем дальше,— сказал он.— А то на дожде и закурить нельзя.

В большой, просторной избе было тепло, чисто прибрано и пахло чем-то очень вкусным, не то жареным гусем, не то свининой.

— Эге! — тихонько шепнул Федя, шмыгнув носом.— Хутор-то, я вижу, еще того, еще не объеденный.

Хозяин попался радушный. Мигнул здоровой девке, и та, задорно глянув на Федю, плюхнула на стол деревянные миски, высыпала ложки и, двинув табуретом, сказала, усмехаясь:

— Что ж стали-то? Садитесь.

— А что, хозяин,— спросил Федя,— далеко ли отсюда еще до Выселок?

— В лето, когда сухо,— ответил старик,— тогда мы прямой тропкой через болото ходим. Тут вовсе не далеко, полчаса ходьбы всего. Ну, а сейчас там не пройдешь, завязнуть недолго. А так по дороге, по которой вы ехали, часа два проедешь. Тоже скверная дорога, особенно у мостика через ключ. Верхами ничего, а с телегой плохо. Зять у меня нынче вернулся оттуда, так оглоблю сломал.

— Сегодня оттуда? — спросил Федя.

— Сегодня, с утра еще.

— Что там, не слыхать белых?

— Да нет, не слыхать пока.

— Пес его, Шебалова, задери. Говорил я ему, что нету. Раз с утра не было, значит, и сейчас нету. Весь день такой дождина, кого туда понесет? Давай раздевайся, ребята. Не за каким чертом лезть дальше. Только ноги коням вывертывать.

— Ладно ли, Федька, будет? — спросил я.— А что Шебалов скажет?

— Что Шебалов? — ответил Федя, решительно сбрасывая тяжелую, перепачканную глиной шинельку.— Скажем Шебалову, что были, мол, и никого нету!

За обедом на столе появилась бутылка самогонки. Федя разлил по чашкам, налил и мне.

— Пейте,— сказал он чокаясь.— Выпьем за всемирный пролетариат, за итальянскую революцию! Пошли, господи, чтобы на наш век революции хватило и белые не переводились! Дай им доброго здоровья, хоть порубать есть кого, а то скучно было бы без них жить на свете. Ну, дергаем!

Заметив, что я не решаюсь поднять чашку, Федя присвистнул:

— Фью!.. Да ты что, Борис, али не пил еще никогда? Ты, я вижу, не кавалерист, а красная девушка.

— Как не пил! — горячо покраснев, соврал я и лихо опрокинул чашку в рот.

Пахучая едкая жидкость обволокла горло и ударила в нос. Я наклонил голову и ожесточенно впился губами в размяклый соленый огурец. Вскоре мне стало весело. Вытащил Федя из кожаного чехла свой баян и заиграл что-то такое, от чего сразу стало хорошо на душе. Потом пили еще, пили и за здоровье красных бойцов, которые бьются с белыми, и за наших товарищей коней, которые носят нас в смертный бой, и за на-

ши шашки, чтобы не тупились, не осекались и беспощадно белые головы рубили, и за многое другое еще в тот вечер пили.

Больше всех пил и меньше всех пьянел Федя. Черные пряди волос прилипли к его взмокшему лбу; он яростно растягивал мехи баяна и мягким тенором выводил:

Как за Доном за рекою красные гуляют...

А мы нестройно, но с воодушевлением подхватывали:

Э-эй, эй, гуляй, красные гуляют...

И опять Федя заливался, качая головой, и жмурил влажные глаза:

Им товарищ — острый нож,
Шашка-лиходейка...

А мы с хвастливым, бесшабашным молодечеством вторили речитативом:

Шашка-ли-хо-дей-ка...

И разом дружно:

И-эх! Пра-а-падем мы ни за грош...
Жизнь наша ко-пей-ка-а-а-а...

Напоследок Федя взял такую высокую ноту, что перекрыл и наши голоса и свой баян, опустил голову, раздумывая над чем-то, потом тряхнул кудрями так яростно, точно его укусила в шею пчела, и, стукнув кулаком по столу, потянулся опять к чашке.

Уезжали мы уже поздно вечером. Долго не мог я попасть ногой в стремя, а когда взобрался на коня, то показалось мне, что сижу не в седле, а на качелях. Голову мутило и кружило. Накрапывал мелкий дождь, кони слушались плохо, ряды путались, задние наезжа-

ли на передних. Долго шатало меня по седлу, и наконец я приник к гриве коня, как неживой.

Утром болела голова. Вышел на двор. Было противно за вчерашнее. В торбе у коня овса не было. Вернувшись вчера, я рассыпал овес спьяна в грязь. Зато у Федькина жеребца в кормушке было навалено доверху. Я взял ведерко и отсыпал своему коню. В сенях встретил двоих разведчиков; оба злые, глаза мутные, посоловелые.

«Неужели же и у меня такое лицо?» — испугался я и пошел умываться. Мылся долго. Потом вышел на улицу. За ночь ударили заморозки, на затвердевшую глину развороченной дороги западали редкие крупинки первого снега. Нагнал меня сзади Федя Сырцов и заорал:

— Ты что, сукин кот, из моей кормушки своему жеребцу отсыпал? Я тебя за этакие дела по морде бить буду!

— Сдачи получишь,— огрызнулся я.— Что, твоему коню лопнуть, что ли? Ты зачем себе лишний четверик при дележке забрал?

— Не твое дело,— брызгаясь слюной и ругаясь, подскочил ко мне Федя, размахивая плетью.

— Убери плеть, Федька! — взбеленившись, заорал я, зная его самодурские замашки.— Ей-богу, если хоть чуть заденешь, я тебе плашмя клинком по башке заеду!

— А, ты вот как!

Тут Федька разъярился вконец, и уж не знаю, чем бы кончился наш разговор, если бы не появился из-за угла Шебалов.

Шебалова Федя не любил и побаивался, а потому со злостью жиганул плетью по спине вертевшуюся под ногами собачонку и, погрозив мне кулаком, ушел.

— Поди сюда,— сказал мне Шебалов.

Я подошел.

— Что вы с Федькой то в обнимку ходите, то собачитесь? Зайдем-ка ко мне в хату.

Притворив за собой дверь, Шебалов сел и спросил:

— На Выселках и ты с Федькой был?

— Был,— ответил я и смутился.

— Не ври! Никто из вас там не был. Где прошатались это время?

— На Выселках,— упрямо повторил я, не сознаваясь.

Хоть я и был зол на Федьку, но не хотел его подводить.

— Ну ладно,— после некоторого раздумья сказал Шебалов и вздохнул.— Это хорошо, что на Выселках, а я, знаешь, засомневался что-то, Федьку не стал и спрашивать: он соврет — недорого возьмет. Байбаки его тоже как на подбор. Мне со второго полка звонили. Ругаются. «Мы,— говорят,— послали телефонистов в Выселки, поверили вам, а их оттуда как жахнули!» Я отвечаю им: «Значит, уже опосля белые пришли», а сам думаю: «Пес этого Федьку знает, вернулся он что-то поздно, и вроде как водкой от него несет».

Тут Шебалов замолчал, подошел к окну, за которым белой россыпью отсеивался первый неустойчивый снежок, прислонился лбом к запотевшему стеклу и так простоял молча несколько минут.

— Беда мне прямо с этими разведчиками,— сказал он оборачиваясь.— Слов нету, храбрые ребята, а непутевые! И Федька этот тоже — никакой в нем дисциплины. Выгнал бы — заменить некем.

Шебалов посмотрел на меня дружелюбно; белесоватые насупившиеся брови его разошлись, и от серых,

всегда прищуренных для строгости глаз, точно кругами, как после камня, брошенного в воду, расплылась по морщинкам необычная для него смущенная улыбка, и он сказал искренне:

— Знаешь, ведь беда как трудно отрядом командовать! Это не то что сапоги тачать. Сижу вот целыми ночами... к карте привыкаю. Иной раз в глазах зарябит даже. Образования нет ни простого, ни военного, а белые упорные. Хорошо ихним капитанам, когда они ученые и всегда на военном деле сидят, а я ведь приказ даже по складам читаю. А тут еще ребята у нас такие. У тех дисциплина. Сказано — сделано! А у нас не привыкли еще, за всем самому надо глядеть, все самому проверять. В других частях хоть комиссары есть, а я просил-просил — нету, отвечают: «Ты пока и так обойдешься, ты и сам коммунист». А какой же я коммунист?..— Тут Шебалов запнулся.— То есть, конечно, коммунист, но ведь образования никакого.

В дверь ввалились грузный Сухарев и чех Галда.

— Я сольдат в расфетку даль, я сольдат... к пулеметшик даль... Я сольдат... на кухонь, а он нишего не даль,— возмущенно говорил крючконосый Галда, показывая пальцем на красного, злого Сухарева.

— Он на кухню дал,— кричал Сухарев,— картошку чистить, а я ночную заставу только к полудню снял! Он к пулеметчикам дал, а у меня из второго взвода с утра ребята мост артиллеристам чинить помогали. Нет, как ты хочешь, Шебалов. Пусть он людей для связи даст, а я не дам!

Сжались белесоватые брови, сощурились дымчатые глаза, и не осталось и следа смущенной, добродушной улыбки на сером, обветренном лице Шебалова.

— Сухарев,— строго сказал он, опираясь на свой

палаш и оглушительно звякнув своими рыцарскими шпорами,—ты не дури! У тебя одну ночь не поспали, ты и разохался. Ты же знаешь, что я нарочно Галде передохнуть даю, что ему особая задача будет. Он ночью на Новоселово пойдет.

Тут Сухарев разразился тремя очередями бесприцельной брани; крючконосый Галда, путая русские слова с чешскими, замахал руками, а я вышел.

Мне было стыдно за то, что я соврал Шебалову. «Шебалов,— думал я,— командир. Он не спит ночами, ему трудно. А мы... мы вон как относимся к своему делу. Зачем я соврал ему, что наша разведка была в Выселках? Вот и телефонистов из соседнего полка подвели. Хорошо еще, что никого не убило. А ведь это уж нечестно, нечестно перед революцией и перед товарищами».

Пробовал было я оправдаться перед собой тем, что Федя—начальник и это он приказал переменить маршрут, но тотчас же поймал себя на этом и обозлился: «А водку пить тоже начальник приказал? А старшего командира обманывать тоже начальник заставил?»

Из окна высунулась растрепанная Федина голова, и он крикнул негромко:

— Бориска!

Я сделал вид, что не слышал.

— Борька! — примирительно повторил Федя.— Брось кобениться. Иди оладьи есть. Иди... У меня до тебя дело... Жри! — как ни в чем не бывало сказал Федя, подвигая ко мне сковородку, и с беспокойством заглянул мне в лицо.— Тебя зачем Шебалов звал?

— Про Выселки спрашивал,— прямо ответил я.— Не были вы, говорит, там вовсе!

— Ну, а ты?

Тут Федя заерзал так, точно его вместе с оладьями посадили на горячую сковородку.

— Что я? Надо было сознаться. Тебя только, дурака, пожалел.

— Но-но... ты не очень-то,— заносчиво завел было Федя, но, вспомнив, что он еще не все выпытал у меня, подвинулся и спросил с тревожным любопытством: — А еще что он говорил?

— Еще говорил, что трусы вы и шкурники,— нагло уставившись на Федю, соврал я.— «Побоялись,— говорит,— на Выселки сунуться да отсиделись где-то в логу. Я,— говорит,— давно замечаю, что у разведчиков слабить стало».

— Врешь! — разозлился Федя.— Он этого не говорил.

— Поди спроси,— злорадно продолжал я.— «Лучше,— говорит,— вперед пехоту на такие дела посылать, а то разведчики только и горазды, что погреба со сметаной разведывать».

— Вре-ешь! — совсем взбеленился Федя.— Он, должно быть, сказал: «Байбаки, от рук отбились, порядку ни черта не признают», а про то, что с разведчиками слабо́ стало, он ничего не говорил.

— Ну и не говорил,—согласился я, довольный тем, что довел Федьку до бешенства.— Хоть и не говорил, а хорошо, что ли, на самом деле? Товарищи надеются на нас, а мы вот что. Соседний полк из-за тебя в обман ввели. Как на нас теперь другие смотреть будут? «Шкурники,— скажут,— и нет им никакой веры. Сообщили, что нет на Выселках белых, а телефонисты пошли провод разматывать — их оттуда стеганули».

— Кто стеганул? — удивился Федя.

— Кто? Известно, белые.

Федя смутился. Он ничего еще не знал про телефонистов, попавших из-за него в беду, и, очевидно, это больно задело его. Он молча ушел в соседнюю комнату. И по тому, что Федя, сняв свой хриплый баян, заиграл печальный вальс «На сопках Маньчжурии», я понял, что у Феди дурное настроение.

Вскоре он резко оборвал игру и, нацепив свою обитую серебром кавказскую шашку, вышел из хаты.

Минут через пятнадцать он появился под окном.

— Вылетай к коню! — хмуро приказал он через стекло.

— Ты где был?

— У Шебалова. Вылетай живей!

Немного спустя наша разведка легкой рысцой протрусила мимо полевого караула по слегка подмерзшей, корявой дороге.

## *Глава тринадцатая*

На том перекрестке, где мы свернули вчера на хутор, Федя остановился и, отозвав в сторону двух самых ловких, долго говорил им что-то, указывая пальцем на дорогу, и наконец, выругав и того и другого, чтобы крепче поняли приказание, вернулся к нам и велел сворачивать на хутор. На хуторе, ни одним словом не напоминая хозяину о вчерашнем, Федя стал расспрашивать его о прямой дороге через болото в Выселки.

— Не проехать вам, товарищи,— убеждал хозяин.— Коней только потопите. Целую неделю дождь шел, там и пешком-то не всякий проберется, а не то что верхами.

Когда вернулись двое высланных вперед разведчиков и донесли, что Выселки заняты белыми и на дороге застава, Федя, не обращая внимания на увещевания хозяина, приказал ему собираться. Хозяин пуще забожился, что пройти через болото никак не возможно. Хозяйка заплакала. Краснощекая девка, дочь, та, что вчера весело перемигивалась с Федей, рассерженно огрызнулась на него за то, что он наследил сапогами на полу. Но Федю ничто не пробирало, и он стоял на своем. Я хотел было спросить насчет его планов; он в ответ не выругался даже, а только взглянул на меня искоса и зло усмехнулся.

Вскоре мы выехали из хутора. Хозяин на плохонькой лошаденке ехал впереди, рядом с Федей. Сразу свернули в березняк. Под ногами лошадей из упругого, разбухшего мха выдавливалась мутная вода. Дорога все ухудшалась. Глубже вязли лошади; мшистые кочки почерневшими островками кое-где высовывались из залитого водой луга.

Спешились и пошли дальше. Так шли до тех пор, пока не очутились возле старой гати, о которой предупреждал нас хозяин. Перед нами была узкая полоска, покрытая густой жижей всплывших прутиков и перегнившей соломы.

— Н-да,— пробурчал Федя, искоса поглядывая на прихмурившихся товарищей,— дорожка!..

— Потопнем, Федька!

— А недолго и потонуть,— поддакнул старик провожатый.— Гать худая, настилка сгнила, тут и в хорошую-то погоду кое-как, а не то что в этакую мокрятину.

— Тут кони ни вплавь, ни вброд. Чисто чертова каша.

— Но! — подбодрил Федя, искусственно улыбаясь.— Расхлебаем и чертову!

Он дернул за повод упиравшегося жеребца и первым ухнул по колено в пахнувшую гнилью жижу. За ним медленно по двое потянулись и мы. Вода, кое-где покрытая паутинкой утреннего льда, заливала за голенища сапог. Невидимая тоненькая настилка колебалась под ногами. Было жутко ступать наугад, и казалось мне, что вот-вот под ногой не окажется никакой опоры и я провалюсь в вязкую, засасывающую ямину.

Кони храпели, упрямились и вздрагивали. Откуда-то из тумана, точно с того света, донесся Федин вопрос:

— Эй, там, все целы?

— Ну, ребята, кажется, зашли, что дальше некуда. Воротиться бы лучше,— стуча от холода зубами, пробормотал рыжий горнист.

Внезапно из тумана вынырнул Федя.

— Ты мне, Пашка, панику не наводи,— тихо и сердито предупредил он.— А будешь ныть, так лучше заворачивай и езжай один назад. Папаша,— обратился он к старику,— лошади у меня по брюхо. Долго еще?

— Тут-то недолго. Сейчас — как взъём — посуше пойдет, да место-то перед этим самое гиблое. Вот если пройдем сейчас, то, значит, уже кончено, пройдем и дальше.

Вода дошла до пояса. Остановившись, старик снял шапку и перекрестился.

— Теперечка, как я пойду, так вы по одному за мной вровень, а то тут оступиться можно.

Старик нахлобучил шапку и полез дальше. Шел он тихо, часто останавливался и нащупывал шестом невидимый под водой настил.

Коченея от морозного ветра, подмоченные снизу водой болота, сверху — всосавшимся в одежду туманом, растянувшись по одному, за полчаса прошли мы не больше ста метров. Руки у меня посинели и колени дрожали.

«Черт Федька! — думал я.— То вчера по грязной дороге ехать не хотел, а сегодня в трясину завел».

Донеслось спереди тихое ржание. Туман разорвался, и на бугре мы увидели Федю, уже сидящего верхом на коне.

— Тише,— шепотом сказал он, когда мы, мокрые, продрогшие, столпились вокруг него.— Выселки за кустами, в сотне шагов. Дальше сухо.

С гиканьем, с остервенелым свистом ворвалась в деревеньку наша продрогшая кавалерия с той стороны, откуда нас белые никак не могли ожидать. Расшвыривая бомбы, пронеслись мы к маленькой церкви, возле которой находился штаб белого отряда.

В Выселках мы захватили десять пленных и один пулемет. Когда, усталые, но довольные, возвращались мы большой дорогой к своим, Федя, ехавший рядом со мною, засмеялся зло и задорно:

— Шебалов-то!.. Утерли мы ему нос. То-то удивится!

— Как утерли? — не понял я.— Он сам рад будет.

— Рад, да не больно. Досада его возьмет, что все-таки хоть не по его вышло, а по-моему, и вдруг такая нам удача.

— Как не по его, Федька? — почуяв что-то недоброе, переспросил я.— Ведь тебя же Шебалов сам послал.

— Послал, да не туда. Он в Новоселово послал. Галду там дожидаться. А я взял да и завернул на Вы-

селки. Пусть не собачится за вчерашнее. Ну, да ему теперь крыть нечем. Раз мы пленных и пулемет захватили, то ему ругаться уж не приходится.

«Удача-то удачей,— думал я поеживаясь,— а все-таки как-то не того. Послали в Новоселово, а мы — в Выселки. Хорошо еще, что все так кончилось. Вдруг бы не пробрались мы через болото, тогда что? Тогда и оправдываться нечем!»

Еще не доезжая до села, где стоял наш отряд, заметили какое-то необычайное в нем оживление. По окраине бежали, рассыпаясь в цепь, красноармейцы. Несколько всадников проскакало мимо огородов.

И вдруг разом от села застрочил пулемет. Рыжий горнист Пашка, тот самый, который советовал повернуть с болота назад, грохнулся на дорогу.

— Сюда! — заорал Федя, повертывая коня в лощину.

Прозвенела вторая очередь, и двое задних разведчиков, не успевших соскочить в овраг, полетели на землю.

Нога у одного застряла в стремени, конь испугался и потащил раненого за собой.

— Федька,— деревенея, пробормотал я,— что ты? Наш кольт шпарит. Ведь наши не ожидают тебя с этой стороны. Мы же должны быть в Новоселове.

— А я вот им зашпарю! — злобно огрызнулся Федор, соскакивая с коня и бросаясь к захваченному нами у белых пулемету.

— Федька, что ты, сумасшедший?! По своим хочешь? Ведь они же не знают, а ты знаешь!

Тогда, тяжело дыша, остервенело ударив нагайкой по голенищу хромового сапога, Федька поднялся, вскочил на коня и открыто вылетел на бугор. Несколько

пуль завизжало над его головой, но как ни в чем не бывало Федька во весь рост встал на стременах и, надев шапку на острие штыка, поднял ее высоко над своей головой.

Еще несколько выстрелов раздалось со стороны села, потом все стихло. Наши обратили внимание на сигнализацию одиноко стоявшего под пулями всадника.

Тогда, махнув нам рукой, чтобы мы не двигались раньше времени, Федька, пришпорив жеребца, карьером понесся по селу. Обождав немного, вслед за ним выехали и мы. На окраине нас встретил серый, окаменевший Шебалов. Дымчатые глаза его потускнели, лицо осунулось, палаш был покрыт грязью, и запачканные шпоры звенели глухо. Остановив разведку, он приказал всем отправляться по квартирам. Потом, скользнув усталым взглядом по всадникам, велел мне слезть с коня и сдать оружие. Молча, перед всем отрядом, соскользнул я с седла, отстегнул шашку и передал ее вместе с карабином нахмурившемуся кривому Малыгину.

Дорого обошелся отряду смелый, но самовольный набег разведки на Выселки. Не говоря уже о трех кавалеристах, попавших по ошибке под огонь своего же пулемета, была разбита в Новоселове не нашедшая Феди вторая рота Галды, и сам Галда был убит. Обозлились тогда красноармейцы нашего отряда и сурового суда требовали над арестованным Федей.

— Эдак, братцы, нельзя. Будет! Без дисциплины ничего не выйдет. Эдак и сами погибнем и товарищей погубим. Не для чего тогда и командиров назначать, если всяк будет делать по-своему.

Ночью пришел ко мне Шебалов. Я рассказал ему начистоту, как было дело, сознался, что из чувства то-

варищества к Феде соврал тогда, когда меня спрашивали в первый раз, были мы или нет на Выселках. И тут же поклялся ему, что ничего не знал про Федькин самовольный поступок, когда повел он нас вместо Новоселова на Выселки.

— Вот, Борис,— сказал Шебалов,— ты уже раз соврал мне, и если я поверю тебе еще один раз, если я не отдам тебя под суд вместе с Федором, то только потому, что молод ты еще. Но смотри, парень, чтобы поменьше у тебя было эдаких ошибок! По твоей ошибке погиб Чубук, через вас же нарвались на белых телефонисты. Хватит с тебя ошибок! Я уж не говорю про этого черта Федьку, от которого беды мне было, почитай, больше, чем пользы. А теперь пойди ты опять в первую роту к Сухареву и встань на свое старое место. Я и сам, по правде сказать, маху дал, что отпустил тебя к Федору. Чубук, тот... да, возле того было тебе чему поучиться... А Федор что?.. Ненадежный человек! А вообще, парень, что ты то к одному привяжешься, то к другому? Тебе надо покрепче со всеми сойтись. Когда один человек, он и заблудиться и свихнуться легко может.

В ту же ночь, выбравшись через окно из хаты, в которой он сидел, захватив коня и четырех закадычных товарищей, ускакал Федя по первому пушистому снегу куда-то через фронт на юг. Говорили, что к батьке Махно.

## *Глава четырнадцатая*

Красные по всему фронту перешли в наступление.

Наш отряд подчинен был командиру бригады и занимал небольшой участок на левом фланге третьего полка.

Недели две прошло в тяжелых переходах. Казаки отступали, задерживаясь в каждом селе и хуторе.

Все эти дни у меня были заполнены одним желанием — загладить свою вину перед товарищами и заслужить, чтобы меня приняли в партию.

Но напрасно вызывался я в опасные разведки. Напрасно, стиснув зубы, бледнея, вставал во весь рост в цепи, в то время когда многие даже бывалые бойцы стреляли с колена или лежа. Никто не уступал мне своей очереди на разведку, никто не обращал внимания на мое показное геройство.

Сухарев даже заметил однажды вскользь:

— Ты, Гориков, эти Федькины замашки брось!.. Нечего перед людьми бахвалиться... Тут похрабрей тебя есть, и те без толку башкой в огонь не лезут.

«Опять Федькины замашки,— подумал я, искренне огорчившись.— Ну, хоть бы дело какое-нибудь дали. Сказали бы: выполнишь — все с тебя снимется, будешь опять по-прежнему друг и товарищ».

Чубука нет. Федька у Махно. Да и не нужен мне Федька. Дружбы особой нет ни с кем. Мало того, косятся даже ребята. Уж на что Малыгин всегда, бывало, поговорит, позовет с собой чай пить, расскажет что-нибудь — и тот теперь холодней стал.

Один раз я слышал из-за дверей, как сказал он обо мне Шебалову:

— Что-то скучный ходит. По Федору, что ли, скучает? Небось, когда Чубук из-за него пропал, он не скучал долго!

Краска залила мне лицо.

Это была правда: я как-то скоро освоился с гибелью Чубука; но неправда, что я скучал о Федоре,— я ненавидел его.

Я слышал, как Шебалов звенел шпорами, шагая по земляному полу, и ответил не сразу:

— Это ты зря говоришь, Малыгин! Зря... Парень он не спорченный. С него еще всякое смыть можно... Тебе, Малыгин, сорок, тебя не переделаешь, а ему шестнадцатый... Мы с тобой сапоги стоптанные, гвоздями подбитые, а он — как заготовка: на какую колодку натянешь, такая и будет. Мне вот Сухарев говорит: у него Федькины замашки, любит-де в цепи вскочить, храбростью без толку похвастаться. А я ему говорю: «Ты, Сухарев, бородатый... а слепой. Это не Федькины замашки, а это просто парень хочет оправдаться, а как — не знает».

На этом месте Шебалова вызвал постучавший в окно верховой. Разговор был прерван.

Мне стало легче.

Я ушел воевать за «светлое царство социализма». Царство это было где-то далеко; чтобы достичь его, надо было пройти много трудных дорог и сломать много тяжелых препятствий.

Белые были главной преградой на этом пути, и, уходя в армию, я еще не мог ненавидеть белых так, как ненавидел их шахтер Малыгин или Шебалов и десятки других, не только боровшихся за будущее, но и сводивших счеты за тяжелое прошлое.

А теперь было уже не так. Теперь атмосфера разбушевавшейся ненависти, рассказы о прошлом, которого я не знал, неоплаченные обиды, накопленные веками, разожгли постепенно и меня, как горящие уголья раскаляют случайно попавший в золу железный гвоздь.

И через эту глубокую ненависть далекие огни «светлого царства социализма» засияли еще заманчивее и ярче.

В тот же день вечером я выпросил у нашего каптера лист белой бумаги и написал длинное заявление с просьбой принять меня в партию.

С этим листом я пошел к Шебалову. Шебалов был занят: у него сидели наш завхоз и ротный Пискарев, назначенный взамен убитого Галды.

Я присел на лавку и долго ждал, пока они кончат деловой разговор. В продолжение этого разговора Шебалов несколько раз поднимал голову, пристально глядя на меня, как бы пытаясь угадать, зачем я пришел.

Когда завхоз и ротный ушли, Шебалов достал полевую книжку, сделал какую-то заметку, крикнул посыльному, чтобы тот бежал за Сухаревым, и только после этого обернулся ко мне и спросил:

— Ну... ты что?

— Я, товарищ Шебалов... я к вам, товарищ Шебалов...— ответил я, подходя к столу и чувствуя, как легкий озноб пробежал по моему телу.

— Вижу, что ко мне! — как-то мягче добавил он, вероятно угадав мое возбужденное состояние.— Ну, выкладывай, что у тебя такое.

Все то, что я хотел сказать Шебалову, перед тем как просить его поручиться за меня в партию, все заготовленное мною длинное объяснение, которым я хотел убедить его, что я хотя и виноват за Чубука, виноват за обман с Федькой, но, в сущности, я не такой, не всегда был таким вредным и впредь не буду,— все это вылетело из моей памяти.

Молча я подал ему исписанный лист бумаги.

Мне показалось, что легкая улыбка соскользнула из-под его белесоватых ресниц на потрескавшиеся губы, когда он углубился в чтение моего пространного заявления.

Он дочитал только до половины и отодвинул бумагу.

Я вздрогнул, потому что понял это как отказ. Но на лице Шебалова я не прочел еще отказа. Лицо было спокойное, немного усталое, и в зрачках дымчатых глаз отражались перекладины разрисованного морозными узорами окна.

— Садись,— сказал Шебалов.

Я сел.

— Что же ты, в партию хочешь?

— Хочу,— негромко, но упрямо ответил я.

Мне казалось, что Шебалов спрашивает только для того, чтобы доказать всю невыполнимость моего желания.

— И очень хочешь?

— И очень хочу,— в тон ему ответил я, переводя глаза на угол, завешанный пыльными образами, и окончательно решив, что Шебалов надо мною смеется.

— Это хорошо, что ты очень хочешь,— заговорил опять Шебалов, и только теперь по его тону я понял, что Шебалов не смеется, а дружески улыбается мне.

Он взял карандаш, лежавший среди хлебных крошек, рассыпанных по столу, подвинул к себе мою бумагу, подписал под ней свою фамилию и номер своего билета.

Сделав это, он обернулся ко мне вместе с табуреткой, шпорами и палашом и сказал совсем добродушно:

— Ну, брат, смотри теперь. Я теперь не только командир, а как бы крёстный папаша... Ты уж не подведи меня...

— Нет, товарищ Шебалов, не подведу,— искренне ответил я, с ненужной поспешностью сдергивая со



— Ну, брат, смотри теперь. Я теперь не только командир, а как бы крёстный папаша...

стола лист.— Я ни за что ни вас, ни кого из товарищей не подведу!

— Погоди-ка,— остановил он меня.— А вторую-то подпись надо... Кого бы еще в поручители?.. А-а!..— весело воскликнул он, увидев входящего Сухарева.— Вот как раз кстати.

Сухарев снял шапку, отряхнул снег, неуклюже вытер о мешок огромные сапожищи и, поставив винтовку к стене, спросил, прислоняя к горячей печке закоченевшие руки:

— Зачем звал?

— Звал за делом. Насчет караула... На кладбище надо будет ребят в церковь определить... Не замерзать же людям... Сейчас поп придет, тогда сговоримся. А теперь вот что...— Тут Шебалов хитро усмехнулся и мотнул головой на меня: — Как у тебя парень-то?

— Что как? — осторожно спросил Сухарев, ухмыляясь во все свое красное, обветренное лицо.

— Ну... солдат какой? Ну, аттестуй его мне по форме.

— Солдат ничего,— подумав, ответил Сухарев.— Службу хорошо справляет. Так ни в чем худом не замечен. Только шальной маленько. Да с ребятами после Федьки не больно сходится. Сердиты у нас дюже ребята на Федьку, чтоб его бомбой разорвало.

Тут Сухарев высморкался, вытер нос полой шинели; лицо еще больше покраснело, и он продолжал сердито:

— Чтоб ему гайдамак башку ссек! Такого командира, как Галда, загубил! А какой ротный был! Разве же ты найдешь еще такого ротного, как Галда? Разве ж Пискарев... это ротный?.. Это чурбан, а не ротный... Я ему сегодня говорю: «Твои дозоры для связи... Я вчера лишних десять человек в караул дал», а он...

— Ну, ну! — прервал Шебалов.— Это ты мне не

разводи. Это ты теперь Галду хвалишь, а раньше, бывало, всегда с ним собачился. Какие еще там десять лишних человек? Ты мне очки не втирай. Ну, да ладно, об этом потом... Ты вот что скажи... Парень в партию просится. Поручишься за него? Что глаза-то уставил? Сам же говоришь: и боец хороший и не замечен ни в чем, а что насчет прошлого,— ну, об этом не век помнить!

— Оно-то так! — почесывая голову и растягивая слова, согласился Сухарев.—Да ведь только черт его знает!

— Черт ничего не знает! Ты ротный, да еще партийный. Ты лучше черта должен знать, годится твой красноармеец в коммунисты или нет.

— Парень ничего,— подтвердил Сухарев,— форс только любит. Из цепи без толку вперед лезет. А так ничего.

— Ну, не назад же все лезет. Это еще полбеды! Так как же, смотри сам... Подписываешь ты или нет?

— Я-то бы подписал, этот парень ничего,— повторил осторожно Сухарев.— А еще кто подпишет?

— Еще я. Давай садись за стол, вот заявление.

— Ты подписал!..— говорил Сухарев, забирая в медвежью лапу карандаш.— Это хорошо, что ты... Я же говорю, парень — золото, драли его только мало!

## *Глава пятнадцатая*

Уже несколько дней шли бои под Новохоперском. Были втянуты все дивизионные резервы, а казаки всё еще крепко держали позиции.

На четвертый день с утра наступило затишье.

— Ну, братцы! — говорил Шебалов, подъезжая к густой цепи отряда, рассыпавшегося по оголенной от

снега вершине пологого холма.—Сегодня после обеда общее наступление будет... Всей дивизией ахнем.

Пар валил от его посеребренного инеем коня. Ослепительно сверкал на солнце длинный тяжелый палаш, красная макушка черной шебаловской папахи ярко цвела среди холодного снежного поля.

— Ну, братцы,— опять повторил Шебалов звенящим голосом,— сегодня день такой... серьезный день. Выбьем сегодня — тогда до Богучара белым зацепки не будет. Постарайтесь же напоследок, не оконфузьте перед дивизией меня, старика!

— Что пристариваешься? — хриплым, простуженным голосом гаркнул подходивший Малыгин.—Я, чать, постарше тебя и то за молодого схожу.

— Ты да я — сапоги стоптанные,— повторил Шебалов свою обычную поговорку.— Бориска,— окликнул он меня приветливо,— тебе сколько лет?

— Шестнадцатый, товарищ Шебалов,— гордо ответил я,— с двадцать второго числа уже шестнадцатый пошел!

— «Уже»! — с деланным негодованием передразнил Шебалов.— Хорошо «уже»! Мне вот уже сорок седьмой стукнул. А-а! Малыгин, ведь это что такое — шестнадцатый? Что, брат, он увидит, того нам с тобой не видать...

— С того свету посмотрим,— хрипло и с мрачным задором ответил Малыгин, кутая горло в рваный офицерский башлык с галуном.

Шебалов тронул шпорами продрогшего коня и поскакал вдоль линии костров.

— Бориска, иди чай пить... Мой кипяток — твой сахар! — крикнул Васька Шмаков, снимая с огня закопченный котелок.

— У меня, Васька, сахару тоже нет.

— А что у тебя есть?

— Хлеб есть, да дам яблоки мороженые.

— Ну, кати сюда с хлебом, а то у меня вовсе ничего нет! Голая вода.

— Гориков! — крикнул меня кто-то от другого костра.— Поди-ка сюда.

Я подошел к кучке споривших о чем-то красноармейцев.

— Вот ты скажи,—спросил меня Гришка Черкасов, толстый рыжий парень, прозванный у нас псаломщиком.— Вот послушайте, что вам человек скажет. Ты географию учил?.. Ну, скажи, что отсюда дальше будет...

— Куда дальше? На юг дальше Богучар будет.

— А еще?

— А еще... Еще Ростов будет. Да мало ли! Новороссийск, Владикавказ, Тифлис, а дальше Турция. А что тебе?

— Много еще! — смущенно почесывая ухо, протянул Гришка.— Эдак нам полжизни еще воевать придется... А я слышал, что Ростов у моря стоит. Тут, думаю, все и кончится!

Посмотрев на рассмеявшихся ребят, Гришка хлопнул руками о бедра и воскликнул растерянно:

— Братцы, а ведь много еще воевать придется!

Разговоры умолкли.

По дороге из тыла карьером несся всадник. Навстречу ему выехал рысью Шебалов. Орудие на фланге ударило еще два раза...

— Первая рота, ко мне-е! — протяжно закричал Сухарев, поднимая и разводя руки.

Несколько часов спустя из белых сугробов поднялись залегшие цепи. Навстречу пулеметам и батареям,

под картечью, по колено в снегу двинулся наш рассыпанный и окровавленный отряд для последнего, решающего удара. В тот момент, когда передовые части уже врывались в предместье, пуля ударила мне в правый бок.

Я пошатнулся и сел на мягкий истоптанный снег. «Это ничего,— подумал я,— это ничего. Раз я в сознании—значит, не убит... Раз не убит—значит, выживу».

Пехотинцы черными точками мелькали где-то далеко впереди.

«Это ничего,— подумал я, придерживаясь рукой за куст и прислоняя к ветвям голову.— Скоро придут санитары и заберут меня».

Поле стихло, но где-то на соседнем участке еще шел бой. Там глухо гудели тучи, там взвилась одинокая ракета и повисла в небе огненно-желтой кометой.

Струйки теплой крови просачивались через гимнастерку. «А что, если санитары не придут и я умру?»— подумал я, закрывая глаза.

Большая черная галка села на грязный снег и мелкими шажками зачастила к куче лошадиного навоза, валявшегося неподалеку от меня. Но вдруг галка насторожено повернула голову, искоса посмотрела на меня и, взмахнув крыльями, отлетела прочь.

Галки не боятся мертвых. Когда я умру от потери крови, она прилетит и сядет, не пугаясь, рядом.

Голова слабела и тихо, точно укоризненно, покачивалась. На правом фланге глуше и глуше гудели взрываемые снежные сугробы, ярче и чаще вспыхивали ракеты.

Ночь выслала в дозор тысячи звезд, чтобы я еще раз посмотрел на них. И светлую луну выслала тоже. Думалось: «Чубук жил, и Цыганенок жил, и Хорек...

Теперь их нет и меня не будет». Вспомнил, как один раз сказал мне Цыганенок: «С тех пор я пошел искать светлую жизнь».—«И найти думаешь?» — спросил я. Он ответил: «Один не нашел бы, а все вместе должны найти... Потому — охота большая».

— Да, да! Все вместе,— ухватившись за эту мысль, прошептал я,— обязательно все вместе.— Глаза сомкнулись, и долго молча думал я о чем-то незапоминаемом, но хорошем-хорошем.

— Бориска! — услышал я прерывающийся шепот.

Открыл глаза. Почти рядом, крепко обняв расщепленный снарядом ствол молоденькой березки, сидел Васька Шмаков.

Шапки на нем не было, а глаза были уставлены туда, где впереди, сквозь влажную мглу густых сумерек, золотистой россыпью мерцали огни далекой станции.

— Бориска,— долетел до меня его шепот,— а мы все-таки заняли.

— Заняли,— ответил я тихо.

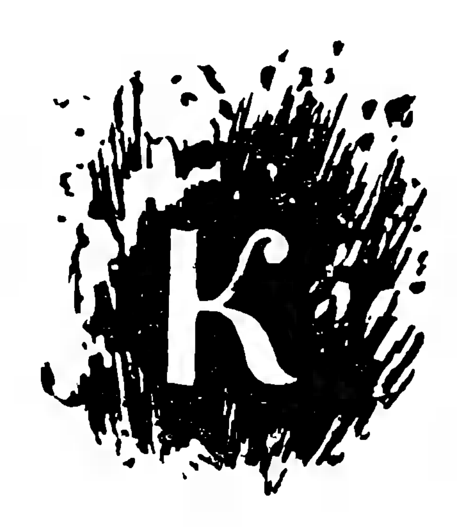
Тогда он еще крепче обнял молодую сломанную березку, посмотрел на меня спокойной последней улыбкой и тихо уронил голову на вздрогнувший куст.

Мелькнул огонек... другой... Послышался тихий, печальный звук рожка. Шли санитары.

*1929 г.*



# ЧЕТВЕРТЫЙ БЛИНДАЖ



ОЛЬКА и Васька — соседи. Обе дачи, где они жили, стояли рядом. Их разделял забор, а в заборе была дыра. Через эту дыру мальчуганы лазили друг к другу в гости.

Нюрка жила напротив. Сначала мальчишки не дружили с Нюркой. Во-первых, потому, что она девчонка, во-вторых, потому, что на Нюркином дворе стояла будка с злющей собакой, а в-третьих, потому, что им и вдвоем было весело.

А подружились вот как.

Приехал однажды к Ваське из Москвы его задушевный товарищ — Исайка Гольдин.

Исайка был ровесником Васьки и был похож на Ваську. Только что чуть-чуть потолще, да волосы у Исайки почернее, да еще было у Исайки ружье, которое стреляло пробками, а у Васьки не было.

Приехал Исайка с отцом в выходной день. И вздумали ребята в лапту играть. А в лапту, известное дело, втроем не играют — обязательно нужно четвертого.

Пошли за Павликом Фоминым. Но у Павлика болел живот. В лапту играть его не пустили, сидел он дома совсем печальный, потому что выпил недавно касторки.

Что тут будешь делать? Где взять четвертого?

Вот Васька и говорит Кольке:

— А что, если давай позовем Нюрку?

— Давай,— согласился Колька.— У нее ноги вон какие длинные, она не хуже козы бегает.

Исайка согласился тоже.

— Только,— говорит Исайка,— хоть у меня ноги и короткие, а я тоже хорошо бегаю, потому что Нюрка без припрыга бегает, а я с припрыгом.

Позвали Нюрку:

— Иди, Нюрка, с нами в лапту играть.

Нюрка сначала очень удивилась. Но потом видит, что ребята всерьез зовут.

— Я-то бы пошла, да мне сначала огурцы полить надо. А то взойдет солнце, и рассада повянет.

Увидали ребята, что дело это с поливкой долгое будет. Тут Исайка и выдумал:

— Давайте мы тоже поливать будем. Одни воду

подтаскивать, другие поливать, тогда раз-раз — и готово. А то одна она и до полдня прокопается.

Так и сделали. Сыграли в лапту десять конов. Сбегали на речку искупаться. Потом Исайка с отцом уехали в город. И с того-то самого дня подружились Васька и Колька с Нюркой.

Жили они от Москвы недалеко, в поселке, у самого края. Дальше начиналось поле, поросшее мелким кустарником. А еще дальше, на горке, виднелись мельница, церковь и несколько домиков с красными крышами — то ли станция, то ли деревенька,— издалека не разберешь. Как-то Васька спросил у отца, как называется эта деревенька.

— Это не настоящая,— ответил отец.— Это все нарочно сделано.

— Как же не настоящая? — удивился Васька.— Как же не настоящая, когда и мельница, и церковь, и дома? Все видно.

— А так и не настоящая,— рассмеялся отец.— Отсюда кажется, что и мельница и дома... А подойдешь поближе, там ничего нет.

Удивился Васька, но не поверил. И решил, что отец посмеялся или просто сказал так, чтобы от него отстали.

Полез к Кольке через заборную дыру. Глядит, а Колька с Нюркой сидят на заборе и что-то интересное в поле высматривают. Обиделся Васька:

— Вы что же это, сами интересное высматриваете а меня не позвали?

А Колька отвечает:

— Я давно уже хотел сбегать за тобой. Залезай

скорей на забор. Посмотри, какие красноармейцы с пушками приехали.

Залез Васька, смотрит: совсем рядом в кустах кони стоят, повозки на двух колесах и пушки.

— Ну и ну! — сказал Васька.— Это что же такое дальше будет?

— А вот посмотрим,— ответила Нюрка.— Мы уже давно здесь сидим и всё дожидаемся.

— Ладно,— напомнил им Васька,— другой раз и я тоже раньше вашего сяду и вам ничего не скажу.

Но все-таки на этот раз они не поссорились, потому что в кустах начиналось что-то очень занятное.

Лошадей у каждой пушки было по шесть штук — по три пары на пушку. Лошади отцепились от пушек как-то сразу. Красноармейцы возле пушек забегали и что-то такое крутили, ворочали, потом отбежали назад. Остался рядом с пушкой только один. И тот, который остался, держал в руке длинный шнур, привязанный к пушке.

— Ты, Колька, не знаешь, зачем это он за шнурок держится? — спросил Васька, усаживаясь поудобнее.

— Не знаю,— сознался Колька,— только если держится, то уж, значит, так нужно.

— Обязательно так нужно,— подтвердила Нюрка.

— А то, если бы он не держался, тогда как же? — продолжал Колька.

— Ну конечно,— согласился Васька,— если бы не держался, тогда как же...

Но тут красноармейский командир, который стоял позади телефонной трубки, что-то громко закричал. Другой командир, который стоял поближе к пушке, тоже что-то крикнул, махнул рукой; тогда красноармеец дернул за шнурок.

Сначала сверкнул огромный огонь. Потом так ударило, как будто бы громом грохнуло над самой печной трубой.

Ребята слетели с забора на траву.

— Ну и бабахнуло! — сказал Васька поднимаясь.

— Здорово бабахнуло,— согласилась побледневшая Нюрка.

— Это вот когда дернут, тогда и бабахнет,— объяснил Колька.— А вы говорите — зачем шнурок да зачем! Я теперь сразу угадал зачем... А вот скажи, Васька, почему ты с забора соскочил и меня с Нюркой спихнул?

— Я не соскочил,— обиделся Васька.— Это Нюрка первая соскочила, тряхнула забор, я и свалился.

— Я не первая,— отказалась Нюрка.— Если бы я первая, то как же бы я Кольке на спину упала? Это он сам первый.

— Вот еще! — рассердился Колька.— Это ты просто побоялась в крапиву падать и нарочно выбрала так, чтобы мне на спину. А я вот не побоялся и всю руку изжег.— И, обернувшись к Ваське, он добавил: — Они все, девчонки, крапивы боятся. Куда уж им!

С тех пор красноармейцы с пушками приезжали часто. Только в среду да понедельник стрельбы не бывало, а то каждый день.

Как только приедут артиллеристы, так бегут ребята прямо к кустам. Сядут на бугорочке, совсем близко, и смотрят. С бугорочка все видно и все слышно. Телефонист послушает в трубку и потом говорит командиру:

— Прицел 6-5, трубка 7-2.

Тогда командир кричит:

— Второе орудие!.. Прицел 6-5, трубка 7-2.

И бегут сразу красноармейцы ко второму орудию. Покрутят какое-то колесо — и орудие немного вверх приподнимается. Покрутят другое — и ствол орудия немного в сторону отойдет. Тут, когда нацелятся артиллеристы, махнет командир рукою,— дернет красноармеец-наводчик за шнурок. Вот тебе и трах-бабах!

Как летит снаряд, этого ребятам не видно. Но когда долетит и разорвется, то тогда уже видно, потому что над этим местом поднимется целое облако пыли и черного дыма.

И все снаряды рвались то около церкви, то около мельницы, то около домиков, которые виднелись далеко на горке.

— А страшно в той деревеньке жить! — сказала однажды Нюрка.— Я бы ни за что не осталась там жить. А ты, Васька?

— И я бы не остался,— ответил Васька.— А отчего это отец говорит, что там никакой деревеньки нет и все это только отсюда кажется.

— Деревенька есть,— решил Колька,— да только из нее перед стрельбой все уходят.

— А лошадей куда?

— А лошадей тоже уводят.

— И коров тоже? — спросил Васька.

— И коров тоже, и разных там свиней, и баранов.

— И куриц тоже уводят? — полюбопытствовала Нюрка.— И уток тоже... и всех?

— Должно быть, уж и всех,— ответил Колька и замолчал, потому что самому ему чудны́м показалось такое дело.

Тут как раз стрельба окончилась, подвезли красноармейцам котел на колесах — кухню. Стал наливать

им повар в котелки что-то — суп или борщ, а красноармейцы садились тут же на траву и ели.

Тогда Васька сказал:

— Побежим домой, я что-то тоже поесть захотел.

Но Колька остановил:

— Погоди-ка немного: сюда командир едет.

Подъехал верхом командир. И возле самого бугорка остановился: закурить захотел. Вынул папиросы, вынул спички, стал зажигать, да то ли коня слепень укусил, то ли просто он забаловался, а только дернул конь и зафыркал.

Ухватился командир за повод.

— Стой,— говорит,— шальной! Чего крутишься?

А спички-то и выронил.

— Ребята,— попросил командир,— подайте-ка мне спички.

Васька всех ближе стоял. Схватил он коробку, да поскользнулся и упал. А Кольке обидно стало, что Васька подавать хочет. Подскочил он к Ваське и вырвал у него коробку. Васька как заорет да Кольку кулаком по голове. Тут и началась у них драка. А Нюрка тем временем тихонько, боком, боком... подобрала спички да и подала их командиру. Вот тебе и тихоня!

Посмеялся над ребятами командир, сказал им «спасибо» и ускакал.

Тогда Васька и Колька перестали драться и хотели отлупить Нюрку: зачем она со спичками вперед сунулась.

Но Нюрка испугалась и убежала. А разве ее, длинноногую, догонишь?

Так вот и поссорились ребята.

На другой день ни Васька к Кольке через заборную

дыру не лезет, ни Колька к Ваське. А Нюрка тоже у себя на дворе возится.

Походил-походил по двору Васька,— скучно! Достал палку, сел на нее верхом и проехал кругом двора три раза,— все равно скучно.

Заглянул он в дыру — видит, Колька с луком и стрелами ходит. В фуражку перо воткнул и будто бы индеец. Обидно стало Ваське. Просунул он голову в дыру и закричал:

— Отдай, Колька, перо! Оно не твое, а наше. Это ты у нашего петуха из хвоста выщипал.

Тут Колька поднял с грядки ком земли. Как запустит его в Ваську, да прямо в живот! Хоть и не больно было Ваське, а все-таки он заревел.

Васькина мать на крыльцо вышла и начала Кольку ругать. Да и Ваське заодно попало. На другой день ребята — враги. На третий день — враги тоже.

А тут как раз подошло грибное время. Другие ребятишки с соседних улиц соберутся с утра и идут или в Борковский лес, или на Тихие овраги. Глядишь, к обеду тащат — кто корзинку, кто лукошко. Да грибы-то всё какие — белые! Сахар, а не грибы.

А Ваське одному идти скучно, он и не идет. Колька тоже не идет. А Нюрка и подавно: скучно одной.

Сидит как-то Васька у себя на дворе и играет в поезд. Паровоз у него не настоящий, а из ящиков сделан, но все-таки интересно. Приладил он старую самоварную трубу да и дудит: ду-у-у! А сам раскачивается. Ящики хотя и не едут, но стукаются один о другой: так-так-так-так! Ну, прямо как вагоны!

Вдруг слышит Васька — упало что-то рядом. Видит — стрела. И видит он, что высунул из дыры голову

Колька. И жалко этому Кольке нечаянно улетевшей стрелы, и боится он пролезть за нею.

Посмотрел Васька и говорит:

— А хочешь, Колька, я тебе стрелу подам?

Слез с паровоза, поднял стрелу и подал Кольке. Взял Колька стрелу, ничего не сказал и ушел.

Походил-походил, а потом высунулся опять из дыры и кричит:

— А у меня, Васька, свисток, как у кондуктора, есть! Хочешь, я тебе дам поиграть? Только не насовсем.

Принес Колька свисток да так и остался на Васькином дворе. Наигрались и сговорились завтра утром за грибами идти.

Подошел Колька к забору и кричит:

— Нюрка, пойдем завтра за грибами?

А Нюрка боится.

— Вы,— говорит,— опять драться будете.

— Ну вот, драться! Что мы, хулиганы, что ли? Это только хулиганы каждый день дерутся. А мы разве каждый?

Так и помирились.

Васька был неграмотным — мал еще. А Колька немного грамоте знал. Вечером, перед тем как лечь спать, подошел он к календарю, оторвал листочек и прочел на нем: «Вторник». Посмотрел на оставшийся листок и прочел: «Среда».

«Завтра уж среда»,— подумал Колька и похвалился:

— А я знаю, мама, почему среда средой называется. Это потому, что она посередке недели висит. Верно я говорю?

— Верно,— согласилась мать.— Ты бы лучше спать шел.

«И то правда,— подумал Колька.— Завтра вставать за грибами рано... в шесть часов».

Когда Колька уснул, вернулся с какого-то собрания отец. Посмотрел он на календарь и спросил:

— Разве у нас завтра среда?

— Нет,— ответила мать,— завтра еще только вторник. Это Колька по ошибке лишний листок вырвал. Вот оно и получилось, что завтра среда.

Вероятно, Колька и Васька проспали бы, если бы их не разбудила Нюрка.

Солнце еще только взошло, трава была мокрая, и сначала босым ногам было холодно.

Направились в перелесок.

Но грибов в перелеске попадалось немного, и ребята решили свернуть к Тихим оврагам, где кусты были погуще, а место посуше.

В корзине у Нюрки и Кольки лежало уже по нескольку штук, а у Васьки все еще ни одного.

— Ты, Нюрка, не иди со мной рядом,— попросил он,— а то все раньше меня срываешь. Ты иди лучше вбок, там и срывай.

— А ты не зевай! — ответила Нюрка и, кинувшись в кусты, вытащила оттуда большой крепкий березовик.— Вот смотри, какой ты гриб прозевал!

— Я не прозевал,— уныло ответил Васька,— я только хотел за куст посмотреть, а ты уже и выскочила.

Но вскоре, когда очутились они возле Тихих оврагов, грибы начали попадаться так часто, что даже Васька нашел четыре осиновика да один белый — здоровый и без одной червинки.

Так бродили они по кустам долго, и уже высоко поднялось солнце и подсохла роса на полянках, когда вышли они на опушку.

— А ну-ка... а ну-ка,— сказал Колька,— посмотрите, ребята, куда мы зашли.

Высокий кустарник кончился. Дальше, насколько хватал глаз, расстилалось перед ними холмистое, покрытое мелкой порослью поле. И через то поле не пролегала ни одна проезжая дорога — всюда только кустики да трава. Торчало на том поле несколько высоких деревянных башенок с пустыми площадками наверху. А вправо, не дальше чем за километр, увидали ребята ту самую деревеньку с мельницей и церковью, которая видна была с окраины их поселка.

— Пойдемте посмотрим,— предложил Колька.— Мы скоренько... Посмотрим только, а потом и спустимся под гору, да все прямо, прямо... Так к дому и выйдем.

— А вдруг стрелять начнут?

— А что, если красноармейцы приедут? — почти в один голос спросили Васька и Нюрка.

— Сегодня не приедут. Сегодня среда,— успокоил их Колька.— Пойдемте посмотрим да и домой.

Идти пришлось по кочковатому поросшему полю. И чем ближе подходили они, тем чаще попадались им бугры свежей, еще не заросшей травой земли, узкие глубокие канавы и круглые, залитые дождевой водой ямки.

Казалось, что огромный крот еще совсем недавно рылся в этом пустом и тихом поле.

— Это от снарядов,— догадался Колька.— Попадет снаряд в землю, рванет — вот тебе и яма. А вот

это окопы. Сюда от пуль солдаты прячутся во время войны.

— Грязно очень, Колька,— с недоумением заглядывая в сырую глинянную канаву, сказала Нюрка.— Сюда если спрячешься, то вся вымажешься.

Но тут Васька, копавшийся около маленького кустика с почерневшей, точно опаленной листвой, закричал:

— Вот и нашел! Вот это так нашел!

И он побежал к ним, держа что-то в руках.

Сначала ребята думали, что он тащит гриб, но когда он подбежал, то увидели они, что это не гриб, а толстый кусок металла с неровными острыми краями.

— Это осколок от снаряда,— опять догадался Колька.— Ты отдай мне его, Васька. Я тебе за него три гриба дам... Потрогай-ка, Нюрка, какой он тяжелый.

Но Нюрка поспешно отдернула руку и стала за спину Васьки.

— Положи его, Коленька,— робко попросила она.— А то вдруг он да и выстрелит.

— Глупая! — успокоил ее Колька.— Он уже выстреленный. Как же он без пороха выстрелит? Дай мне его, Васька,— попросил он опять,— а я тебе за него три гриба дам. Да еще стрелу с гвоздем дам, как только домой придем.

— Что грибы! — ответил Васька, бережно засовывая осколок в корзину.— Грибы съешь, да и все. Я лучше не дам тебе его, Колька. Пускай он у меня будет...— Он помолчал, потом добавил: — А ты будешь приходить и смотреть. Как только ты попросишь, так я тебе и дам посмотреть. Что мне, жалко, что ли? Смотри сколько хочешь.

Они подходили к деревеньке. Не видно было ни мужиков, ни ребятишек. Не хрюкали свиньи, не мычали коровы, не лаяли собаки, как будто бы все повымерло.

— Я говорил, что все ушли отсюда! — тихо сказал Колька.— Разве же тут можно жить: смотри, какие снарядные ямины.

Сделали еще несколько шагов и остановились, широко вытаращив глаза. Только теперь разглядели они, что деревеньки-то никакой и нет. И мельница, и церковь, и домики сделаны были из тонких выкрашенных досок, без стен и без крыш.

Как будто бы кто-то огромными ножницами вырезал раскрашенные картинки и приклеил их на подставки среди зеленого поля.

— Вот так деревня! Вот так мельница! — закричал Васька.— А мы-то думали, думали...

Со смехом вбежали ребята в игрушечную деревеньку. Кругом росла высокая трава; было тихо, жужжали шмели, и порхали яркие бабочки.

Ребята бегали вокруг раскрашенных домиков, рассматривая их со всех сторон. Здесь же неподалеку были врыты столбы, к которым были прибиты тяжелые, толстые доски, в некоторых местах разорванные и расщепленные снарядами. Это были мишени, по которым стреляли артиллеристы. Перед обманчивой деревенькой тянулись в два ряда изломанные окопы, опутанные ржавой колючей проволокой.

Вскоре ребята наткнулись на какой-то погреб. Дверь в погреб была приоткрыта. С робостью спустились они по каменным ступенькам и очутились в глубоком каменном подвале.

В подвале стояла скамья. К стене была приделана полочка, а на полочке торчал небольшой огарок.

— Зажжем свечку,— предложил Колька.— У меня спички есть. Я с собой захватил, чтобы костер разжечь.

Он достал спички, но тут они услыхали доносившийся сверху лошадиный топот.

— Побежим лучше домой,— тихо предложила Нюрка.

— Сейчас побежим. Там, наверху, кто-то есть. Как только проедут, так и побежим. А то заругаться могут. «Вы,— скажут,— зачем сюда лазили?»

Топот смолк. Ребята выбрались из погреба и увидели, как скачут, удаляясь, двое кавалеристов.

— Посмотри на вышку,— показал Васька,— вон на ту... Туда кто-то забрался.

Посмотрели — и верно: на одной из вышек сидел человек, и отсюда он казался маленьким-маленьким, как воробей.

Хотели уже бежать домой, но тут Васька захныкал, потому что в погребе он позабыл осколок.

Полезли опять. Зажгли свечку. Теперь, при тусклом свете, можно было разглядеть сырые толстые стены из цемента и потолок, настланный из крепких железных балок.

Вдруг глухой далекий гул заставил вздрогнуть ребятишек. Как будто где-то упало на землю огромное тяжелое бревно.

— Колька,— шепотом спросила Нюрка,— что это такое?

— Не знаю,— также шепотом ответил он.

Гул повторился, но теперь грохнуло уже совсем близко. Ребятишки притихли и робко жались друг к другу. Васька раскрыл рот и, крепко сжимая найденный осколок, смотрел на Кольку. Колька хмурился, а

по щеке Нюрки покатилась слеза, и она сказала жалобно, готовая вот-вот заплакать:

— А мне, Колька, кажется... мне что-то кажется, что сегодня вовсе не среда...

— И мне тоже,— уныло сказал Васька и вдруг громко заплакал, а за ним и остальные...

Долго плакали, притаившись в углу, попавшие в беду ребятишки. Гул наверху не смолкал. Он то приближался, то удалялся. Бывали минуты перерыва. В одну из таких минут Колька полез наверх затем, чтобы закрыть верхнюю дверь. Но тут совсем неподалеку так ахнуло, что Колька скатился обратно и, ползком добравшись до угла, где тихо плакали Васька с Нюркой, сел с ними рядом. Поплакав немного, он опять пополз наверх, к тяжелой, окованной железом двери погреба, захлопнул ее и отполз вниз.

Гул сразу стих, и только по легкому дрожанию, похожему на то, как вздрагивают стены дома, когда мимо едет тяжелый грузовик или трамвай, можно было догадаться, что снаряды рвутся где-то совсем неподалеку.

— До нас не дострелят,— еще всхлипывая, но уже успокаивая своих друзей, сказал Колька.— Мы вон как глубоко сидим! И стены из камня, и потолок из железа. Ты... не плачь, Нюрка, и ты не плачь, Васька. Вот скоро кончат стрелять, тогда мы вылезем да и побежим.

— Мы бы-ы... мы бы-ы-ст-ро побежим...— глотая слезы, откликнулась Нюрка.

— Мы как... мы как припустимся, как припустимся, так и сразу домой,— добавил Васька.— Мы прибежим домой и никому ничего не скажем.

Огарок догорал. Пламя растопило последний кусочек стеарина. Фитиль упал и погас. Стало темно-темно.

— Колька,— прохныкала Нюрка, отыскивая в темноте его руку,— ты сиди тут, а то мне страшно.

— Мне и самому страшно,— сознался Колька и замолчал.

И в погребе стало тихо-тихо. Только сверху едва доносились заглушенные отзвуки частых ударов, как будто кто-то вколачивал в землю тяжелые гвозди гигантским молотом.

— Колька, Васька! — опять раздался жалобный голос Нюрки.— Вы чего молчите? И так темно, а вы еще молчите.

— Мы не молчим,— ответил Колька.— Мы с Васькой думаем. Ты сиди и тоже думай.

— Я вовсе и не думаю,— откликнулся Васька,—я просто так сижу.

Он заворочался, пошарил, нащупал чью-то ногу и дернул за нее:

— Это твоя нога, Нюрка?

— Моя! — отдергивая ногу, закричала испуганная Нюрка.— А что?

— А то,— сердитым голосом ответил Васька,— а то... что ты своей ногой прямо в мою корзину и какой-то гриб раздавила.

И как только Васька сказал про гриб, так сразу же веселей стало и Кольке, и Нюрке, и самому Ваське.

— Давайте разговаривать,— предложил Колька,— или давайте песню споем. Ты пой, Нюрка, а мы с Васькой подпевать будем. Ты, Нюрка, будешь петь тонким голосом, я — обыкновенным, а Васька — толстым.

— Я не умею толстым,— отказался Васька.— Это Исайка умеет, а я не умею.

— Ну, пой тогда тоже обыкновенным... Начинай, Нюрка.

— Да я еще не знаю какую,— смутилась Нюрка.— Я только мамину знаю, какую она поет.

— Ну, пой мамину...

Слышно было, как Нюрка шмыгнула носом. Она провела рукой по лицу, насухо вытирая остатки слез, потом облизала губы и запела тоненьким, еще немного прерывающимся голосом:

Ушел казак на войну,
Бросил дома он жену.
Бросил свою деточку,
Дочку-малолеточку.

— Ну, пойте последние слова: «Бросил свою деточку»,— подсказала Нюрка.

И когда Колька с Васькой пропели, то Нюрка еще звончее и спокойнее продолжала:

С той поры прошли года,
Прошли, прокатилися,
Все казаки по домам
Давно воротилися.
Только нету одного,
Всеми позабытого,
Казачонка моего —
И-э-эх! — давно убитого...

Нюрка забирала все звончее и звончее, а Колька с Васькой дружно подпевали обыкновенными голосами. И только когда наверху грохало уж очень сильно, то голоса всех троих чуть вздрагивали, но песня все же, не обрываясь, шла своим чередом.

— Хорошая песня,— похвалил Колька, когда они

кончили петь.— Я люблю такие песни, чтобы про войну и про героев. Хорошая песня, только что-то печальная.

— Это мамина песня,— объяснила Нюрка.— Когда у нас на войне папу убили, вот она такую песню все и пела.

— А разве у тебя, Нюрка, отец казак был?

— Казак. Только он не простой казак был, а красный казак. То всё были белые казаки, а он был красный казак. Вот его за это белые казаки и зарубили. Когда я совсем маленькая была, то мы далеко — на Кубани — жили. Потом, когда папу убили, мы сюда, к дяде Федору, на завод приехали.

— Его на войне убили?

— На войне. Мать рассказывала, что он был в каком-то отряде. И вот говорит один раз начальник отцу и еще одному казаку: «Вот вам пакет. Скачите в станицу Усть-Медведицкую, пусть нам помощь подают». Скачут отец да еще один казак. Уже и кони у них устали, а до Усть-Медведицкой все еще далеко. И вдруг заметили их белые казаки и пустились за ними вдогонку. У белых казаков лошади свежие, того и гляди, догонят. Тогда отец и говорит еще одному казаку: «Нá тебе, Федор, пакет и скачи дальше, а я возле мостика останусь». Слез с коня возле мостика, лег и начал стрелять в белых казаков. Долго стрелял, до тех пор, пока не пробрались казаки сбоку, через брод. Тут они и зарубили его. А Федор — этот другой-то казак — в это время далеко уже ускакал с пакетом, так и не догнали его. Вот какой у меня папа казак был! — докончила рассказ Нюрка.

Сильный грохот заставил вскрикнуть ребятишек. Должно быть, ветром распахнуло верхнюю дверь, и раскаты взрывов ворвались в погреб.

— Колька... зак-к-рой! — заикаясь, закричал Васька.

— Закрой сам,— ответил Колька.— Я уже закрывал.

— Закрой, Колька! — громко расплакавшись, повторил Васька.

— Эх, ты! — неожиданно вставая, крикнула возбужденная своим же рассказом Нюрка.— Эх, вы...— Она отбросила Васькину руку, добралась до верхней двери, захлопнула ее и задвинула на запор.

Гул смолк.

Опять замолчали. И так сидели долго. До тех пор, пока Колька, который чувствовал себя виноватым и перед маленьким Васькой и перед Нюркой, не сказал:

— А ведь наверху-то больше не стреляют.

Прислушались — наверху тихо. Подождали еще минут десять — так же тихо.

— Бежим домой! — вскакивая, крикнул Колька.

— Домой, домой! — обрадовался Васька.— Вставай, Нюрка!

— Я боюсь...— захныкала Нюрка.— А вдруг опять...

— Бежим! Бежим! — в один голос закричали Колька и Васька.— Не бойся, мы как припустимся...

Выбрались наверх. После черного подвала день показался сияющим, как само солнце.

Осмотрелись.

Тяжелые деревянные щиты, что стояли не очень далеко от погреба, были разбиты.

Повсюду валялись разбросанные щепки, и чернели ямы возле еще не обсохшей раскиданной земли.

— Бежим, Нюрка! Дай я возьму твою корзину,— подбадривал ее Колька.— Мы быстренько...

Перепрыгнули через окоп, пробрались через проход среди колючей разорванной проволоки и побежали под гору.

Толстый Васька с неожиданной прытью помчался впереди, одной рукой держа корзинку, другой крепко сжимая драгоценный осколок.

Колька и Нюрка бежали рядом, и Колька свободной левой рукой помогал ей тащить большую неуклюжую корзину.

Они уже спустились со ската и бежали теперь по мелкой поросли, как воздух опять задрожал, загудел, и снаряд, пронесясь где-то поверху, разорвался далеко позади них.

Нюрка неожиданно села, как будто бы в ноги ей попал осколок.

— Бежим, Нюрка! — закричал Колька, бросая свою корзину и хватая ее за руку.— Бросай корзину! Бежим!

Артиллерийский наблюдатель с площадки вышки заметил среди мелкого кустарника три движущиеся точки.

«Вероятно, козы»,— подумал он, поднося к глазам бинокль. Но, присмотревшись, он ахнул и, схватив телефонную трубку, крикнул на батарею, чтобы перестали стрелять.

В бинокль он ясно видел, как, то показываясь, то исчезая за кустами, по полю мчались двое мальчуганов и одна девочка.

Один мальчуган крепко держал за руку девочку. Другой, путаясь ногами в высокой траве и спотыкаясь,

бежал немного позади, крепко прижимая что-то обеими руками к груди. Затем он увидел, как из-за кустов выскочили двое посланных с батареи кавалеристов и, остановившись около ребят, соскочили с коней.

Конвоируемые двумя красноармейцами, ребята дошли до батареи. Командир был рассержен тем, что пришлось остановить учебную стрельбу, но, когда он увидел, что виноваты в этом трое перепуганных и плачущих малышей, он не стал сердиться и подозвал их к себе.

— Как они пробрались через оцепление? — спросил он.

Ребята молчали. И за них ответил один из конвоиров:

— А они, товарищ командир, забрались еще спозаранку, до того, как было выставлено оцепление. А потом, когда наши разъезды кусты осматривали, так они говорят, что в погребе сидели. Я думаю, что они в четвертом блиндаже прятались. Они как раз с той стороны бежали.

— В четвертом блиндаже? — переспросил командир. И, подойдя к Нюрке, погладил ее.— В четвертом блиндаже! — повторил он, обращаясь к своему помощнику.— А мы-то как раз этот участок обстреливали. Бедные ребята!

Он провел рукой по разлохматившейся голове Нюрки и спросил ласково:

— Скажи, девочка, а зачем вы туда забрались?

— А мы деревеньку...— тихо ответила Нюрка.

— Мы хотели деревеньку посмотреть,— добавил Колька.

— Мы думали — она настоящая, а там одни

доски! — вставил Васька, ободренный добрым видом командира.

Тут командир и красноармейцы заулыбались. Командир посмотрел на Ваську, который прятал что-то за спину.

— А что это у тебя в руках, мальчуган?

Васька засопел, покраснел и молча протянул командиру снарядный осколок.

— Это он не взял, это он под кустом нашел,— заступился за Ваську Колька.

— Это я под кустом,— виновато ответил Васька.

— Да зачем он тебе нужен?

Тут командир опять заулыбался, а обступившие их красноармейцы громко рассмеялись. И Васька, который никак не мог понять, над чем они смеются, ответил им, нахмурившись:

— Так ведь этакого осколка ни у кого нет, а у меня теперь есть.

— Ну, бегите,— сказал им командир.— Эх вы, малыши!

Он повернулся, посмотрел в записную книжку и закричал уже совсем другим голосом — громким и строгим:

— Стрелять третьему орудию! Прицел 6-6, трубка 6-2!

Трах-бабах! — грохнуло позади ребят, когда вприпрыжку, довольные тем, что легко отделались, понеслись они домой. Трах-бабах... Но это уже было не страшно.

В выходной день приехал с отцом Исайка. Привез он с собой ружье, которое стреляло пробками, и стал хвалиться ружьем перед Васькой. И странное дело: на

этот раз Ваське нисколько не завидно было, что у Исайки есть ружье, а у него нет.

Пока Колька и Нюрка рассматривали и хвалили Исайкино ружье, Васька пошел домой, отодвинул ящик, в котором лежали сломанный ножик, мячики — один с дыркой, большой, другой без дырки, маленький,— молоток, гайки, три гвоздя и еще кое-что из его имущества. Он вынул из этого ящика бережно завернутый осколок и понес его Исайке.

— А у меня вот что есть, Исайка,— сказал он, подавая осколок.

Но Исайка то ли глуп был, то ли не хотел показать вида, только он равнодушно посмотрел на осколок и сказал Ваське:

— Ну это-то что! У нас в чулане старых железин сколько хочешь.

Васька даже не обиделся. Он посмотрел на Нюрку, на Кольку; они хитро улыбались друг другу и вчетвером побежали на окраину, где начиналось военное поле.

Артиллеристы в тот день не приезжали. Ребята показали Исайке, где становятся пушки, объяснили ему, для чего среди поля стоят деревянные башенки. Рассказали ему, какая странная раскинулась на горе деревенька, около которой и окопы и каменный, с железным потолком погреб, который называется «блиндаж». Они рассказали ему, как попали в блиндаж и как сидели там до тех пор, пока не окончилась стрельба.

Исайка слушал с любопытством, но когда они кончили рассказ, то он сказал довольно равнодушно:

— Жалко, что меня с вами не было. А то я бы тоже полез сидеть. Пойдемте сыграем в чижа.

И опять улыбнулись Васька, Колька и Нюрка.

Глупый, глупый Исайка! Он думает, что в блиндаже сидеть так же просто, как играть в чижа.

Он не слышал еще ни разу орудийного залпа. Он не видел ни дыма, ни огня взрывающегося снаряда. Ему не приходилось закрывать тяжелую дверь блиндажа, как Кольке и Нюрке, и не приходилось бежать с тяжелым осколком в руках по изрытому воронками полю, как Ваське.

И, переглянувшись, Васька, Колька и Нюрка рассмеялись над добрым толстым Исайкой весело и снисходительно, как взрослые люди смеются над ребенком.

А когда Исайка поднял на них свои глаза, удивленные и обиженные этим непонятным смехом, то они схватили его за руки и потащили играть в чижа.

*1931 г.*



# КОММЕНТАРИИ

## АВТОБИОГРАФИЯ

Первую автобиографию для своих читателей А. П. Гайдар написал в 1930 году.

В то время выходила «Роман-газета для ребят» — издание большого формата, похожее на журнал. Шрифт в «Роман-газете для ребят» был мелкий, бумага простая, газетная. Текст печатался на одной странице в две колонки. И пока в издательстве новую книгу готовили к печати, ее можно было быстро, дешево и большим тиражом напечатать в таком упрощенном виде.

Так было и с повестью А. Гайдара — «Школа». Пока Государственное издательство (тогда еще не было специального издательства детской литературы) готовило книгу к печати, повесть опубликовали в «Роман-газете для ребят» под названием «Обыкновенная биография».

На оборотной стороне обложки этого издания помещен почти во весь рост портрет молодого Гайдара-Голикова в гимнастерке и в папахе, при оружии. Под портретом подпись: «Арк. Гайдар, 16 лет, командир 4-й роты 303-го полка 34-й Кубанской дивизии. 1920 год. Кавказский фронт». Посередине страницы — портрет, а в два столбца — автобиография под заглавием «Командир отдельного полка».

Эта первая автобиография сильно отличается от той, которую обычно теперь помещают в книгах Гайдара, хотя обе они обра-

щены к читателю-школьнику и схожи по своему содержанию. Отличается же первая автобиография тем, что больше всего места в ней занимает описание фактов из жизни автора, которые послужили материалом для «Школы».

Прочитав повесть и автобиографию, каждый понимал, откуда автор черпал наблюдения для книги. В конце рассказа о себе Гайдар перечислил произведения, опубликованные им к тому времени.

Все другие издания «Школы», выходившие при жизни Гайдара и после его смерти, печатались без автобиографии.

В 1934 году А. Гайдар вновь печатает автобиографию в журнале «Пионер» под заглавием: «Обыкновенная биография в необыкновенное время» («Пионер», 1934, № 5—6, стр. 6—7). Публикация рассказов о себе писателей — сотрудников «Пионера» — была предпринята в связи с десятилетним юбилеем журнала.

Автобиография, напечатанная в журнале, дополнена А. Гайдаром новыми сведениями. В ней рассказано о его участии в «Пионере», о новых произведениях, о творческих планах (в тот год писатель работал над повестью «Военная тайна») и названы книги, которые Гайдар считал лучшими: «Р.В.С.», «Дальние страны», «Четвертый блиндаж», «Школа». Текст этой автобиографии уже ближе к общеизвестному. «Обыкновенная биография в необыкновенное время» печатается в 4-м томе этого издания.

В 1937 году автобиография Гайдара публикуется в критическом журнале «Детская литература» под заглавием «Аркадий Петрович Гайдар». Помещена она в отделе «Трибуна работника детской книги», под общим заголовком «Писатели о себе» («Детская литература», 1937, № 22, стр. 38—39).

Автобиография иллюстрирована двумя портретами: фотографией молодого Гайдара (1920 год) и фотографией 30-х годов.

После смерти А. Гайдара эту автобиографию стали помещать в собраниях сочинений и однотомниках писателя. Публикуется она и здесь без изменений.

Известна автобиография Гайдара, датированная 1 января 1941 года, которая, по-видимому, предназначалась для военкомата. Впервые опубликована в сборнике «Жизнь и творчество А. П. Гайдара» (М.—Л., Детгиз, 1951, стр. 216—218).

Имеется еще одна автобиография писателя, найденная в Госу-

дарственном архиве Красноярского края (опубликована в газете «Московский комсомолец» в 1966 году, 11 августа, и перепечатана в том же году в журнале «Наш современник», в № 12).

Написанная в конце 1922 года, эта автобиография была представлена Енисейским губернским военным комиссаром в комиссию по организации празднования пятой годовщины Красной Армии для чествования молодого командира.

В отличие от других, в этой автобиографии дается очень подробный перечень прохождений службы в Красной Армии, начиная с января 1918 года, когда 14-летний Аркадий Голиков добровольцем вошел в состав первой Арзамасской боевой дружины РКП, и, кончая 18 ноября 1922 года, когда 19-летний командир 58 Отдельного Нижегородского полка армии по подавлению восстаний был отпущен в продолжительный отпуск по болезни, чтобы по выздоровлении поступить в Военную академию.

В январе 1918 года Аркадий Голиков пришел в Арзамасскую боевую дружину; 22 числа участвовал в первых боях с повстанцами в городе; 24-го получил штыковую рану в грудь; 28-го, четырнадцати с половиной лет, назначен адъютантом командующего всеми войсками охраны и обороны железных дорог республики.

Так начинался жизненный путь писателя Аркадия Петровича Гайдара.

## Р.В.С.

«Р.В.С.» — третья опубликованная книга А. Гайдара и первая его книга для детей. Возможно, что она была задумана одной из первых, и, может быть, именно об этой книге думал писатель, когда писал в автобиографии о начале своей работы в литературе:

«Вероятно, потому, что в армии я был еще мальчишкой, мне захотелось рассказать новым мальчишкам и девчонкам, какая она была, жизнь, как оно все начиналось да как продолжалось, потому что повидать я успел все же немало».

Во всяком случае, о том, что замысел рассказа возник задолго до времени его написания, можно судить по сохранившимся черновым записям и наброскам А. Гайдара. В одной из ранних рукописей, представляющей собой планы, наброски, варианты

первой повести «В дни поражений и побед» (датирована автором: «1923—1924 гг., 23/II»; хранится в Государственном архиве литературы и искусства; публикуется в 4-м томе этого собрания сочинений А. Гайдара), неожиданно находим и набросок «Р.В.С.». На обороте первой страницы рукописи рукой Гайдара записан отрывок, который потом с небольшими изменениями вошел в печатный текст «Р.В.С.»:

«— Димка, давай гвоздь. А то я скажу маме, что ты из чулана стырил [воробушкам] [во] зайчиков кормить...

Димка чуть не **поперхнулся** [ложко] подавился от страха...» (Подчеркнуто А. Гайдаром. Взятое в квадратные скобки в рукописи вычеркнуто автором.— *Ф. Э.*)

Ср. в общеизвестном тексте:

«— Давай, Димка, гвоздь, а то я мамке скажу, что ты койбасу воробушкам таскал.

Димка едва не подавился куском картошки и громко зашумел табуреткой».

Впервые «Р.В.С.» был опубликован в журнале для взрослых («Звезда», 1925, № 2).

Отдельным изданием рассказ «Р.В.С.» вышел в 1926 году в Госиздате. Он был подписан настоящей фамилией Гайдара — Аркадий Голиков. Но издание было искажено редактором, и Гайдар написал по этому поводу письмо в «Правду». Тогда же, в 1926 году, в течение апреля рассказ (наиболее полный текст) печатался в пермской газете «Звезда» (83—97), где в то время Гайдар работал корреспондентом.

«Р.В.С.» Гайдар считал одним из лучших своих произведений (см. «Автобиографию»). Рассказ помещен в прижизненном сборнике «Мои товарищи» (иллюстрации А. Ермолаева, М., «Молодая гвардия», 1932. Содержание: «Дальние страны», «Р.В.С.», «Четвертый блиндаж»).

При жизни автора отдельным изданием выходил пять раз (в 1926, 1930, 1934, 1936 и 1937 годах) с рисунками А. Пахомова и Д. Шмаринова. В 1953 году издан с рисунками Д. Дубинского.

В 1936 году Гайдар отредактировал и исправил сценарий, написанный по «Р.В.С.» Игорем Савченко.

Сохранился договор между А. П. Гайдаром и директором киностудии «Союздетфильм» о праве киностудии на экранизацию

рассказа (на договоре дата: «4 августа 1936 года»; находится в Государственном архиве литературы и искусства). По договору, Аркадий Петрович обязуется «...консультировать авторов сценария в процессе работы их над сценарием и режиссеров в процессе производства фильма в течение всего срока постановки». Кроме того, оговорено: «Автор берет на себя отработать диалоги».

Фильм по «Р.В.С.» под названием «Дума про казака Голоту» вышел на экран в конце 1937 года.

## ШКОЛА

Впервые повесть «Школа» напечатана в журнале «Октябрь» в 1929 году под заглавием «Обыкновенная биография», в разделе «Пережитое» (в №№ 4, 5, 6 и 7), и в 1930 году в издании «Роман-газета для ребят».

Отдельной книгой повесть издана под названием «Школа» также в 1930 году (М., ГИЗ).

«Школа» — повесть автобиографическая. Судьба ее героя Бориса Горикова во многом схожа с судьбой молодого Аркадия Голикова. Это сходство подчеркнуто и сходством фамилий.

Автобиографический характер «Школы» раскрыт Гайдаром в предисловии к первому ее отдельному изданию, написанному в виде автобиографии.

Время, проведенное на фронтах гражданской войны, А. Гайдар назвал «боевой школой, в которой прошли мои лучшие мальчишеские годы». Название «Школа» лаконично и точно выражает идею автора.

Но «Школа» — не художественная автобиография. Судьба литературного героя не совпадает с судьбой его автора. Борис — обобщенный характер, тип, художественный образ, в котором воплощены самые существенные черты молодого человека революционной эпохи. Типичность судьбы героя подчеркнута также в первоначальном заглавии повести — «Обыкновенная биография». «Не биография у меня необыкновенная, а время необыкновенное»,— писал А. П. Гайдар, объясняя необычность судьбы молодого человека революционной эпохи (журнал «Пионер», 1934, № 5—6, стр. 6).

Первые наброски, связанные с работой над художественным произведением на материале пережитого автором, датированы 1923—1924 годами.

Это было время работы над первой повестью — «В дни поражений и побед». Можно найти черты сходства в содержании этой повести и «Школы», угадывается близость ее главных литературных героев — Сергея Горинова и Бориса Горикова. События, рассказанные в «Школе»,— предыстория повести «В дни поражений и побед». Но этот вывод можно сделать сейчас, когда перед нами обе повести. Тогда же творческая история этих книг только складывалась.

В черновом автографе «В дни поражений и побед» находим следующую заметку автора:

«Обосновать I главу, расширить. Заводы [.] 2 изменить. **Городское училище. Форму вычеркнуть. Возраст увеличить. Подчеркнуть Ленина.** Охарактеризовать революцию в уезде. Более маленькие дела. Ввести начало фронтов... Начало сжимающего кольца. Спать на полу ночью с дозором. Более резко и твердо. Перед отъездом на фронт». (Подчеркнуто Гайдаром.— *Ф. Э.*)

Может быть, и зародилось вот здесь зерно новой повести, которая потом была названа «Школой» и которой очень скоро, через 5—6 лет, суждено было принести Гайдару широкую известность.

«Р.В.С.» и «Школа» были первыми произведениями, написанными А. Гайдаром для детей, и они сразу завоевали любовь и популярность среди читателей. Об этой популярности можно судить по записи в дневнике 1931 года, который писатель вел, живя в Артеке: «У некоторых ребят попадаются мои книги. У одного «Обыкновенная биография» с моим портретом, где я снят в военной форме 11 лет назад. Они ходили за мной и рассматривали...» (Дневник публикуется в 4-м томе этого собрания сочинений. Оригинал дневника хранится в Государственном архиве литературы и искусства.)

«Школу» Гайдар считал одной из самых своих лучших книг для детей (см. «Автобиографию»). Книга многократно выходила отдельными изданиями при жизни писателя в центральных и областных издательствах. Первые издания иллюстрировал С. Герасимов, потом Д. Даран. Последнее прижизненное издание — Л. Голованов.

В 1940 году Гайдар включил «Школу» в сборник «Мои товарищи», вышедший в издательстве «Советский писатель».

В 1930 году Гайдар начал писать продолжение «Школы», дав ей также заглавие «Обыкновенная биография»; однако повесть не закончил, и она оставалась неизвестной до последнего времени. Впервые начало второй книги «Школы» было опубликовано в сборнике «Жизнь и творчество А. П. Гайдара» (М.—Л., 1951, стр. 341—359).

Рукопись ее хранится в Государственном архиве литературы и искусства.

## ЧЕТВЕРТЫЙ БЛИНДАЖ

Рассказ опубликован отдельным изданием в 1931 году в издательстве «Молодая гвардия». Вошел в первый прижизненный сборник рассказов А. Гайдара «Мои товарищи» (иллюстрации А. Ермолаева, М., «Молодая гвардия», 1932). Был включен в состав сборника «Рассказы» (иллюстрации Б. Дехтерева, П. Алякринского и А. Ермолаева. М.—Л., Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1940. Содержание: «Голубая чашка», «Четвертый блиндаж», «Дым в лесу», «Чук и Гек»).

«Четвертый блиндаж» неоднократно выходил отдельными изданиями. Помещен во многих сборниках, а также в однотомниках и собраниях сочинений А. Гайдара.

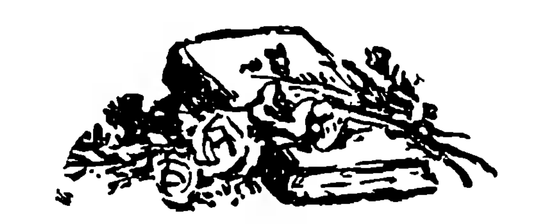
*Ф. Эбин*



# СОДЕРЖАНИЕ



*Оформление В. Ладягина*



*Гайдар Аркадий Петрович*

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, ТОМ I**

Ответственный редактор *Б. И. Камир.*
Художественный редактор *М. Д. Суховцева.*
Технический редактор *Л. П. Костикова.*
Корректоры
*Л. М. Агафонова* и *К. И. Каревская.*
Сдано в набор 6/V 1971 г. Подписано к печати 20/VII 1971 г. Формат 84×108[1]/32. Печ. л. 11,56 Усл. печ. л. 19,42. (Уч.-изд. л. 11,87+1 вкл.= =14,91). Тираж 300 000 (150 001—300 000) экз. Цена 71 коп. на бум. № 1. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сущевский вал, 49. Заказ № 2341.



